# Ицхокас Мерас

# Ничья длится мгновенье (сборник)

## На чем держится мир

## *Роман-баллада*

## ANT KO LAIKOSI PASAULIS

На трех китах?

На четырех слонах?

На могучих плечах мужчин?

…………………………………

На чем держится мир?

Я не судья, она не подсудимая.

Я лишь задаю вопросы, она отвечает.

И вопросы, быть может, не такие, как на суде, — ведь я не судья, а она не подсудимая.

Собственно, мы даже не разговариваем.

Я спрашиваю глазами, и она понимает.

Она все время молчит, но я читаю в ее глазах ответ.

— Ваша фамилия, имя, отчество?

Она отвечает.

— Когда и где родились?

Отвечает.

— Вы любили?

— Лгали?

— Были счастливы?

— Можно ли убить человека?

— Можно проклясть мир?

Я беспрестанно спрашиваю.

У меня к ней множество вопросов.

Она неизменно отвечает.

Она отвечает.

Вопросы можно не читать.

Прочтите ее ответы.

### Глава первая

— Нет, — ответила она, —

я сама была виновата.

Мощенная булыжником базарная площадь была загажена ошметками сена, соломы, клочьями бумаги и конскими яблоками.

Она сидела на большом камне, обхватив руками узелок, — вдыхала запах сена и навоза. Еще не просохшими глазами озиралась она вокруг, снова, уже в который раз, видела перед собой просторную базарную площадь, магазин с вывеской «Мануфактура» и возвышавшуюся поодаль красную башню костела.

В костеле она была.

На площади, на камне, сидит уже давно.

Может, зайти в магазин?

Да, непременно надо зайти в магазин, и поскорей, а то вот-вот закроется, и тогда уже некуда будет идти, совсем некуда.

Она торопливо поправила толстую пшеничную косу, тяжело лежащую на голове, заколола ее покрепче, застегнула ремешки коричневых туфель.

Надо спешить, а то закроют магазин.

Базарный день кончился.

Последняя подвода весело катит с площади. Обок поспевает, размахивая концами вожжей, неказистый взъерошенный мужичонка.

— Но-о-о! Но-о-о, гнедой!

Почему всклокоченный мужичок не садится на телегу? Почему трусит сбоку?

Может, ему ловчее бежать так, опершись на грядку телеги, может, легче. Он, глядишь, поросенка продал, дюжину яиц, а то, чего доброго, и просто в долг напился.

— Но-о-о! Но-о-о, гнедой!

Ему, как видно, легко и сноровисто бежать рядом с подводой, навалясь на грядку.

— Но-о-о!

Надо спешить, а то закроют магазин.

Она ладонью стерла пыль с туфель. Они немного потускнели сперва, а потом вдруг заблестели. Даром, что ли, она всю дорогу, девять километров, топала босиком? По стежкам — роса, на дороге — пыль. Зато на окраине городка она обмыла ноги, обула новые туфли. И не скажешь, что уже два раза надеваны.

Первый раз обулась в них, когда ходила к усадьбе Бернотасов, Антанаса искать ходила. Самый первый раз. Отец не вытерпел — давно уже собирался, — привез из города коричневые туфли, бережно положил на лавку и тихо, не глядя на дочь, сказал:

— Бери, бери. Не босиком же под венец идти.

Вот и обула в первой, как пошла искать Антанаса.

Тихо, неторопко подошла лугами к воротам усадьбы, обула коричневые туфли, а потом прижалась к глиняному кувшину, что сушился на заборе, уткнулась лбом в его прохладный бок и зажмурилась.

Она еще ни разу не была у Бернотасов. Не осмелилась и тут отворить калитку.

Загоготал гусак, учуяв чужого, а за ним и все гусиное полчище. Хрипло, взахлеб залаяла собака.

Была суббота, банный день. От избы доносился шум, гомон. Видно, там уплетали картофельную бабку, запивая холодным молоком, сметаной, а может, чем-нибудь и покрепче.

Она тихо ждала, опустив голову и зажмурив глаза, так же тихо, как шла сюда, к этой усадьбе, по полям и лугам.

Истошно вопили гуси, все злей и злей надсаживался пес — должен ведь выйти хоть кто-нибудь! Хорошо бы он сам вышел. Боже милостивый, пусть уж он сам, Антанас… Святая Дева Мария, матерь милосердная… Только бы он, а не кто другой.

— Эй, там? Кто собак дразнит?

Он! Сам вышел, Антанас.

— Я…

Подняла голову, и он увидел.

Оба стояли молча.

Стояли долго.

Антанас дернул плечом, и она подумала, что сейчас он повернется, уйдет в избу и никогда больше не выйдет оттуда, сколько ни стой здесь потом, сколько ни дразни собак, птицу.

— Антанас!

Он подошел. Постоял у забора, затем отпер калитку, вышел.

Высокий, плечистый, свежий после бани, грудь нараспашку, а когда прислонился к забору, тот аж заскрипел.

— Ну?

Он глядел на нее сверху вниз, а она, подняв голову, не знала, что и сказать.

— Ладная ты баба, чтоб тебя черти…

Ухватил ее за руку, потянул к себе.

— Все хорошеешь, а?

Она не противилась.

— Может, пойдем поваляемся еще разок? — Антанас ухмыльнулся.

Наконец она решилась. Выскользнула из его рук, глянула вниз, чтобы и он глянул — увидел ее новые коричневые туфли с круглыми пуговками.

— Антанас, женись… Женись на мне, Антанас.

— Ну да! — отшатнулся он, и снова скрипнул забор.

— Ребенок ведь у нас, без венца, без ничего.

Он не ответил. Только, немного погодя, вымолвил:

— Зря пришла.

— Ребенок ведь у нас, ты его и не видал ни разу.

Он еще шире распахнул ворот рубахи.

— А почем я знаю? Может, не мой. Как со мной легла, так и с другим могла. Почему Юозасом окрестила, ежели отец Антанас?

Он хмыкнул. Теперь знал, что ответить.

Ей вспомнилась опушка леса, вспомнились стога сена и несжатая рожь, щетинистые луга и пахучие клеверища. Три года, целых три года. Вспомнилась клеть, куда он заявлялся пьяный, но смелый, как хозяин, и тискал, мял ее по-всякому, а она всегда молчала. Всегда была покорной.

— Женись, Антанас. Убьет меня отец, убьет на месте.

— Не убье-ет!

Она заглянула ему в лицо. Оно было холодное, свежее и холодное после бани, и с застывших губ уже не сорвалось бы: «Ладная ты баба, чтоб тебя черти, все хорошеешь, а? Может, пойдем поваляемся еще разок?»

— Зря пришла.

Глаза были тоже стылые; он повернулся уходить.

Она снова вспомнила клеть, потянулась к Антанасу и, опустившись на колени, обняла его ноги.

— Женись. Убьет меня отец… Убьет…

Он отряхнулся, как от назойливой мухи, как от слепня.

— Отстань. Да отстань ты.

Вдруг они услышали глухой хрип. Обернулись и увидели ее отца. Он широко шагал, занесши над головою кол.

— Порешу! Обоих! Паскудники… Женись, женись!

Антанас молча захлопнул калитку, побежал во двор, к конуре.

Спокойно, как ни в чем не бывало, спустил с цепи собаку, а сам, так ничего и не сказав, ушел в избу.

Оттуда снова несся гомон, там, должно, уминали бабку, запивая молоком, сметаной и чем-либо покрепче.

А за воротами видна была розовая собачья пасть и прыгали, хватая воздух, белые клыки.

— Убью… — устало просипел отец, бросил кол, поддал его ногой и поплелся обратно через поле.

Она шла следом, забыв снять новые коричневые туфли. А потом отстала. Отец обернулся, хрипя, погрозил усадьбе кулаком и бросил дочери:

— Все ты, потаскуха! Ты виновата…

Тогда она отстала.

В самом деле, была виновата.

Надо было тогда еще, три года назад, уйти в батрачки, бежать из дому и из клети, куда впустила ночью Антанаса, боязливо прислушиваясь к скрипу заржавелых петель. Отец стоял за углом избы и довольно покрякивал. Потом, успокоенный, ушел, завалился в постель: хрустнул соломенный тюфяк, затрещали доски.

Отец давно уже, как только оставался вдвоем с дочкой, все говаривал, пряча глаза, сперва по-доброму, со смешком, а потом и строго, с сердцем:

— Нетто не видишь, как Бернотасов Антанас вкруг тебя юлит, а? И сам не пойму, девка ты или бревно бесчувственное. Кажись, выросла невеста, да вместо сердца вроде пустое место. Вот и разбери пойми… Сам ведь не зашлет сватов, не додумается, так и знай. Не зашлет, пока брюха не нагуляешь.

Тут он обрывал себя, подолгу молчал и только потом уже продолжал:

— Девка ты или бревно? Скажи? А может, не ровня тебе Бернотасы, усадьба у них захудалая? Может, тебе принца подавай?

Он снова умолкал, но ненадолго.

— Знаю, кого ждешь. «Мериканца» небось, мильенщика своего. Жди, переплывет море-океан, махнет фалдой, да шасть под венец, швырь все векселя мои — вот, мол, тестюшка, не горюй, можешь еще и тот лесок прикупить, коль душе угодно.

Он сплевывал. Смачно, будто целый день слюну копил.

— Попередохли «мериканцы»-то. Передохли все, говорю!

Он не поминал Винцаса по имени, но впрямь, как ушел тогда Винцас Ятаутас, ранним утром, только-только солнышко взошло, так ни слуху ни духу. Столько лет никакой весточки.

«Девка ты или бревно… Не зашлет сватов, пока брюха не нагуляешь…»

В избе мыкалась мать, плакали еще трое ребятишек, и вечерами, перед сном, кряхтел в углу отец. Бернотасы — самые разлюбезные соседи: не говоря худого слова, знай скупали один за одним отцовы векселя. А Антанас, их сынок единственный, так и кружил над девкой, так и охаживал: утром ли, вечером, когда ни глянешь — он тут как тут.

О Винцасе она уже не думала. Ночью, отпирая дверь клети, слышала ржавый скрип петель, слышала, как постанывает мать, плачут ребятишки и кряхтит в своем углу отец.

«Не зашлет сватов, пока брюха не нагуляешь…»

Так и вернулись несолоно хлебавши… Отец — впереди, она — поотстав, в новых коричневых туфлях. Глаза у матери были испуганные — видно, хотела что-то сказать, но молчала. Отец стоял возле стола и комкал в руке бумагу из волости — с утра жди исправника, на завтра торги объявлены.

Она знала, что скажет отец, поэтому наспех завернула в пеленки Юозукаса, схватила блузку, шерстяные чулки, завязала все в платочек, туда же сунула и свои новые туфли.

Теперь она снова знала, что в новых туфлях по полю нельзя.

Взяла на руки малыша, подхватила узелок.

Отец все комкал у стола бумагу, а напоследок процедил сквозь зубы:

— Сгинь с глаз… Потаскуха не нужна нам. Уходи… Живо!

Мог бы ничего не говорить. И так знала, что он скажет. Мог бы молча комкать бумагу из волости и ждать исправника. Она ведь быстро собралась. Сама.

Мать испуганно смотрела на них — видно, хотела что-то сказать, но смолчала.

Отец переминался возле стола.

— Но-о-о! Но-о-о, гнедой!

Растрепанный мужичонка, так и не выехав на дорогу, делал круг по всей базарной площади. Лошадь бежала рысцой, а мужичок трусил сбоку, опираясь на грядку, и смеялся оттого, что не может попасть на дорогу, делает круг, да еще такой большущий.

Не иначе как в долг набрался.

— Но-о-о, гнедой!

Она вскочила с камня.

Сейчас запрут магазин!

Надо спешить, иначе уже некуда будет идти. Растрепанный мужичонка выедет на дорогу, лошадь сама потянется к дому. И останется она здесь одна.

Сейчас закроют.

Она подбежала к магазину.

Бежала, тяжело дыша, как в тот раз, когда уходила из дому, не захлопнув дверь, уходила с узелком и с Юозукасом на руках.

Стараясь не думать, куда идет, но знала, что дорога ведет к Ятаутасам. Куда ж еще ей было податься? Кто ее ждал?

Ятаутасов было двенадцать душ. Правда, теперь осталось только одиннадцать — Винцас уехал искать счастья в Америку.

Искать счастья?

Где найдешь его, это счастье?

Ятаутасов было двенадцать. Что ни два-три года, то новый появлялся на свет. Последние двое — близнецы. По всем углам ребятня ползает — и в избе полно, и двор полон.

Она не думала, куда идет, но все равно знала: есть лишь одна дорога, та, что ведет ко двору Ятаутасов. Куда ж еще?

Ятаутас сам вышел из избы и детвору выпроводил. Чего там в бабьи дела мешаться, еще скажешь слово какое, а подумают невесть что. Лучше не связываться с бабами. Захватил косу и пошел на двор — отбивать. Все одно не сегодня, так завтра придется, никто за тебя не отобьет, все сам делай.

Тихо было в избе. Юозукас спал, убаюканный дорогой. Сели женщины на широкую, длиной во всю комнату, лавку, на которой и сидят и спят. Сели, посмотрели друг на дружку. Потом Ятаутене, наклонившись, впилась глазами в младенца. Тот спал себе — ему хоть бы что!

— Куда же ты теперь? — спросила Ятаутене.

— Не знаю.

— Не думала еще?

— Не знаю…

— Ступай в город. Все не навоз месить.

— В город?

Города она боялась, не хотела в город. Ей казалось, будто все двери там скрипят, как в ту ночь, в клети.

— В город. Кому ты нужна здесь такая? В страду еще возьмут батрачить, а потом как знаешь. И голову где приклонить, не сыщешь.

— В город…

— Поживешь, послужишь, а там видно будет. Только бы к хорошим людям попасть.

— Где же их искать, хороших-то?

— Не знаю. Авось Бог не выдаст.

— А как же…

— Возьмем Юозукаса; возьмем. Одним больше, одним меньше… У меня-то уж, слава Богу, своих не прибавится.

— Я… в долгу не останусь, рассчитаемся, правда…

Она схватила руку Ятаутене и стала целовать.

— Спасибо вам… Благодарствую… Спасибо…

— Чего уж там… И молочка ему расстараемся, и хлебца с сахаром пожую. Сколько такому надо! Сколько?

— Спасибо… Благодарствую…

— Завтра базарный день, сегодня у нас переночуешь, а наутро выйдешь с солнышком и найдешь, что надо тебе. Только сахару хоть изредка приноси. Сама знаешь, сахар у нас не водится.

На том и поладили.

Поладили.

— Но-о-о! Но-о-о, гнедой!.. — донеслось с дороги.

Стало быть, выехал. Значит, площадь совсем пуста.

Господи Боже мой, надо в магазин.

Ведь сейчас закроется, правда закроется!

Она бежала, тяжело дыша, как в тот раз, когда уходила из дому, уходила с узелком и с Юозукасом на руках.

### Глава вторая

— Нет, — ответила она. —

Ведь я же чай пила.

Она прижимала к груди Юозукаса.

Ее усадили на диване поудобнее.

Она сидела и кормила мальчика.

Еще не знала, как его звать.

Едва она робко вошла в комнату, едва увидела мальчика, как сердце забилось часто-часто. Ей подали мальчика, и она поискала глазами, куда бы сесть.

Ее усадили на диван.

Диван был мягкий, а мальчик — маленький, теплый. Она положила его к себе на колени и тут же стала расстегивать блузку.

Хозяйка с хозяином, присев рядом, смотрели на нее не отрываясь, но потом он, что-то вспомнив, вышел. А ей-то что, мог и не уходить. Она кормить будет.

Но он уже вышел на кухню, стал перед тазом с теплой водой, помешивал эту воду пальцем и чему-то улыбался.

Ей и в голову не пришло, что надо ополоснуться, а они тоже ничего не сказали, хотя хозяйка и приготовила большой эмалированный таз с теплой водой.

Расстегнув блузку, она опять заметила, что та намокла, — два больших влажных пятна на груди. Еще сильней заторопившись, она вынула грудь, только тут почувствовав, какая она тяжелая, набухшая.

Мальчик ухватился ртом, ручонками, и казалось, никогда не выпустит.

Она вздохнула и зажмурилась.

Уже не видела ни хозяйку, осторожно присевшую на краешек дивана, ни хозяина, который, стоя в кухне, улыбался и помешивал пальцем теплую воду в эмалированном тазу.

Зажмурив глаза, она прижимала к себе мальчика.

Прижимала к груди Юозукаса.

Теперь и она улыбнулась.

Мальчик такой голодный! Так хочет есть, так заждался!

Ее мальчик, ее Юозукас. Не потому ли он так жадно припал к ее груди?

А ее все не было и не было. Такой круг сделала, пока наконец пришла домой…

Она все-таки успела в магазин, когда взъерошенного мужичонки уже и след простыл. Чего она так рвалась туда?

С замирающим сердцем поднялась по шести, а может быть, семи каменным ступенькам, медленно толкнула дверь. И дверь подалась, отворилась, тонко ужалив звоном колокольчика.

Хорошо, что успела.

Магазин внутри был большой, с широкими прилавками вдоль стен. А уж тканей, тканей! Такие тонкие… И ни живой души — ни по ту, ни по эту сторону прилавков.

Все рулоны, рулоны…

Она осторожно потрогала один. Материя была скользкая, блестящая и прозрачно-тонкая.

Вот бы ей на платье такую, блескучую, гладкую, с зелеными клеверочками. В самый раз бы к новым коричневым туфлям. Сразу б кто-нибудь в услуженье взял.

Нет, никакого другого места ей не надо. Хочет здесь, в магазине, стоять за прилавком, перебирать в руках тонкие скользкие ткани и нахваливать всем и каждому: покупайте! покупайте!

Когда-то, давно, она была здесь. Вместе с Винцасом. И так же гладили они разноцветные рулоны.

— Вот заработаю денег, вернусь и куплю тебе самое нарядное платье. И еще одно — белое, с фатой.

И уехал.

Ей хотелось бы стоять за прилавком.

Покупайте, покупайте мануфактуру!

— Что угодно, барышня? Что вам показать?

В глубине магазина была тяжелая занавесь, а за нею дверь. Оттуда вышел хозяин — невысокий, толстенький, в застегнутом жилете. Из средней петельки в карман жилета спускалась толстая желтая цепочка. Небось и часы золотые при ней.

Хозяин ловко взобрался на лесенку, достал с полки рулон, бросил на стол, потом еще один — и снова бросил.

Падая, они шелестели, как живые.

Она попятилась.

Хозяин перегнулся через прилавок.

— А может, барышня уже замужем?

Она замотала головой.

Он деловито осмотрел ее с головы до ног, потом хитро прищурился, задержавшись взглядом на груди.

— Может, барышне что-нибудь к крестинам?

Вытянув руку, опустив глаза, она боком двигалась вдоль прилавка, гладя ткани, тонкие и толстые, но все приятные, мягкие.

— Так что же вам, барышня?

Не поднимая глаз, ответила:

— Я работу ищу.

— Работу.

Она подняла глаза.

— Я бы все делала… Что только скажут…

Сейчас она согласилась бы и не стоять за прилавком, а только подметать в магазине. Подметать, подметать и видеть, как люди покупают мануфактуру.

Хозяин смотрел и хитро щурился.

— Кто не возьмет такую красавицу? И я бы взял, но у нас служить не очень-то весело. Глупые юнцы обзывать будут, никто рандеву не назначит. Я бы взял, да жалко мне — такая красивая барышня…

Она обеими руками оперлась на прилавок, подалась вперед.

— Нет, нет. Не могу. Такая красавица барышня… Не-е-ет.

Он по-прежнему смотрел на ее грудь и хитро улыбался.

— Зайдите к Лепайтисам… Им служанка нужна. Очень хорошие господа, рекомендую.

Он показал дом, и она вышла за дверь.

Больно ужалил колокольчик.

Она сбежала вниз по тем же шести или семи каменным ступенькам.

Господи, и зачем она ходила в магазин? Так спешила все время! А сама только оттягивала возвращение домой…

Юозукас начал больно жевать. Она открыла глаза и сунула ему вторую грудь. Как он, бедный, истомился, изголодался. Барахтается, мягкий, теплый. Как истомился, как…

Дом Лепайтисов был каменный, под красной крышей. Впереди, с улицы, блестела застекленная веранда.

Она робко постучалась в дверь веранды.

Никто не вышел.

Подождала и постучалась еще раз.

Она боялась открыть дверь, как боялась отворить калитку, когда ходила к усадьбе Бернотасов.

— Кто там? Кто-о та-ам? — распевая, выскочил на веранду мальчуган.

Открыл не сразу.

— Что надо? — спросил, наклонив голову. — Что скажете, мадам?

— Мне Лепайтисов… Это здесь?

Она боялась, что мальчуган захлопнет дверь, и, напевая, убежит обратно в комнаты.

Нет! Не убежал.

— Мама! Иди сюда! Тут какая-то баба пришла! Ба-а-аба! Мам-мам-мам!

Вышла Лепайтене.

— Здравствуйте… поня…[[1]](#footnote-1) Вам служанка требуется…

— Зайди с другого конца.

Она обошла вокруг дома и остановилась перед дверью, выходящей во двор. Ее била дрожь. Она вся съежилась. Хотела накинуть платок, но в платке были завязаны ее немудреные пожитки.

Дверь открылась.

На пороге стояли поня Лепайтене и понас Лепайтис. А между ними — понайтис. Все трое долго смотрели на нее. Она не выдержала — страх подгонял:

— Я… всякую работу могу… Все, что скажете…

Лепайтис заметил вполголоса:

— Подняла с кушетки… Целый день с мужичьем возись, и дома не дают покоя.

— Пап, пап! Хорошие торги были? Что сначала продали? Корову? Па-па…

— Помолчи! — прикрикнула Лепайтене и тоже вполголоса добавила: — Сам увидишь, что не так-то просто найти служанку.

— И ради этого ты подняла меня с кушетки? Видишь ведь, какая она замызганная, мокрая вся. Еще заразит чем-нибудь…

— Ничего не понимаешь. Это, наверно, девка с ребенком…

И спросила громко:

— Муж есть? Ты замужем?

Она покачала головой.

— А ребенок есть?

Она смотрела вытаращив глаза и сперва медленно, а затем быстро-быстро замотала головой.

Лепайтене снова вполголоса сказала:

— Врет…

— И для этого ты меня подняла, для этого?

Лепайтене не ответила мужу. А ей сказала:

— Можешь идти. Нам не требуется. Уже нашли служанку. Там, дальше искали одни. Правда, евреи. Зайди, может, возьмут.

Мальчуган, просунув голову между родителями, посмотрел на мать, на отца.

— Мамочка, если они возьмут, я смогу называть ее…

— Не вмешивайся, когда взрослые говорят.

Она смотрела на всех троих — на поню, понаса и понайтиса, — и так хотелось ей вернуться на базарную площадь. Там она сидела на камне, никому не мешала, и ей никто не мешал.

— Папа, сначала корову?

— Не приставай, я ужасно устал.

Она все еще стояла перед троицей и вся дрожала.

— Ступай, ступай. У нас уже есть служанка.

Снова обошла вокруг дома. Травка на дворе была слишком мягкой. Ей хотелось скорей почувствовать под ногами твердые плиты тротуара.

— Ма-ма! Когда будет у евреев служить, можно будет звать ее девка-жидовка, да? Ма-ма!

Она шла и шла по тротуару.

Хотела на базарную площадь, а ноги несли в другую сторону; прошла одну улицу, потом вторую.

Какой круг делала по дороге к дому!

Ей нигде не хотелось задерживаться, и лишь в одном месте, сама не зная почему, остановилась и огляделась.

Над городом спускался ясный летний вечер. Одинокие облака, белые и пухлые, медленно брели вдаль, будто искали что-то. Как и она. Только они — высоко, в небе, а она — под забором, на твердом тротуаре.

Вечер спускался над городом.

За невысоким заборчиком, у которого она остановилась, росли цветы. От калитки к дому вела дорожка, с обеих сторон обсаженная розами.

У нее в палисаднике, там, дома, откуда она ушла, тоже были цветы. Но не розы. А здесь цвели розы — алые, желтые, белые и снова красные, почти что черные.

Она чувствовала их терпкий запах.

Ей вдруг захотелось потрогать хоть один цветок, хоть одну чашечку — алую, желтую, синюю или черно-красную. Захотелось погладить пальцами шелковые лепестки, так же, как только что, совсем недавно, хотелось зайти в магазин.

Кругом ни души.

Она открыла калитку и ступила в розовую аллею.

Притронулась к самой первой розе — алой. Притронулась одной рукой, а хотела каждый цветок обнять обеими руками, обхватить ладонями, будто в пригоршне нести. Узелок съехал на землю. Руки были свободны. Она двигалась по дорожке. Не услышала, как сзади подошел человек. Обернулась.

Лысый, ссутуленный, с чемоданчиком в руке.

— Ко мне?

Она живо подхватила узелок.

— Нет…

— Ты меня знаешь?

— Нет…

— Я — доктор. Это мой дом.

— Мы к докторам не ходим.

Доктор посмотрел на нее, вытащил из жилетного кармана часы, потом снова глянул на нее и спросил:

— Чего же ты домой не идешь, ребенка кормить? Посмотри на себя, вся мокрая! Смотри, как молоко бежит.

Только тут она глянула на свою грудь и увидела два расплывшихся пятна. Заслонила грудь руками и почувствовала влажную, липкую ткань.

Она все качала и качала головой. Нет, она ничего не скажет.

Нет у нее ребенка, нет Юозукаса, и дома у нее нет, ни идти, ни ехать некуда.

Отшатнулась, как будто он вот-вот накинется на нее, ударит, и сказала, не отнимая рук от груди:

— Ребенок… умер… вчера… Я работу ищу.

— Работу? — Он подумал. — Раз такое дело, что-нибудь найдем…

Она хотела спросить — тихо, чтобы он не рассердился: «Где? У кого?»

Он повернулся к ней, улыбнулся, и она не спросила.

— Идем, — сказал он.

Прямо через двор направилась к соседнему дому. На крылечке, прежде чем постучать в дверь, он обернулся:

— Чужого ребенка будешь кормить?

— Не знаю… Наверно…

Наконец мальчик насытился.

Он еще держал губами грудь, но слабо, дремотно, уже и веки закрылись.

Он еще не отделился от нее, теплый и мягкий. Юозукас…

— Спасибо… — тихо сказала хозяйка.

Она взяла мальчика и понесла укладывать.

«Погодите… постойте!» — хотела закричать она, но почувствовала, что сидит не на жесткой лавке, а на мягком диване. Молоко уже не распирало грудь, но высосал его не Юозукас.

Юозукас был далеко.

Ему Ятаутене хлеб жевала.

А ее грудь опустела. В чужом доме.

Хозяин, перестав помешивать в тазу, вернулся из кухни.

Стараясь не глядеть, пока она застегнется, сказал с прежней улыбкой:

— Извините, что мы сразу не предложили… Вы, должно быть, устали, проголодались.

Наконец он посмотрел на нее.

Она опустила глаза, кивнула.

Да, ей хотелось есть. Пожалуй, даже не есть, а пить. Чаю. Ей должны дать чаю. Так ведь принято в городе. Очень хочется пить.

— Я сейчас. Сейчас. Садитесь к столу, я принесу. Мы так переволновались…

Она встала с дивана.

— Не надо. Я там, на кухне, поем.

Сидя за кухонным столом, жевала кусок, застревавший в горле, и видела, как за окошком сгущаются сумерки, окутывают вечерний город. Пухлые облака, белесые, одинокие, куда-то брели, искали что-то.

Она была одна на кухне.

Никто не мешал ей.

Она долго глядела в окно.

Потом пила чай.

Две ложечки сахара отсыпала в платок. Первые две ложечки.

«И хлебца с сахаром пожую…»

Первые две ложечки.

Все равно чай должен быть сладкий. Да нет — он был соленый.

Пила соленый чай и глядела в окошко.

### Глава третья

— Нет, — ответила она. —

Я не любила.

Каждое воскресенье она уходила рано утром и возвращалась только к вечеру. Каждое воскресенье в семье Ятаутасов прибавлялось еще одним, тринадцатым человеком.

Бегом бежала все девять километров, хватала Юозукаса на руки, если спал — будила его и отпаивала, отпаивала своим молоком. Возьмет его на руки, зажмурится и забудет все на свете.

Дважды отцвела липа.

Сначала, весной, распускалась сирень, а уже потом, летом, все вокруг пропитывалось запахом цветущих лип.

Она и теперь по воскресеньям ходила к Юозукасу.

В остальные дни спокойно, не торопясь, убиралась по дому и только после обеда ей становилось не по себе.

Спешила убаюкать мальчика и побыстрее вымыть посуду. Хозяева тоже ложились отдохнуть. Она была свободна.

Лучше всего было весной. Она шла во двор, туда, где сирень, и подолгу искала счастье — цветок с пятью лепестками.

Иногда находила.

За кустами сирени, за изгородью, в саду соседнего дома, сидел Римантас, сын нотариуса, и читал книгу. Два года назад он кончил гимназию. До обеда помогал отцу вести дела, а после обеда выходил в сад читать свои книги.

Волосы у него были темные, кудрявые, а на подбородке — ямка.

У Винцаса тоже были темные кудри, только ямка на подбородке не такая глубокая.

Она искала счастье — цветок с пятью лепестками — и смотрела на Римантаса.

Сегодня к обеду были гости, и она задержалась.

Хозяйка не легла, как обычно, пришла на кухню.

— Ты всегда торопишься в это время. Иди. Посуду я сама перемою.

— Да нет, никуда я не тороплюсь, мне не к спеху.

— Иди, иди. Я все сделаю.

Она вышла.

Сирень давно отцвела. Зато пахло липой. Она быстро подошла к зарослям сирени, развела руками зеленые листья, ветки и прямо перед собой увидела по ту сторону забора два серых глаза.

И у Винцаса глаза были серые.

— Что так поздно сегодня? — спросил Римантас.

Она не ответила.

Смотрела в серые глаза, а он — на тяжелую желтую косу, уложенную на голове, на вспыхнувшие румянцем щеки и белый гладкий лоб.

— Идем ко мне, — сказал он совсем тихо, хотя их и так никто не мог услышать. — В конце сада две доски отходят. Только смотри, чтоб никто не видел.

Они пошли вдоль забора. Впереди она, он — сзади.

Она посмотрела в одну, в другую сторону, раздвинула доски и очутилась в саду нотариуса. Она тут же присела и огляделась. Высокая трава подступала со всех сторон, и не было видно ничего, кроме неба над головой. Она сидела, съежившись, прижав колени к подбородку и обняв ноги. Вдруг оробела, испугалась сама себя. Зачем она пришла сюда? Зачем пробралась в чужой сад, почему озирается, боится, что кто-нибудь увидит?

Он опустился рядом. Тронул за руку и сказал, сказал голосом Винцаса:

— Не думай, что ты сама… Это я каждый день смотрю на тебя, с каждым днем все нетерпеливее жду, когда ты выйдешь к сирени.

Он осторожно гладил ее руки, потом плечи, шею. Она зажмурилась, и тогда он поцеловал ее. Она впитывала каждый поцелуй, каждое прикосновение. И не противилась. Она сама коснулась темных Винцасовых кудрей, только боялась открыть глаза. Так, с закрытыми глазами, ей было лучше. С закрытыми глазами и ямка на подбородке не казалась слишком глубокой. Каждый его поцелуй, каждое прикосновение обжигали. И она не противилась. Не позволила только тронуть грудь и обнять за талию.

Потом вдруг рванулась, вскочила. Откинув две доски, чуть ли не бегом устремилась вдоль забора, нагнувшись, придерживая рукой растрепавшуюся толстую пшеничную косу.

— Ты придешь? — крикнул он. — Завтра?!

Она кивнула и понеслась еще быстрее.

Пахло липой, и гудели пчелы, сбирая мед, самый хороший, липовый.

Она снова пришла.

И приходила каждый день.

Теперь она спешила после обеда еще скорей перемыть посуду, уложить мальчика.

Теперь ей было уже не до сирени.

Будь даже весна на дворе, и то бы вряд ли стала она выискивать в белых и фиолетовых гроздьях цветок из пяти лепестков.

Она отодвигала доски.

Он уже ждал в высокой траве, задрав подбородок с ямкой и глядя в небо серыми глазами.

Теперь она изредка осмеливалась глянуть на его лицо.

Все больше признавала в нем Винцаса.

Он целовал, и она не противилась.

Однажды — уже и липа отцвела, — зажмурившись, позволила обнять себя за талию.

Но он сам отпрянул.

Послышались чьи-то шаги, они быстро приближались.

Она прислушалась к топоту — кто-то пробежал совсем рядом, — а потом спросила:

— Ты все время боишься, правда?

— Тише… Молчи… — вспыхнул он. — Разве я виноват, что ты… ты… не дочь старшины?

Она встала, раздвинула две доски в заборе и ушла, на этот раз не спеша, с поднятой головой.

Жужжали пчелы, обирая сок с каждого цветка.

Она вошла в дом, села у окна. И долго еще видела, как он стоял, прислонясь к забору, за кустами сирени.

Она не обиделась, нет. Но если б снова была весна и снова цвела сирень, она уже не бегала бы искать сирень с пятью лепестками — ни белую, ни фиолетовую.

Если б снова было лето и снова пахло липой, она не спешила бы в сад, чтобы раздвинуть доски забора. Даже если бы гудели пчелы и сбирали мед, самый лучший, липовый…

Потом она своими глазами увидела, как дочь волостного старшины заходит в дом нотариуса. Бируте была хороша собой и гораздо моложе ее. Известное дело…

Известное дело.

Бируте птичкой прилетала в своем цветастом платьице, легкая, почти прозрачная, как материя в магазине с вывеской «Мануфактура». Широкополая соломенная шляпка, перехваченная лентой, да пара девичьих кос за плечами.

Известное дело…

Бируте прилетала и все поглядывала из-под длинных удивленных ресниц, то расплетая, то заплетая кончики свободно висящих кос. Стоило ей свернуть за угол дома, как откуда ни возьмись появлялся Римантас. Подкрадывался на цыпочках, неожиданно закрывал ей глаза ладонями и прижимал к груди, ничего не видящую беспомощно разводящую руками. Потом они, как дети, брались за руки и бежали в сад. Никого не боясь, не прячась, носились по садовым дорожкам.

А она, перемыв посуду после обеда и уложив мальчика, забиралась на чердак. Приникала горящим лицом к пыльному чердачному окошку. Стояла, упершись лбом в запыленное стекло, и час и два.

Никто за ней не следил, и можно было не спешить.

Она не обиделась, нет.

Не обиделась даже тогда, когда он впервые поцеловал Бируте.

Они были далеко, в глубине сада. Римантас обнял Бируте. Талия у нее, наверно, была тоненькой, как у ласточки. Она откинулась, уперлась руками ему в грудь, но он не выпускал. Он прижимал, прижимал ее к себе, пока ее руки не дрогнули, лица сблизились, и длинные пальцы зашевелились на его шее.

Иногда возле дома нотариуса останавливалась бричка. С большими колесами, высокая, как трон, и, как трон, мягкая. Она кренилась набок, едва ступят на подножку. Коротко взнузданный вороной выгибал лоснящуюся шею, нетерпеливо бил камни мостовой сильным, кованым копытом.

Смеясь и подталкивая друг друга, они валились в бричку и уезжали.

Она дожидалась их.

То и дело выходила во двор — за дровами или воды принести. Заглядывала из кухни в комнаты — еще раз вытереть пол. Или — хорошо, если было ко времени! — выводила мальчика погулять.

Бывало, самое милое дело — выйти с книжицей какой-нибудь на крыльцо, сесть на лавочку, читать медленно-медленно, в свое удовольствие, и ждать.

Была в том ожидании сладкая, манящая истома.

Римантас и Бируте возвращались на взмыленном вороном.

Привстав на дыбы, конь как вкопанный застывал у калитки. Лоснилась черная шерсть, и белая пена висела на удилах.

Они соскакивали с высокого трона, увенчанные ромашками, одуванчиками или чабрецом.

Она смотрела с крыльца, со двора или сквозь пыльное стекло и не обижалась.

Когда гуляла с мальчиком и рассказывала сказки, то в сказках этих жил-был королевич, темные кудри, серые глаза, а принцесса все заплетала и заплетала кончики распустившихся кос. Она была в соломенной шляпке с лентой.

Свадьбу сыграли шумно, весело. Было много гостей. Да что ей гости!

Она терпеливо стояла на чердаке, перед пыльным стеклом, смотрела вниз, на ярко освещенную комнату в соседнем доме, на широкую, взбитую постель. Дождалась. Очень поздно, а может, и рано — под утро — в комнату вошла Бируте. Отстегнула, бросила в угол белую фату с венком из руты. Белым кругом осело на пол подвенечное платье. Хрупкая фигурка юркнула в постель, спряталась под одеялом вся, до самых глаз.

Тогда вошел он.

Потом, уже гораздо позже, они забыли погасить свет.

Замутилось пыльное стекло окошка.

Она уже не смотрела — зажмурилась.

А сирень цвела и цвела каждую весну. Хоть бы один раз не цвела!

В той же комнате появился на свет маленький Римукас. Она сама видела, как он забился в руках у доктора.

Каждое лето липы источали желтый волнующий запах. Хоть бы единственный раз не пахли!

С каждым днем все крепче прижимала она к сердцу хозяйского мальчика — своего мальчика. Так же крепко, как Юозаса, Юозукаса своего, по воскресеньям в избе Ятаутасов.

И рассказывала сказки, каких больше никто не знал. И отвечала на все вопросы — и на те, что задавал, и на те, что не задавал.

— Видишь? Это понас Римантас.

— Видишь? Это поня Бируте.

— А малыш? Видишь? Это понайтис. Их сынок Римукас.

Тогда мальчик спрашивал:

— А где же твой муж, твой понас?

— Мне не нужно… — отвечала она.

— Не нужно? Почему?

— Куда уж мне… У меня есть ты и еще есть… Подрастешь — скажу.

— Хорошо, что у тебя ни мужа, ни понаса. Он бы только мешал нам. Пришлось бы одну сказку мне рассказывать, а другую — ему. Хорошо…

Потом, после первого знакомства через щель в заборе, она ходила с мальчиком на соседний двор, и мальчик играл там с Римукасом. Либо приводила Римукаса, и дети играли на их дворе.

Бывало, возьмет малыша, прижмет к сердцу и тут же отпустит.

— И меня, и меня! — кричит ее мальчик, карабкаясь к ней на колени.

Она говорила:

— Конечно, и тебя, и…

Если бы еще и Юозукас был здесь.

Совсем хорошо бы.

Не с чердака уже, не сквозь пыльное стекло, а с крыльца или со двора все так же любила она смотреть на понаса Римантаса и поню Бируте.

Глаза у нее в такие минуты были странные.

Что в них было, в ее глазах?

А весной распускалась сирень.

В белых, в фиолетовых гроздьях были, наверно, цветки и с пятью лепестками. Наверно, много счастья было.

А летом пахло липой. И в желтых, развесистых деревьях гудели пчелы. Они сбирали мед. Липовый.

### Глава четвертая

— Нет, — ответила она. —

Я никогда не жалела людей.

Римукас был курносый, синеглазый, с белой кудлатой головенкой — в мать. Все трое, нотариус, Римантас и Виру те, сидели на длинной пароконной телеге, нагруженной вещами, и обнимали Римукаса.

— Побыстрей бы уж, что ли, — время от времени бурчал крестьянин, перебирая вожжи и стараясь глядеть только на лошадей.

У него свои заботы. Недосуг. До станции и так пятнадцать верст. А его остановили на окраине города, коротко и ясно приказали:

— Езжай.

Ладно, он приехал, он и уедет. Только чего там ждать?

— Побыстрей бы уж, что ли…

Торчи здесь, прохлаждайся с парой лошадей.

— Тпру! Чтоб вас черти…

Она протянула руки:

— Поди сюда, Римутис, поди ко мне.

На телегу вскочили двое в форме.

Наконец-то крестьянин крикнул:

— Ho-o-o!

Он отпустил поводья, выпрямился, покрутил вожжами над головой, и пароконная упряжка затарахтела по мостовой.

Она махала рукой. И Римукас, и те — с телеги.

— Он очень любит… — крикнула, привстав, Бируте, но недокончила, недосказала, уткнулась в узел и дала волю слезам.

Римукас тоже заплакал.

Ее мальчик все время тихо стоял рядом.

— Они далеко поехали? — спросил он.

Она ничего не ответила.

— В Сибирь? — снова спросил мальчик.

— Молчи! Бери Римукаса, и ступайте играть.

Мальчик взял Римукаса за руку и сказал:

— Идем, я тебе дам свою большую лошадку.

Напротив — дом нотариуса. Двери, окна нараспашку. Двор не убран, все разбросано. Как после погрома.

Почему она взяла Римукаса?

Может, своих мало?

Прошлым летом звенящий грохот заглушил пчелиное гудение в липах. В город вошли танки с красными звездами по бокам. С танков широко улыбались молодые парни, и девушки бросали им цветы.

Одни говорили:

— Советская власть!

Другие:

— Русские пришли…

Она не знала, что такое советская власть и что значит — русские.

Правда, скинули волостного старшину.

На улицах пели: «Если завтра война…», «Катюша»…

Были выборы. Она тоже голосовала.

Объявились комсомольцы, а ребята повязали красные галстуки.

Хозяева спросили ее:

— Ты останешься у нас? Мальчик так привязан…

Правда, понасы-соседи стали здороваться с ней на улице.

Владелец «Мануфактуры» сказал:

— Видите? Я же вам еще тогда говорил, в старые кровавые времена: такую красавицу кто угодно возьмет в служанки. И взяли. Помните?

Она помнила.

Вскоре пришла мать. Первый раз за столько лет.

Они сидели на крылечке, молчали. Слишком долгой была разлука. Обеим взгрустнулось. Так и должно было быть.

Но потом мать не выдержала:

— Землю дали… — Ее лицо посветлело. — Может, домой вернешься, дочка? Я сама бы, может, и не пришла. Отец послал. И Юозукаса взяли бы…

Отец?

Хорошо, что дали землю.

Нет, она не хочет домой. Вот лето кончится, снимет себе комнатку в городе, привезет Юозукаса. Мальчик-то с прошлого года в школу ходит. Пора и Юозукасу. Нет, мальчика она не бросит. Разве не своим молоком выкормила? Разве не на своих руках выносила? Разве он ей не так же дорог, как Юозукас? И сама ведь не знала. А недавно пошла с ним на речку. Мальчик только плюх в воду, нырь — и нет его. Минуту нет, другую… Она туда-сюда по берегу.

Нет мальчика. Только потом уже разглядела в кустах лукавую глазастую рожицу. Подбежал, бросился к ней на шею, сам весь мокрый, руки синие. Прижала к себе мальчика…

— Напугал? Ну скажи, напугал?

Хотела шлепнуть его разок по мягкому месту, да рука не поднялась. Заплакала. Плакала, скрывая слезы, и все сильнее прижимала к себе мальчика…

Она снова посмотрела на детей. Они играли с большой лошадкой ее мальчика. Римукас был курносый, синеглазый, беловолосый — весь в мать.

Или ей детей мало? Зачем взяла Римукаса?

Мальчик, играя с малышом, то и дело поглядывал на нее. Она не ответила на его вопрос, и он снова повторил:

— В Сибирь?

Да, известно, в Сибирь. Но она молчала. Не хотела, чтобы Римукас слышал. Страшное слово — Сибирь, его и вымолвить боязно. Сибирь — ведь это край света, там и люди не живут, только стужа круглый год, леса непролазные да громадные белые медведи.

Римукас не выжил бы там, ну конечно, не выжил. Разве могла она отпустить такого кроху?

Стояла вчера на улице перед добротным каменным домом с красной крышей и стеклянной верандой. (Когда-то стучалась сюда, как же!) Смотрела, как увозят Лепайтисов. Такая же пароконная телега у ворот и крестьянин, спешивший домой.

— Побыстрей бы уж, что ли…

Потом снова:

— Тпру! Чтоб вас черти…

Никто не помогал. Сами выносили пожитки и грузили на телегу. Под конец взгромоздили кушетку, тяжелую, с круглыми подлокотниками. Может быть, ту самую?

«И ради этого подняла меня с кушетки?»

«Папа! Сначала корову?»

«Сам увидишь, не так-то просто найти служанку!»

«Ма-ма-ма! Можно будет звать ее девка-жидовка?»

Как люди без исправника жить будут?

Стояла она вчера перед домом со стеклянной верандой и не двинулась с места, пока те не погрузились, не взобрались на вещи и крестьянин, облегченно вздохнув, не крикнул:

— Но-о-о!

— Нечего медлить. До станции пятнадцать верст.

Она стояла, не двигаясь, как каменная, пока телега не скрылась за поворотом.

А сегодня такая же подвода остановилась возле дома нотариуса. Было время — была бричка, как трон. Нынче — подвода. Еще бы веревку, шест — и можно сено или рожь грузить. Была когда-то бричка, как трон. А еще раньше были кудрявые волосы и серые, как у Винцаса, глаза.

Она и сегодня смотрела издали, затем подошла поближе, еще ближе, вытянула руки:

— Поди сюда, Римутис, поди ко мне.

Потом, опустив голову — давила скрученная жгутом толстая коса, — ждала, пока они простятся с ребенком.

— Поди сюда, Римутис, поди…

Взяла ребенка, будто своих было мало, — и Юозукас и мальчик.

Вот и снова он ей голову морочит, спрашивает:

— В Сибирь?

Она зажмурилась и кивнула:

— Да.

Мальчик сказал Римутису:

— Ты теперь всегда будешь играть со мной, хорошо? У меня большая лошадка, и грива, как у настоящего коня, видишь?

Она покормила детей. Потом сказала хозяйке:

— Я сегодня у нотариусов переночую, ладно?

Сегодня…

Она еще сама не знала, что теперь будет.

Римукас озирался в родном доме, где все было так странно.

— Тетенька, почему они не возвращаются? Почему все разбросало?

Убирать не стала, только притворила окна, двери и разобрала постель, ту, широкую, которую видела с чердака, сквозь пыльное окошко. Укрыла Римукаса, уже и сама собралась вытянуться рядом, но точно сильная рука удержала ее, не позволила. Постелила себе на полу, рядом с кроватью.

Хотела подумать, что же будет теперь, что ей делать, как вдруг услышала: скрип двери, потом — шаги. Вспомнила, что не заперла ни одного замка, натянула платье и вышла посмотреть.

Зажгла свет.

Перед ней стоял рослый, плечистый мужчина. Смотрел на нее сверху вниз.

— Весь день ждал, пока стемнеет, — сказал он. — Сюда, наверно, никто уже не заявится, а?

— Наверно…

— Известное дело, раз увезли, значит, не придут больше. А ты не выгонишь?

Промолчала.

— Мне дня на два, на три, пока все уляжется. Потом найду себе. Ну?

Снова ничего не ответила.

— Стариков моих выслали. Может, хочешь, чтобы и меня?

Кто он, этот человек, что стоит перед ней и смиренно просит приютить его? Кто?! Неужели Антанас Бернотас? Он шмыгнул носом.

— Я ж любил тебя… Мое дитя растишь…

— Молчи! — ответила она. Медленно оглядела его с головы до ног.

Юозукас, бывает, провинится и тоже так стоит: руки опустит, ноги сдвинет и голову набок.

— Когда уйдешь?

— Да дня через два, а может, и раньше.

Она показала ему на диван и пошла запереть дверь.

— Погоди, — сказал он, — может, лучше не в доме, а? Может, в сарай пойти?

Отыскала в прихожей старое пальто, платок, еще что-то.

— Идем.

На дворе осмотрелась. Никого. Ни живой души. Он бросил одежду на ровно сложенную поленницу. В темноте снова оживился.

— Слушай… Может, останешься? А?

Она молчала.

— Что ни говори, а баба ты ладная! Не ста-а-ре-ешь… Да и я еще не женат. Ну?

Потянул ее за руку:

— Вспомним, а?

— Пусти…

Она выдернула руку.

— Ну, ну! Ты теперь на коне. Твоя власть, а я — бродяга бездомный. Может, в ноги бухнуться?

Он обнял ее:

— Неужто я чужой тебе? Или обнимал не так?

Она с силой оттолкнула Антанаса и вышла из сарая.

— Ну, ну! — услышала вдогонку.

Что-то подступало к горлу, подымалось все выше и выше. Она вбежала в комнату, села на пол, там, где постелила себе, и чувствовала, что сейчас заплачет.

На кровати зашевелился Римукас.

— Я боюсь один, — тихо сказал он. — Ты так долго не приходила.

Слова не могла вымолвить.

Зачем она взяла ребенка?

— Они еще нескоро вернутся?

Она молчала.

— Теперь ты будешь моя мама?

Протянула руку, погладила его белые волосы и с трудом проговорила:

— Спи…

Он лег, укрылся и затих.

Она еще боялась признаться себе, что не приведет Юозукаса, не ходить ему в школу еще, по крайней мере, год, пока этот не подрастет немного.

Что-то подымалось, подступало к горлу. Она ткнулась в подушку и всхлипнула.

### Глава пятая

— Нет! — сказала она.

Ее неотступно мучила одна и та же мысль: «Зачем я пошла в деревню?»

Эта мысль точила, грызла и не давала покоя.

Снова цвели липы. Их желтый запах перебил черную вонь пожарищ, неистребимую, стойкую, как смрад над болотом.

Что человеку прежде всего надо?

Поесть.

«Он небось голодный, мой мальчик. Зачем я пошла в деревню?»

Не уйди она, все было бы иначе. Может быть, хотя трудно сказать… Что, не нацепили бы на евреев желтые звезды? Что, не загнали бы в лагеря, мужчин — отдельно, женщин с детьми и стариками — отдельно?

Нет, нет! Ничего бы не изменилось, разве ей одной сладить?.. Нет. Но мальчика она бы оставила при себе, как оставила сына нотариусов. Она бы кормила его: такому мальчику — всего год, как в школу ходит, — такому человечку растущему первым делом надо поесть.

Если бы она не ушла в деревню!

Если б хоть дождалась воскресенья, как обычно.

А то ведь ушла в субботу, захватив с собой Римукаса. Думала с Ятаугене посоветоваться.

А на воскресенье — война.

Хотела сразу же обратно бежать. Да не пустили ее. Здесь как-никак было двое детей, а там, в городе — один только мальчик, и с отцом, с матерью.

Но когда вернулась, было уже поздно.

Искала, везде искала их — только где уж там найдешь, если им всем велели нашить желтые звезды (почему — желтые и почему — звезды?), отделили мужчин и угнали за город, в лагерь.

Что это такое — лагерь?

Ее мальчик небось голодный.

Она поселилась в покинутом доме при кузнице.

Ей рассказывали: до того, как согнали в лагерь, здесь жили ее хозяева с мальчиком.

Собрала все, что было у нее: краюху хлеба, шмат сала, два яйца, надергала в брошенном огороде моркови, круглой, гладкой, сахарной, с тупыми концами.

Только придя на место, увидела, что такое лагерь. Одинокая усадьба, обнесенная проволокой-колючкой. Большая клетка, где не звери, как в цирке, а люди. И люди эти отмечены желтыми латками, чтобы их не путали с прочими.

Она зашла с поля, подкралась к изгороди, где не видно было часовых, присела в крапиве, не чувствуя, как жалит босые ноги, и увидела своего мальчика.

Она тихо окликнула его.

Он удивленно озирался, пока не столкнулся с ней глазами.

Рожица осунулась, уже не лукавая, только почернела вся, — может, загорел на солнце?

Она вытянула руки, и он бросился в ее объятия, только оба наткнулись на проволоку: она — руками, а он — лицом.

— Ты нашла… — тихо шептал он, вцепившись в изгородь, прижавшись к шипам. — Видишь… пришла… Я тебя все время ждал…

Она развязала узелок.

Отламывала грубо молотый ржаной хлеб и просовывала ему по кусочкам через изгородь.

Десятки глаз смотрели на них, и она поняла, что принесла слишком мало. Одному ему.

Она старалась не видеть остальных, хотя их глаза так и кололи. Не видеть. Все равно у нее больше нет. Достала морковку, самую крупную. Протянула ему, но тут же отдернула, стерла землю ладонью и протянула снова. Он схватил обеими руками, откусил, и стал мелко-мелко жевать, а глазенки блестели, и желтый морковный сок стекал из уголка рта.

В этом исхудалом почерневшем личике, в этих блестящих глазах, в иссохшем теле мальчика было все ее материнское молоко, была половина материнского тепла ее рук.

Потом она убежала.

— Я приду… приду… — пообещала мальчику.

Она бежала, не глядя под ноги.

Зачем только она пошла в деревню… Господи!..

Она все оборачивалась и видела большую клетку из колючей проволоки. И людей в этой клетке, и своего мальчика.

Надо было спешить.

Перебралась через канаву с водой, вязкую, глинистую, и устремилась по дороге. Надо спешить. В деревню. Привести Юозукаса и Римукаса. Теперь нельзя врозь. Если люди в клетках из колючей проволоки, то врозь уже нельзя.

Сейчас ей не дает покоя мысль: «Зачем я пошла в деревню?»

А вдруг потом будет снова терзаться: «Почему я тогда не пошла в деревню?»

Она бежала, потому что надо было спешить.

Она приведет детей из деревни, потом пойдет выручать своего мальчика. Будет просить, в ноги бросится, и его отдадут. Зачем он им? Худой, с почерневшей рожицей и горящими глазами?

Навстречу ехал велосипедист.

Она посторонилась, но велосипед остановился, человек слез на дорогу, высокий, плечистый.

— Куда тебя нелегкая несет?

Она подняла голову.

— Может, уже и знать не хочешь, а? — снова спросил Антанас.

Белая повязка на рукаве; за спиной — немецкая винтовка.

— Не у них ли была? А? Ты, видать, совсем объевреилась! — Он осклабился.

Она молчала.

— Такая баба! В зеркало на себя глянь. Тебе пожить бы хоть раз. Пробегут годочки, не вернешь. Небось только клеть и можешь вспомнить, больше нечего. А?

Он был пьян и речист.

— Где живешь теперь?

Она сказала.

— Загляну, может, как-нибудь, а? Жди! С подарками, не бойся. Колечко там с камешком или серьги. Золотые!

Лучше случая не придумаешь. Надо только упросить его. Снова просить, как когда-то. Надо…

Зачем им мальчик, худой, почерневший. Кому понадобился?

Она подошла поближе и уже было раскрыла рот, но тут он глянул сверху вниз, как всегда, и бросил:

— Жалко тебе их, что ли? А тебя когда-нибудь жалели? Ну?

Увидела стылые глаза и холодное лицо. Как тогда, возле усадьбы, когда на коленях ползала, обняв его ноги. Свежее, холодное лицо.

Нет, не надо его просить.

Лучше любому немцу поклониться.

Лучше немцу!

И поклонилась.

Только сперва детей из деревни привела. А то, не ровен час, потом будет грызть и грызть себя, терзаться от мысли: «Почему я не пошла в деревню?» Когда люди в клетке, нельзя быть врозь.

Привела детей и отправилась на поклон к немцу.

Долго ходила по разным зданиям, долго пороги обивала, пока допустили ее к коменданту города.

Она стояла перед большим столом на слоновых ножищах, но стояла далеко, у самого порога. Немца совсем не видела, только широкий жгучий шрам на правой щеке.

— Вас? Вас виллст ду?

Ему было ужасно смешно. Даже слезы выступили на глазах.

Поманил ее пальцем, приглашая поближе. Потом подошел сам, оглядел ее всю, улыбаясь. Не слушая, что она говорит, сказал:

— Ах, зо!

Двумя надушенными пальцами приподнял ее подбородок, затем похлопал по круглой щеке. Посмотрел на ясные синие глаза, на тяжелую косу, уложенную на голове, и высокую грудь.

Он хлопнул в ладони, и явился еще один.

— Скажи ей. Я не любитель молодого вина. Скажи, мне нравятся женщины в соку. Зрелые! — Он легонько щелкнул пальцами. — Если даже чуточку перезрелые, тоже ничего… В эту пору и вишня слаще.

Она смотрела на немца, а грудь вздымалась высоко и часто, ловя ускользающий воздух.

— Скажи ей, пусть придет вечером… убрать в квартире.

Лучше немцу…

Она снова почувствовала мальчика в своих объятиях, как тогда, у реки, когда в кустах мелькнула лукавая рожица, когда он выскочил, весь мокрый, и прижался, обхватил ее шею посиневшими руками, а она сидела, плакала, и рука не подымалась шлепнуть его.

Ведь это ее мальчик, родная плоть!

Она сумеет накормить его.

Первым делом человеку надо поесть.

Теперь они будут все вместе — трое ребятишек иона.

Та ночь была, наверное, самой длинной.

Немец вскоре уснул и захрапел, только багровый рубец горел на правой щеке. Она была тихой и покорной. Как в клети, когда пьяный Антанас приходил смело, будто хозяин, и делал с ней что хотел.

Она не могла сомкнуть глаз. Ей было не до сна.

Но подняться и уйти тоже не могла, надо было дождаться утра, получить бумагу, чтобы выручить мальчика. Без бумаги ведь никто не поверит. Разве Антанас поверил бы?

Теперь уже не так тяжко было: «Зачем я пошла в деревню?»

Теперь уже не страшит: «Почему я тогда не пошла в деревню?»

Теперь они будут все вместе: трое ребятишек и она.

Утром она терпеливо ждала, пока немец умывался, пил кофе с белой поджаристой булочкой, потом сел за стол и взял большой лист бумаги, стал медленно выводить букву за буквой, все поглядывая на нее, поникшую у дверей.

Он аккуратно сложил белый лист, сунул в синий конверт, заклеил. Неторопливо встал из-за стола, протянув конверт; шел к ней и улыбался.

Похлопал ее по плечу.

— Ты есть кгасиф, но, — он виновато нагнул голову, — но не ошень… немношко, немношко не интегесный женщин. Найн, Наин! Все гут! Больше пгиходит не нушен, Наин!

Она ничего не слышала.

Она смотрела на синий конверт.

А потом поклонилась, получив его, и убежала.

Она спешила за город, бежала прямо в лагерь.

Ей повезло. Даже до лагеря не пришлось бежать. Сразу за городом, возле кузницы, где она теперь жила, увидела длинную вереницу людей, утопавшую в дорожной пыли, а вокруг белоповязочников с винтовками. Она не вдруг поняла, что это они, из лагеря.

Господи Боже мой, успела…

Ведь могла опоздать!

Гос-по-ди Бо-же мой!

Успела!

Кто знает, куда их снова гонят? Говорили, будто в Люблин, на работы. А где он, этот Люблин? Наверное, очень далеко.

Успела.

Она остановилась. Перевести дух и дождаться.

Глазами уже нашла своего мальчика.

Впереди колонны, по ступицу в дорожной пыли, плыла бричка. В ней восседал какой-то рябой, должно быть, главный над ними. Она кинулась к бричке, ухватилась за спинку сиденья и показала синим конвертом на мальчика.

— Вон тот… Тот, видите? Господин комендант позволил взять!

— Что?!

— Вот бумага… Сам написал и еще в конверт заклеил…

Она подала конверт.

Рябой вскрыл, осторожно расправил белый лист, быстро пробежал глазами и расхохотался. Он хохотал, схватившись за живот. Комкая белый лист. Потом передал его идущему рядом, тот прочел, передал другому, а она бежала следом, натыкаясь на белые оскаленные зубы и гогот.

Бумага обошла вокруг всей колонны. Она, чуть живая, нагнала бумагу и снова ухватилась за сиденье:

— Отдайте мальчика… Самый главный, комендант позволил…

Он нагнулся к ней, брызгая слюной в самое ухо:

— А ты знаешь, что положено за укрывательство жида? Пуля… Пулька…

Он тыкал дулом ей в живот:

— Пуф! Пуф-пуф!

Потом сунул ей в руки измятый белый лист и гаркнул:

— На, и брысь! Чтоб духу твоего тут не было! Марш!

Она взяла бумагу и отступила на обочину.

Буквы сливались перед глазами, никак не могла сложить из них слова. Потом вытерла пот, щипавший глаза, и снова расправила лист. Наконец прочла: «Сказат ей ошен некарашо убираль квартир».

Тут и она захохотала.

Долго стояла по колено в дорожной пыли и хохотала, а потом, как прибитая собака, поплелась за колонной. Она шла сзади всю дорогу, через весь город, через имение, до самого гумна, пока люди, притаившиеся за деревьями, не задержали ее.

А с гумна женщин и детей гнали небольшими партиями по большому зеленому лугу к соснам, к ямам, откуда брали гравий, и ее мальчика тоже угнали, а возвращались оттуда только белоповязочники, чтобы снова гнать. И гнали снова, и от сосен, из карьера доносился беспорядочный треск пулеметов, автоматов и винтовок, и весь ближний сосновый бор вторил на десятки ладов, совсем не так, как эхо.

И люди уже поняли.

Только она — нет.

Что? Убивают?!

Нет!!

Ее материнское молоко?

Материнское тепло ее рук?

Не-е-ет!

### Глава шестая

— Нет!!! — крикнула она.

Коса распустилась, разметалась по плечам, морщины, вдруг прорезавшиеся у глаз и рта, стянули, скомкали все лицо.

Она пыталась крикнуть и все не могла.

Наконец не из горла, а откуда-то из самого нутра вырвалось:

— По-го-ди! Антанас, погоди!

— Ну-у-у! — отозвался Антанас.

Он сел на большой камень во дворе, и тот, второй, немец, тоже уселся на камень. Поставили автоматы между ног.

Юозукасу велели сесть рядом. Он присел, испуганно поглядывая то на этих двоих, то на мать, морщинистую, с растрепанными волосами. Он пошевелил рукой — ее стягивал тонкий шнур. Один конец был привязан к его руке, другой — в руках Антанаса.

Она ничего уже не хочет, не может сказать, только еще раз вырвалось, теперь уже тише:

— Погоди…

Стоит перед ним, а в голове, в сердце, в руках, повсюду, словно молотом, выстукивают два слова: «Как быть? Как быть? Как быть?»

Возвращаясь от имения, она шла мимо деревьев, мимо гумна, за которым сосновый бор на сотни ладов вторил грохоту выстрелов. Все шла и шла, не останавливаясь, оступаясь в горячей дорожной пыли, шла обратно к лагерю. Она должна была убедиться, правда ли, что там уже пусто? Может, ей померещилось? Может, они все еще там, за колючей проволокой? Может, она снова протянет руки к своему мальчику, а потом просунет меж колючек розовую сладкую морковку?

Она бы шла и шла так, если б ее не окликнули:

— Тетя…

Она продолжала идти.

— Тетенька…

Остановилась, прислушалась.

— Тетенька, подождите… — донесся приглушенный голос из придорожных кустов, и она обернулась.

Затравленно озираясь, из кустов вылез мальчонка лет десяти, а может, двенадцати.

— Тетя… Уже не надо прятаться?

Он тихо спрашивал, и она увидела желтую звездочку на его груди, и сама начала испуганно озираться.

Перепрыгнула через канаву, потащила его в кусты и хотела содрать звезду с рубашки. Да спохватилась, что руки заняты: все еще крепко сжимала измятый лист.

«Сказат ей ошен некарашо убираль квартир».

Хотела бросить бумагу, но та прилипла к влажным рукам. Тогда опустилась на колени и принялась зубами сдирать звезду.

— Их далеко погнали? Они вернутся? — спрашивал мальчик. — Куда пойти, чтобы нашли, когда вернутся?

Наконец она сорвала обе латки, выдернула нитки, чтобы даже метки не осталось.

— Пойдем. Со мной. Они вернутся… Найдут…

И вот она стоит, простоволосая, с растрепавшейся косой. Стоит перед Антанасом-белоповязочником, перед немцем, лузгающим семечки, и перед своим Юозукасом.

Как быть? Как быть? Как быть?

— Ну!

— Погоди… — просит она. — Погоди еще, Антанас…

Содрав звезды, она крепко взяла мальчонку за руку.

— Идем. Они вернутся… Найдут…

— А нам можно по улице?

У него были русые волосы, ясные серые глаза.

Она подумала.

— Да… Верно… Пойдем огородами…

Был уже вечер, и она спешила. Могли закрыть костел. Высокий, красного кирпича, он был виден издали. Обошли улицу огородами, потом дворами и поднялись по узкой боковой лесенке на костельный двор. Она подумала: можно ли оставить здесь ребенка, пока сходит в настоятельский дом и вызовет ксендза. Побоялась оставить одного и уже было хотела вести мальчонку с собой, как вдруг увидела старого арлариста[[2]](#footnote-2), потихоньку бредущего вокруг костела с бревиарием в руке.

Обрадовалась.

Восславив Христа, поцеловала худую старческую руку, стала.

— Батюшка… Может, окрестите ребенка… Прямо сейчас вот, сразу…

— Такого большого?

Она опустила голову.

— А «Отче наш» знает?

Не знает… Научится, потом выучит… Можно прямо сейчас, сразу?

— Мгм… мгм… Бывало такое. Крестили… Еще один агнец в Господне стадо. Обождите. Посмотрю, ушел ли ризничий. И викарию лучше не знать.

Он удалился, шурша обтрепанными полами длинной сутаны, потом позвал — поманил пальцем.

Никого больше не было, только они трое.

— Во имя Отца и Сына и Святого Духа… Наречем-то как? Имя, имя говори…

Она сама не знала… И мальчик не знал.

Он поднял на нее глаза, прозрачно-серые, и она сказала:

— Винцукас… Винцасом…

— Во имя отца и Сына и Святого Духа…

— А по отцу как?

— Сын Винцаса.

— Отныне ты Винцас, сын Винцаса, и да поможет тебе Всеблагий… Только молитвам обучись.

— Ну?

Это Антанасу не терпится.

— Долго нам тут сидеть? Долго цацкаться с тобой? Ты нам руки-ноги целовать должна, что саму не тронули. А может, забыла, что положено за укрывательство евреев?

Он усмехнулся.

— Девка… В ногах у меня должна валяться за то, что сжалился.

Снова засмеялся.

— Я говорил! Придет коза к возу! Ну? Пришла? Хо-хо-хо… Да теперь-то меня не купишь. Я за власть стою.

Он повернулся к немцу:

— А?

Тот, ничего не поняв, одобрительно кивнул и сплюнул шелуху.

Был, совсем недавно был у нее Антанас.

От него за версту разило самогонным перегаром, когда ввалился в комнату.

— Принимай! Говорил, приду — и пришел!

Навалившись на стол, порылся в карманах и вытащил горсть драгоценностей.

— Выбирай! Говорил, с подарками приду — вот они!

Она смотрела на кольца, с камешками и без камешков, на цепочки, белые и желтые, на тяжелые серьги, рассыпавшиеся по столу.

— Выбирай! У отца твоего сопливого снова землю забрал… Моя власть теперь… Моя! И работать ни к чему. Пускай батраки да пленщики работают!

Она пятилась от него и от добра, лежавшего на столе.

— Выбирай! Моя власть, а? Можешь снова в ногах валяться, чтобы замуж взял. А может, и возьму, ну? Ладная ты баба… Хозяйкой в усадьбе будешь. Поди сюда, соскучился я по тебе. Вот провалиться мне на этом месте, соскучился… Выбирай!

Она пятилась, а он приближался, загонял ее в угол.

— Может, и люблю тебя, кто знает?

— Уйди… — ответила она, понурив голову.

— Что?

— Уйди… Убью… — сказала она, сжимая в руке железный шкворень.

— Ты… меня… гнать? Меня… с подарками? Ты… немцу… так дала? За жиденка?! А мне, литовцу, отказываешь…

Он по-прежнему приближался, сгорбившись, с полусогнутыми руками, норовя схватить ее в охапку. Тогда она подняла тяжелую руку со шкворнем.

— Убью… — сказала.

Он вдруг поверил и отступил. Попятился к двери, потом вернулся, сгреб все со стола, спрятал обратно в карман и вышел, грозясь:

— Ты… Со мной так? Будет время… Придет коза к возу! На голых коленях как миленькая приползешь!

Немец нагнулся, потом выпрямился, снова присел, склонив голову. Пригнувшись, на цыпочках прокрался в огород и выхватил что-то из-под широких листьев. Сдул землю…

— Ха-ха! Дас шмект герлих!

И в крепких челюстях хрустнул зеленый огурец.

— Лос, лос, — говорил он, смачно жуя.

— Ну? — снова спросил Антанас, улыбаясь. — Видишь, идти надо. Зовет. А то, может, еще побрешешь?

Он дернул шнур, и Юозукас вскочил.

— Будто сам не вижу: кузнеца парнишка… Знала, знала, что сама виновата. Сама!

Своими руками беду впустила.

Раза три уже заходили к ним во двор старички. Такие благостные, обходительные, приятные.

— Вы тут, милая, навсегда поселились или как?

— Не знаю, — ответила она. — Может, потом подыщу себе место, на деревню уйду. Трудно с тремя ребятами… А вам-то что, отцы?

— Ничего, милая, ничего. Не знаем, куда деваться, пристанища ищем.

— Пол-избы пустует, живите, если понравится, — пригласила она.

— Нет, нет, мы еще потерпим. Обойдется. Не станем вас стеснять, зачем… Такие детки славные! Пусть летают по всей избе. А тот, старший, светленький, уж не кузнеца ли сынок, а?

— Нет! — отрезала она. — Мой… Винцукас.

— А-а-а… Нуда… Ну да…

В другой раз они просто так заглянули.

На третий старички явились с двухколесной тачкой.

— Если дозволите, милая, оставим это где-нибудь в уголке на сеновале.

Разве ей жалко?

Оставили замызганную кадушку, лохань с гнутой трубкой и большой черный котел. От этой утвари все еще шел тяжелый дух браги. Но что ей, места мало? Чем только сейчас, в войну, не промышляют люди? Каждому есть надо. Первым делом человеку надо поесть.

Антанас снова дернул шнурок, поднимая Юозукаса, и она поняла, что все равно уведут, не отпустят ребенка.

Хотела опять просить: «Погоди… Погоди еще, Антанас…» Но он встал с камня, а немец покрикивал, махал рукой и прямиком через огурцы шагал к дороге. Тогда она крикнула:

— Твой! Твой ребенок, Антанас!

Он разозлился не на шутку:

— Тьфу! Ври! Ври больше! Будто я сам не вижу… Смотри, чернявый какой. И нос горбатый.

— Ведь это у тебя нос горбом, у тебя! — снова крикнула она.

— Рассказывай…

Тут ему в голову пришла отличная мысль.

— Ну, покажи того, если не врешь. Где другой, покажи, ну!

Она точно приросла к земле — не могла двинуться с места.

— Где это видано, чтобы родное дите за какого-то черномазого отдать, хо!

Ему было весело. Отличная мысль и, главное, вовремя пришла в голову!

Он дернул шнур.

А в самом деле…

В самом-то деле как?..

Она увидела, как они шли к кузнице, эти двое, и велела Винцукасу бежать на чердак. Велела спрятаться в углу за всякой рухлядью и не вылазить оттуда, что бы ни было.

В самомделе… Не может ведь она, не может отпустить Юозукаса. Уведут, сейчас уведут ребенка, и не вернется больше. Никогда. Она не может отпустить родное дитя, в самомделе… Надо самой забраться на чердак и позвать Винцукаса. Как быть… Силы в человеке не бесконечные. Рано или поздно приходит им конец.

Да никак не двинуться с места. Так и приросла к земле.

Надо еще раз попросить Антанаса.

Сказать: «Погоди… Погоди, Антанас, еще немного… Пусть не торопится твой немец, пусть еще огурцы поищет. Погоди!..»

Но не в силах и слова вымолвить.

Она все глотала, глотала и никак не могла проглотить слюну: горло сухое, как выжженное.

Она еще не видела, что Винцукас вышел на порог избы.

Не видела, что Винцукас подходит.

Только почуяла, как ребенок прильнул к ней.

Она вскрикнула.

— Я пойду. Пусть он останется, — сказал Винцукас. — Ведь они меня ищут.

И он сделал шаг к Антанасу.

— Постой… Погоди… — простонала она.

Антанас посмотрел, прищурясь, и вдруг рассмеялся. Ему можно было смеяться. Он был прав.

Показывая пальцем на Винцукаса, светловолосого, сероглазого, он смеялся и орал:

— Вот! Этот мой! Этот! Вот он, чистый литовец, вот! Все вы брешете, да не на того напали! Ганс!

Ганс! — Немец обернулся. — Меня не проведешь, я за власть! Что?!

Немец кивнул.

И тут она заметила, что Антанас выпустил шнурок.

Выпустил из рук…

Она вся сжалась и крикнула Юозукасу:

— Беги! Беги, сынок!

Юозукас дернул рукой и бросился бежать. По огороду, через дорогу. Бежал. Слава Богу, бежал.

— Ха-ха-ха! — загоготал Антанас. — Гансо!

Немец тоже видел.

Они одновременно приставили к животам железные приклады автоматов и открыли огонь. Крест-накрест. Очередь. Еще одна.

Юозукас споткнулся и вдруг исчез. Сразу за дорогой.

Они подошли, сперва один пнул его ногой, потом — другой.

Антанас крикнул с дороги:

— Теперь забирай! Нам он боль-ше не ну-жен!

Она оттолкнула Винцукаса.

Путаясь в недлинном платье, оступаясь, выбралась на дорогу, склонилась над сыном, встряхнула его окровавленную голову. Потом встала, упираясь руками в землю.

Она встала, вскинула над головой руки, измазанные землей и кровью, и смотрела на мир черными, полными ненависти глазами.

Она молчала.

Она ничего не видела.

Но ее черные глаза, ее стиснутые пальцы, измазанные землей и кровью, извергали черное проклятье.

Проклятье!

Проклятье.

### Глава седьмая

— Нет… Второй раз не спрашивайте, —

просила она.

Чудно.

Больно чудно уж.

Кто бы мог поверить?

И снова была весна и цвела сирень. Белая, фиолетовая. Ее было полно вокруг усадьбы — все кусты и кусты: бело-зеленые, фиолетово-зеленые.

Теперь уже дети искали счастье. Прибежали оба, и Таня с ними.

— Бери, мама, — тянулся Римукас с цветком из пяти лепестков.

— Тетенька, возьмите…

Это принесла свое счастье Таня — голову нагнула, а сама поглядывает исподлобья: возьмет тетя или нет. Вдруг не возьмет… А ее цветочек самый красивый.

— У меня шесть лепестков… — говорит она, все еще не подымая головы.

Почему ж не отнесет она цветок своей матери?

Она взяла у всех троих, понюхала и вернула.

— Нельзя свое счастье другому отдать, — сказала. — Тогда уже и счастье — не счастье больше…

Сказала и задумалась.

Так ли на самом деле?

Верно ли, что нельзя отдать другому? Тогда уже и счастье — не счастье?

Она кончила кормить свиней, чисто вымыла руки, потерла песком, снова окунула в воду. И сама пошла за усадьбу.

Руки потрескавшиеся, пальцы толстые, неуклюжие, но она перебирала ветки, листья — все искала.

Виктор пригнал лошадей, соскочил на землю, подошел тихонечко, боясь спугнуть.

— Бог помочь, — сказал, смеясь.

Она обернулась.

— Что ищешь? — спросил он.

— Счастье…

— А его можно найти?

— Можно, — ответила она.

Чудно.

Невозможно поверить, да придется.

Наступило лето, и зацвели липы.

Старая развесистая липа, что росла на дворе, вдруг пожелтела, унизанная усатыми бусинками.

И, глядя на эти тысячи цветков, вбирая вместе с гудящими пчелами запах липового меда, можно было на минуту забыть про все.

Про все, что творится вокруг.

Больно чудно уж, что даже в такое время приходит весна и распускается сирень, белая и фиолетовая.

Больно уж чудно, что даже в такое время наступает лето и старая липа становится желтой и душистой.

Она стояла, прислонившись к корявому стволу.

Грубые пальцы ласково тронули ее за руку, погладили.

— Не надо… — сказала она. — Не надо, Витя…

И он снова, как всякий раз, отступил.

Не знал, что надо быть настойчивее.

Ведь она когда-то уже говорила так… Да только было это давным-давно… Тогда, еще совсем молоденькой, говорила:

— Не надо… Не надо, Винцялис…

Она все еще стояла, прислонившись к липе.

В синем небе мерцали звезды, иногда они падали — словно далекая молния прочертит светлую стежку и угаснет.

Может, это в последний раз цвела сирень? Может, больше никогда не будет так пахнуть липа?

Впервые назвала его Витей совсем недавно.

Он прилег отдохнуть в полдень на сеновале, и Катерина туда же.

Катерина…

Пускай, пускай… Ну и что? Она посмотрела на приоткрытую дверь сеновала и вдруг спохватилась, что ей нужны вилы. В хлеву стояли другие, да негодные, с обломанными зубьями. Как же она сразу не подумала про вилы? И ждать нельзя. Сейчас ребята пригонят коров, надо свежей травы подбросить.

Тихонько, боком, проскользнула в приоткрытую дверь и остановилась. Сама себя испугалась, оробела.

— Ну, подвинься ближе, дурень ты, — льнула женщина к Виктору.

Он молча отодвигался.

— Иди ко мне, не бойся.

Он отвернулся.

— Может, ты и не мужик уже? Может, тебе баба не нужна? Глянь-ка!

И дались ей эти вилы! Могла бы и теми, с обломанными зубьями, набросать травы. Чего ее на сеновал понесло? Бежать отсюда, не важно, что увидят…

Катерина сдернула с себя платье, спустила с плеч сорочку.

— Глянь! — сказала она.

И он обернулся.

Плечо у нее было округлое, гладкое и розовое. Тугая грудь вздымалась, часто вздрагивая, растревоженная, дразнящая. Яркий луч упал на шею, высокую, белую, с беспокойно бьющейся жилкой. Она вытянула руки, тоже белые, обнаженные:

— Что? Не нравлюсь тебе?

— Уйди…

Катерина усмехнулась:

— Тебя на ту, на девку потянуло? Не бывать тебе с ней, уж я-то знаю. Придвинься, дурачок. Поближе…

Он привстал и пошарил в сене.

— Все одно… Только раз живем, не так, что ли?

Голые руки гладили воздух. Повела покатым розовым плечом, и грудь стала еще выше.

— Тебе-то все одно… Знаю… Ты и с немцем ляжешь.

И тут он нашел что искал.

Протянул руку, и она удовлетворенно подалась, опрокинулась навзничь, а он вскочил — в другой руке у него змеился кнут.

— Знаю… Ты и с немцем бы… А может, твой-то сейчас в окопе кровью истекает. Спешит вызволить, обнять тебя… Тебя, курва…

— А-а-а… А-а-а!

Кнут, щелкнув, обвился вокруг розовых плеч.

— А-а-а!

Вилы? Она шла за вилами?

— Брось! — крикнула она и вся съежилась, прижалась к двери сеновала, словно это ее — кнутом.

Она про все рассказала Виктору, про все. Только не про ту ночь, долгую бессонную ночь, когда ждала бумагу. Когда терпеливо ждала рассвета и бумаги.

«Сказат ей ошен некарашо убираль квартир».

Он обернулся к ней: зубы стиснуты, желваки на скулах.

— Брось! Брось…

Он бросил кнут.

Встал, еще раз глянул на Катерину, которая медленно поднималась, поглаживая белую шею, розовые плечи, и кашляла, кашляла, не в силах остановиться.

Они оставили ее на сеновале и ушли, так и не взяв вилы. Долго не смотрели в глаза друг другу. Это он не смотрел. А когда их взгляды встретились, она увидела, что глаза у него влажные.

Тогда-то и назвала впервые:

— Витя…

Она знала, о чем он думает, и крикнула:

— Неправда, Витя! Неправда!

В синем небе мерцали, изредка падали звезды. Она стояла, прислонившись к липе, а он гладил ее руку.

— Не надо, не надо, Витя…

Если даже в такое время наступает лето и желтеют, цветут деревья, то, может, и можно хоть на минуту забыть все-все, что вокруг тебя?

Хорошо, что отец тогда встретил ее…

Она бежала из города с двумя детьми.

Куда же ей было идти? Домой.

Вот и пришла. Пришла?

Отец встретил на пороге, понурив голову.

— Что скажешь? — спросил. — Своих, что ли, мало, еще двух байстрюков привела? А может, и земли принесла? Или только ублюдков?

И снова ушла.

Ходила по хуторам, искала работу, пока не прибилась тут: сама батрачкой, а ребята — за пастухов. Застала здесь хозяина, старого очкастого холостяка, и пленника Виктора, который управлялся со всеми работами. Хозяин — то ли учитель из города, то ли еще кто — приехал мать хоронить, да так и застрял, сидит сиднем, не снимая жилетки, книги читает да к рюмке прикладывается. Всем заправляет его двоюродный брат, у которого свое хозяйство по соседству. То и дело приезжает верхом, распоряжается. У него-то рука жесткая, хорошо, что только наездами, не все время здесь.

— Зачем бабу с пацанами взял?! — кричал он, обнаружив новых работников. — Не хватало полон двор батраков набрать! Объедят, по миру пустят…

Но потом утих, когда работу увидел.

Вскоре сам Катерину привез и ржал, как жеребец:

— Вот тебе еще одна с ребятенком. Работников ныне хоть отбавляй! Задаром дают, так чего ж не взять. Откормить надо будет малость…

И все поглядывал на ее исхудалое, но красивое лицо, гладкое, с маленьким носиком и большими глазами.

Катерина быстро прижилась в усадьбе. Быстро. Щеки враз порозовели, плечи округлились, раздалась в бедрах.

— Ты с хозяином, да? — спросила.

— Нет…

— Дура.

Катерина не стала дожидаться, когда хозяин постучится в клеть, — сама пришла к нему без стука. И все хорошела, наливалась. Как яблочко. Вскоре и двоюродный брат стал наведываться почаще, уезжая с зарей, на рассвете.

— Какая женщина! О, какая женщина! — восторженно говорил иногда хозяин.

Двоюродный брат ухмылялся в усы.

— Да что ты? Не может быть… Ты бы лучше записал в свои книги, за что должен. Давеча трех поросят тебе привез, еще не записано. И самогонки пять литров.

— Записано, записано… Поверишь, первый раз такую встретил… Огонь!

— Ладно, ладно. А ты еще не одумался? В город не хочешь? Хозяйство на меня оставишь — и никаких забот, все равно ведь я все делаю. Не в школу, так еще где-либо устроишься. Теперь с немецким везде требуется.

Хозяин вздрагивал.

Он снимал очки, долго протирал их белым носовым платком, прищурясь, глядел на двоюродного брата:

— Немцу служить? Не буду. Ни за какие деньги.

Двоюродный сплевывал и отходил к лошади:

— Куда уж нам… Интеллигенция! Придет время — послужить… Как прижму с долгами — не отвертишься.

Нет, нет, надо все забыть, все-все. Хотя она подумала только об отце. Если б не отец, не повстречала бы Витю, не стояла бы теперь, прислонившись к дереву, и он не гладил бы ее руки. Последний раз ведь, наверное. Не будет больше счастливых цветков — ни белых, ни фиолетовых, ни желтых. Годы идут, идут, не останавливаясь. Не спросят тебя, может, им остановиться, подождать немного? Последний раз.

Хорошо, когда ребята уже спят, смотреть вот так в синее ночное небо, забыв про все — и про то, что творится сейчас в избе, и про то, что Виктор скоро уйдет, уйдет Витя… Как только Юодейка даст знать, так и уйдет. Бежать надо ему отсюда, бежать, пока не вернули немцам.

Приближается фронт, кажется, слышно уже, как гремит. Не гром же так часто. Скорее бы… Пока Юодейка не дал знать. Дети в школу пойдут. За Винцукаса и вовсе будет душа спокойна. Даже странно, что не придется больше бояться ни ему, ни ей — гуляй сколько хочешь, делай что хочешь, иди куда хочешь, и никто ничего, даже пальцем тебя не тронут.

Может, и Виктор тогда останется. Наверное, останется… Куда ему идти — все погибли: и родители, и братья, и сестры… И цвела бы липа всю жизнь, не так ли?

Что только не взбредет на ум летней ночью, когда смотришь в небо, синее-синее, унизанное золотыми звездами, тихо мерцающими, а порой падающими тонкой, как далекая молния, стежкой.

Он гладил ее руку, он был не слишком настойчив, и поэтому она больше не повторяла то, что говорила всегда.

Обнял крепко, обеими руками, и она задрожала всем телом, как девушка. Забыла — столько лет ведь! Забыла, как охватывают мужские, желанные руки.

— Идем отсюда… Ладно, Витя? Идем…

В это время ее позвали.

Пьяный голос позвал раз.

Позвал второй, третий, четвертый.

Надо было идти.

В комнате зажмурилась от света, долго моргала.

— Куда провалилась, ты!.. — прикрикнул двоюродный брат. — Сказано, чтобы под рукой была, в кухне или на дворе… Поди пива принеси из погреба, самого холодного. Быстро! Бегом!

Взяла два кувшина и спустилась за пивом.

Вернувшись, поставила их на стол, холодные, запотевшие.

— Теперь пленщика зови. Ну! Быстро! Бегом!

Она обвела взглядом всех четверых, рассевшихся за столом.

Двоюродный брат сидел, упершись локтями в загаженную скатерть, и довольно посматривал на остальных, даже пьяные, осоловелые глаза ненадолго светлели, как бы трезвея, изо рта свисала слюна, длинная, до самого стола, а из рюмки мелкой струйкой вытекало прозрачное питье.

Хозяин сидел в конце стола, откинувшись в глубоком кресле и уронив голову, что-то бормотал сквозь зубы и глядел на немца и Катерину, не поправляя съехавших на кончик носа очков; жилетка расстегнута, рубаха нараспашку.

— Пиво пить и квас хлебать, а Литву не… Пиво пить и квас хлебать… — Он скрипнул зубами. — У! Убью… и квас хлебать, а Литву не… Убью… обоих…

Лучше всех было немцу и Катерине.

Он щипал под столом ее бедра, и ему, видно, нравилось — такие крутые, сбитые. Ей тоже нравилось. Она взвизгивала и хохотала, запрокидывая голову.

Хозяин прищуренными глазами смотрел поверх очков на Катерину, да, видать, просмотрел что-то.

— …а Литву… а Литву… У!

— Чего стала? Пленщика зови!

Это все двоюродный брат. Он и немца привез сегодня под вечер. Не то насчет поставок, не то еще чего. Так и хлещут до этих пор.

— Абер шнель! Бистро! — подхватил и немец.

— Что, жалко тебе его? — скалилась Катерина. — Пусть смотрит. Хочу, чтоб видел, как я любить умею. Как еще одного красавца завлекла. Иди, иди, зови!

Хозяину было все равно. Что ему пленный?!

— Ну! Быстро! Бегом! Кому сказано! — взревел двоюродный брат, вытирая повисшую над столом слюну. — Бегом!

Она выбежала во двор.

— Витя… — позвала негромко.

Он все еще стоял под деревом, так же, как она недавно, прижавшись к корявому стволу, и смотрел на синее небо и золотые звезды.

— Уже? Освободилась?

— Нет… — ответила она. — Собирайся. Уходить надо. Скорее.

— Сегодня? Сейчас?

— Сейчас.

— А до завтра подождать нельзя?

— Нет. Нельзя.

Он схватил ее, стиснул в объятиях.

— Можно… Хоть до зари бы. Можно ведь?

Она выскользнула из его рук.

— Нет. Поскорей. Я сейчас…

Она снова зажмурилась, войдя в комнату.

— Где пленщик?

— Нет его.

— Что?! Сбежал?

— Может, лошадей перегнать пошел.

— Как вернется, сюда пошли, — велел двоюродный брат.

— Гут, потом… — согласился немец.

— Потом, — подхватила Катерина. — Только не забудь. Прямо в клеть.

Она снова взвизгнула: немец ущипнул ее. Встала, потянула немца за руку и убежала, оставив двери настежь.

Хозяин вскочил, добежал до порога и вернулся.

— В клеть… Убью… — пробормотал он и снова рухнул в свое глубокое кресло.

Двоюродный брат сидел довольный, облокотившись о стол. И снова изо рта свисала слюна.

— Ну как, брат, — обратился он к хозяину, — договорились, а? Все равно увезет он утром твою женщину. О! Какая… женщина!

— Молчи… И тебя убью.

— Щучу я, сам видишь, шучу. А через недельку и ты в город подашься. Креслице для тебя уже готово, только садись. Ну? — Он встал и, качаясь, приблизился. — Поцелуй меня. Поцелуй брата… Разве не я твою жизнь устраиваю?

Она незаметно вышла из избы. Виктор ждал за усадьбой, там, где зеленели кусты сирени. Ночью, при свете месяца, они были как бархатные.

— Пошли, — сказала она.

Усадьба Юодейки была не так уж далеко. Но всю дорогу обратно она спешила. Что-то светилось на хуторе, и свет этот все подгонял и подгонял ее.

Только прибежав во двор, поняла.

Горела клеть.

Перед клетью, с колом в руках, стоял хозяин.

— Это ты? — окликнул он. — Тсс… Все спят. И эти спят оба. Тссс…

Она метнулась к хозяину, встряхнула его, ухватившись за расстегнутую жилетку:

— Гасите! Клеть горит!

Он оттолкнул ее.

— Тсс… — И взмахнул колом. — Твое какое дело! Моя клеть… Моя… Хочу и жгу. Тсс! На что мне клеть. В город ухожу, на гестапо работать. Поняла? Продался, сам, а? Даже брат меня продал. На что мне клеть? Тсс…

Дверь клети была подперта.

Она подбежала, схватилась за подпорку.

— Вон! Убью! — крикнул хозяин, замахнувшись колом. — У!

Но она продолжала выбивать подпорку.

— Девочка там, Таня… Ребенок!

Хозяин, помолчав, решил:

— Забирай. Бери девчонку. Только их не буди! Убью!

Она вышибла подпорку.

— Погоди! Я сам! Сам.

Он тихо отворил дверь, вошел, согнувшись, на цыпочках, и вынес девочку.

— На. Бери, раз сжалилась. Своих мало, а? Ха-ха! Все равно б она кинула ее утром. Кинула бы! А уж брат нашел бы, куда девчонку пристроить. Что, не так?

Она приняла спящую девочку и отступила.

Пламя занялось со всех сторон, уже и дверь охватило, а он — волосы растрепаны, грудь нараспашку — снова подпирал дверь и, отворачиваясь, бормотал:

— Все в дыму. А они там спят, в обнимку. О, какая женщина! Тсс… Пускай спят.

Она унесла Таню на сеновал.

И снова надо было спешить.

Разбудила детей, одела их, сбегала в избу, собрала в чулане пожитки и опять побежала к детям.

Горело дерево, искрами вспыхивали цветы в синеватом, почти не видном дыму.

Горела липа. И раз уж загорелась, значит, было суждено сгореть ей.

Горела. Горела!

Она отвернулась, закрыла воспаленные глаза. А ребята обступили ее, тянули за подол:

— Мама, куда мы идем?

— Мама, куда?

— Тетенька, тетенька, я боюсь… Вы меня не бросите?

### Глава восьмая

— Нет, — ответила она, —

я тоже не знала.

Приходит осень со своими трудами, заботами.

Со щедрой рукой приходит осень.

Щедра ее рука, и не только хлебом. Кроме хлеба человеку надо еще что-то. Разве самое главное для человека — поесть?

Осыпаются желтые листья каштана вдоль дорог. Осыпаются, тронутые пальцами ветра, кажется, всю землю хотят устлать. Вроде бы так же, и не так же, как в прошлый раз.

Человеку еще что-то надо.

Она стоит на дворе, прикрыв ладонью глаза от утреннего солнца.

Здесь стояла она когда-то, точно прилипнув к земле, все глотала и никак не могла проглотить слюну пылающим, пересохшим горлом. Стояла и упрашивала:

— Погоди… Погоди еще, Антанас.

Она стоит, прикрыв глаза ладонью, и взглядом провожает детей. В школу идут.

Сколько их было бы?

Четверо?

Если бы и Юозукас был.

Если б не упал там, за дорогой.

Ребята шагают чинно, без толкотни, то и дело поглядывая вниз, на ноги, а там сверкают три пары новеньких, еще не запыленных башмаков. Коричневые с длинными носами — Винцукаса, широкие черные — Римукаса и самые маленькие, узкие, короткие — Танины.

Свернув с дорожки на большак, ребята останавливаются, машут руками. Ей. Это ей одной машут.

А она стоит и провожает их взглядом.

Русые волосы Винцаса, серая стриженая голова Римаса, а у Тани в кудряшках лента плавает. Только вчера подыскала ей синий лоскуток, подрубила, отгладила и повязала девочке синюю ленту. Мальчишкам — что? А девочке надо.

Вернулись в город весной. И снова поселились в доме при кузнице. Не было больше ни стариков, ни черного котла, ни кадушки с гнутой трубкой. Может, сами уехали, может, насильно увезли их. Дом на окраине пустовал, а ее все так и тянуло на то место, где последний раз видела Юозукаса. К тому же хоть раз у них будет свой угол: дом-то Винцукаса!

И слава Богу, не совался к ним никто, ни злые, ни добрые. Кому уж там соваться: все разбегались кто куда, а немец все гнал и гнал гурты по дорогам. И коров, и овец, и кого только было можно, бросая по обочинам павшую, выбившуюся из сил скотину.

Принесли однажды ребята с большака охромевшего ягненка. Был он тощий, пугливый, кажется, дай ему крылышки — рванется, вспорхнет и улетит от рук и глаз людских.

И жила здесь теперь, кроме них, четверых, еще одна живая тварь. Вскоре ягненок и голос подавать стал, приохотившись к молодому клеверу, и нога день ото дня все крепла.

А она, усталая от каждодневных забот и хлопот — ведь и за детьми смотри, чтобы никуда не отлучались, никому на глаза не лезли, и на стол подай, и о завтрашнем дне подумай, — усталая, она садилась на старый пень во дворе и подолгу глядела вдаль, повернувшись к Дубисе.

А там все гремело, гремело, гремело.

Когда же рядом загремит, над головой?

Если ждет человек, то всего дождется, умей только ждать. Хоть ждать и приятно и тревожно чего-то. А когда и вправду над головой загремело — испугалась. Детей в картофельный бункер загнала, и сама туда же; Винцукаса даже близко к выходу не подпускала — все сама выглядывала.

Немцев уже и не видно было.

Сквозь гул и острые взрывы мчались танки — зеленые, со звездами по бокам, как тогда, в том июле, только эти были еще больше и неслись напрямик, полями, а не мощеной улицей.

Вот и затихло. Дальше, вслед за солнцем, грохоча, покатился Фронт. Вылезла из бункера и ребят позвала:

— Ну, вылазьте, дети. Можно…

А тут, рядом, уже стояли запыленные бойцы, серые, опаленные солнцем, овеянные соленым ветром.

— Где немцы? Немцы есть?

— Нет… Нету больше.

И раскинулся на лугу серый копошащийся муравейник. Дымили полевые кухни, доносились шум, смех, где-то грустно наигрывала гармошка.

И здесь, во дворе, тоже сидели солдаты, ссыпали в клочки бумаги не то табак, не то крошеное дерево.

— Махорка! — толковали они. — Махорка!

Она не находила себе места, не зная, чем угостить их, пока не вспомнила, что в доме завалялся кисет с тонко нарезанным самосадом. Сбегала, принесла и положила кому-то на колени:

— Вот этого закурите.

Потом подозвала Винцукаса, погладила его русые волосы и велела:

— Беги, сынок, на большак. Беги… И кричи, пой там. Кричи что хочешь, пой, ори во весь голос. Никто у тебя на пути не встанет, никто-никто! Беги, Винцукас! Нету немцев!

И тот побежал, а за ним и Таня с Римукасом.

И кричали на большаке, орали — песни и просто так.

А она стояла, вот как сейчас, смотрела, и самой хотелось бежать с ними, кричать и орать — песни и просто слова.

А что?

Кто им запретит?

Кто на пути встанет?

Никто.

То-то и оно. Хотя, кто знает, — опять чужие.

Шагают ребята в школу, уже и не видно их за деревьями, только изредка мелькнет русая головка Винцукаса да проплывет синяя Танина лента.

Это они, ребята, и увидели тогда. Ей бы в голову не пришло, и потом бы тоже горевать не стала. Эка важность, ягненок!

— Смотри, мам… — обступив ее, шептали дети. — Смотри, нашего баранчика ведут.

Долговязый солдат, худой и длинный, тащил ягненка в кусты. Тот упирается, не идет, а солдат, зажав ему морду, то волоком тащит, то схватит за шерсть и пронесет несколько шагов.

— Что?

— Ягненка?

— Овцу?

— Барана?

Зашевелились те, что мирно потягивали во дворе цигарку с даренным ею самосадом, побежали куда-то — и всколыхнулся луг.

Запела труба.

— Стр-р-ройся!

Много их было, солдат. Выстроились длинной двойной лентой и застыли, будто перед генералами какими-то. Стояла она впереди — вызвали ее, с детьми. И тот солдат, молодой парень, долговязый, худой, стоял, опустив голову.

— Мама! Он и штык уже было вытащил! — нашептывал сбоку Римукас.

— Шшш! — оборвала она.

— Этот овцу украл? — спросил офицер. Ребята закивали головами.

Она смотрела на парня, молодого, нескладного, который стоял навытяжку, подняв голову, а сам дрожал всем телом, руками и ногами.

— Ваша овца? — спросил военный.

— Наша, — ответила она. — Какая там овца… Ягненок…

— Не важно.

— Вы, что… Судить его будете?

— Судить.

— За ягненка? Ягненка…

— Не важно, за овцу или ягненка. Нельзя народ грабить.

Стояла лента в два ряда, длинная, множество солдат. А перед ними — она с детьми, офицер и тот солдатик, долговязый, худой, нескладный.

— За ягненка?! — повторила она. — Так ведь ошибка это… Ошибка вышла… Я сама ему отдала, угостить хотела. Нехорошо… Я угощаю, а вы — судить человека.

Короткий ропот пробежал по рядам.

— Вы, мамаша, правду говорите. Мы не можем иначе, — сказал офицер.

— Правду? — переспросила она. — Да неужто мне ягненка жалеть?

Дети смотрели на нее, ничего не понимая, а она приказала:

— А ну-ка сбегайте приведите баранчика. Винцас, поди приведи!

Дети привели, и ей было смешно смотреть на множество солдат, которые стояли перед этой малой тварью, перед ягненком, стояли смирно, не шевелясь, будто перед генералами какими-то.

— Иди сюда, — махнула она тому долговязому, Янушке. — Бери, бери, коли сказано… Бери! Чтобы мне ягненка жаль было?

Строй рассыпался.

Подходили солдаты, серые, подходили и, присев, гладили ягненка.

А она радовалась, что они все проходят перед ней. Внимательно заглядывала каждому в лицо, искала, выискивала. Может, и Виктор с ними? Может, здесь он?

Потом все-таки решилась, спросила.

И выстроились перед нею двадцать три бойца Викторы. Только не было здесь ее Виктора. Не было с ними Вити.

Еще долго заходили в дом солдаты, весь вечер. И несли и клали каждый на стол — кто твердый кусок сахара, кто чудную четырехугольную буханку ржаного хлеба, кто жестянку с консервами или горсть сухарей.

Уже и стола не видно, только груда добра. Она все просила:

— Не надо… Заберите, не надо.

Но они не слушали.

А она все вглядывалась в лица, в каждое по отдельности. Может, ошиблись они, может, есть еще один Виктор, а им и невдомек. Может, забыли его позвать? Может, здесь он все-таки?

Так и не найдя, сидела потом на камне, во дворе, рядом с пожилым солдатом и все расспрашивала:

— Много ваших полегло, а?

— Много, — ответил он.

— Все обочины усеяли… И случайные были?

— Были. И сейчас есть.

— А по имени, по фамилии можно могилу отыскать?

— Чью отыщешь, а чью и нет.

Помолчали.

Потом она снова спрашивала:

— Какая жизнь теперь будет?

Он посмотрел ей в глаза и не сразу ответил:

— Трудная.

— И песни будут на улицах?

— А как же!

— Не хочу я, чтобы эту, знаете… «Если завтра война…».

— Теперь другие песни.

— И выборы будут? Снова голосовать надо?

— А как же!

— Стало быть, все как тогда. Стало быть, и землю раздадут людям. Опять все снова.

— Конечно!

— А… в Сибирь возить будут?

— Не знаю. Вот уж этого не знаю.

Долго сидели молча.

Наутро двинулись солдаты вместе с солнцем на запад, опять на фронт. У них, дескать, еще дальняя дорога. До самого Берлина.

Видно, и впрямь дальняя.

И снова жизнь началась.

Другая. Конечно.

Заново.

Все ли заново? Все-все?

Мы говорим:

Человек радуется.

Человек грустит.

Человек смеется.

Человек плачет.

Как знать…

Правда ль это?

А если сердце заходится от радости и от горя сразу?

Если слезы радости и печали подступают к глазам?

Она все еще стоит, прикрыв лицо ладонью. Заслонясь от утреннего солнца.

Почему человеку мало только поесть?

Почему ему еще что-то надо?

Она стоит и все так же взглядом провожает детей. А детей уже и не видать давно. Они, чего доброго, уже в школе.

Только падают желтые листья каштана.

Облетают, тронутые пальцами ветра, — кажется, всю землю устлать хотят.

### Глава девятая

— Нет, — ответила она, —

нельзя проклясть мир.

Чем плохо, когда наступит лето?

Летом хорошо.

В школу не надо, и ребята со старым Кинартасом пасут городских коров. Вот уже и не твоя забота, накормлены. Один день — один хозяин даст, другой день — другой. Так и идет по кругу, и людям хорошо, и дети сыты. Еще, глядишь, и червонец перепадет — карточки отоваришь.

Сама тоже не сидит сложа руки. Тому огород прополоть, этому одежу постирать, а еще и свой огородик, и овца растет, и поросенка как-никак держат.

Грех жаловаться, ведь только-только война прошла.

Не сказать, чтобы хлеба вдоволь, но и с голоду не пухнешь.

Все не так, как те, что из Пруссии побираться ходят.

Ходят и ходят, по двое, по трое, а то сразу кучей — женщины с детьми или женщины отдельно, дети отдельно.

Ну что? Воевали-воевали, да так и не навоевали ничего? В войну на чужом и теперь тоже?

Стояла она над мертвым сыном, воздев к небу измазанные землею и кровью руки. И настало проклятье. Сбылось.

Завидев, как они сворачивают с большака на дорожку, пряталась на сеновал, не показывалась и только все смотрела, смотрела в щель…

Они стучали в дом, звали и, не дождавшись, уходили со двора. А она — ни с места. Иной раз, воровато озираясь, выдернут морковину из ближней грядки или наспех выроют горсть картошки.

Пускай. Что ей, жалко морковку или там картошку?

Но из своих рук и куска не подаст.

Разве не стояла она за дорогой, воздев руки к небу?

И вот оно — проклятье.

Радовалась, что детей нет дома, не видят, как она прячется на сеновал, а потом приникает к щели.

Разве им объяснишь, ребятам?

Разве все расскажешь…

Винцукасу, пожалуй, и сказала бы, тот уже почти взрослый, еще годок-другой — и мужчина. Да стоит ли бередить старую рану? Слишком зелены они, еще мало повидали в жизни.

А тут возьми и приди домой вчетвером.

А спросились?

Нет. Подросли — и они, вишь, люди уже. И они по-своему хотят.

Обычно поджидала ребят на закате. Сидела на пороге, ждала. И улыбалась, когда они, все трое, сворачивали за деревьями с большака на дорожку. Еще маленько погодя уходила в избу. И появлялась снова, когда они уже гомонили на дворе.

Что? Вернулись? Ну и ладно.

Чтоб она сидела ждала их?

Чтобы все глаза проглядела?

Еще чего!

Так и разбаловать недолго.

Так и вовсе на шее виснуть будут.

Но и они ведь видели…

Еще не свернув с большака, прижимались к деревьям и приглядывались: сидит ли она, ждет ли их на пороге.

Что же они — не видели?

Зато, бывало, сбегутся во двор и враз притихнут, навострив уши, ждут, когда она выйдет.

А тут смотрит: вчетвером идут.

Уже и в избу не стала прятаться, так и осталась на пороге, только дело какое-то нашла, картошку чистить, что ли.

Вошли все во двор, а она молчит, ждет. Что тут скажешь?

Молчат и они, трое, подталкивая вперед ободранного мальчишку.

— Мама…

Это Винцас. Голос огрубел, уже и впрямь мужчина.

— Мама… Можно ему поужинать с нами… Целый день вместе коров пасли, проголодался ведь, как и мы.

Ишь как…

Все равно молчит, чистит картошку, бросает в чугунок с водой.

— Как он коров сгоняет, ты бы только видела.

Это уж Римас. Голос тонкий, как у девочки. Ничего, погрубеет. Не все сразу. Сам-то рослый, только голосишко девчачий. Сколько ему? Мал еще. А не успеешь оглянуться — и уже басок, как у Винцаса.

— Кто таков? — спросила наконец. — Откуда? Как звать?

И была в материнском голосе насмешка, и таким скрипучим был ее голос, что ребята замолкли, ничего не могли ответить.

А ей было уже невмоготу. Хотелось вскочить с порога, отшвырнуть картошку.

Упереть бы руки в бока и закричать во все горло: «Может, его Юозукасом зовут, а? Может, взяли да прислали мне Юозукаса из неметчины? Или как? Точно такого же, какой был. Невысокого, коренастого, и нос горбинкой. Такой же, даже не подрос нисколько, чтоб узнала. Что? Не так? Отвечайте, отвечайте, когда я спрашиваю. Что?»

Но она молчала.

По-прежнему чистила картошку, с плеском роняла картофелины в чугунок с водой.

Разве дети поймут?

Разве втолкуешь им?

Больно зелены еще, мало в жизни повидали.

— Он только поест и уйдет… Ведь тебе не жалко, я знаю…

Это уж Танин голосок. Мягкий, ласковый. Ему и отказать не можешь.

— Мое, что ли… — ответила. — Тут на вас на всех. Хотите — делитесь.

Обсели чугунок и мигом управились. Будь еще столько же, все равно умяли бы. Едят сухую картошку — и вкусно им, и хорошо. Так ничего и не сказала, а ведь был еще кусочек сала припрятан — думала, сегодня пустит на сковородку. Воскресенье. Как-никак праздник, а ребятам все стадо и стадо. От зари до зари!

Но не вынула того сала.

Не изжарила.

Еще чего!

Ребята тоже ничего больше не сказали, не спросили. Поели и увели немчонка.

И слава Богу!

А только куда ж они поведут его, куда? Не в кузню ли? В кузню. Пускай. Жалко, что ли, кузни. Стоит, заброшенная, никому не нужная, никто туда не ходит. Да и чего ей-то: пусть что хотят, то и делают. Лишь бы здесь, в доме, не путался.

Через два дня опять вчетвером вернулись, все с тем же.

Смолчала.

А они уже и не спрашивали больше, каждый вечер приводили его, а после ужина все вместе провожали в кузню.

Можно ли привыкнуть к человеку?

Ведь и к собаке, и к кошке, и к жабе привыкаешь. Только одну, бывает, погладишь, другую покормишь, а третью пугнешь.

Похолодало на дворе.

Скоро в школу.

Что ж они сегодня втроем явились?

Она все поглядывала, беспокоилась, словно чего-то не хватало, а потом не выдержала, спросила:

— Ну, где же тот? Куда его подевали?

Ребята довольно переглянулись.

— Придет сейчас, придет, — отозвалась Таня. — Помогает Кинартасу коров развести.

Пришел, куда он денется.

Ужинали теперь уже в доме. Похолодало на дворе-то.

Сидят на лавке, подпирают стену, все усталые, разомлевшие от горячего.

— Мама… Можно ему с нами спать сегодня? — тихо спросил Винцас. — Места хватит…

Она испуганно смотрела на них.

Уже и ночевать пусти? Уже и насовсем прими в дом?

— Да нет, не дома… На сеновале, там сено есть. Я ему пиджак дам укрыться. — Это Римас подхватил своим девчоночьим голосом.

Она все еще не могла опомниться.

— Мам… а? Мама…

Шальная девчонка, хоть бы уж ты молчала. Где там!

— Кладите.

Только и сказала.

Повели.

Уложили.

Потом сами легли.

А ей было не до сна.

Накинув платок, она вышла на двор. Небо, синее-синее, было унизано мерцающими светлячками. Но на дворе было холодно, и небо было тоже холодное, и звезды мигали, как холодные рождественские огни. Никакого тепла. Только свет. Далекий, недоступный.

Она долго глядела в небо, потом зажгла фонарь и тихонько пошла на сеновал.

И здесь холод.

Хорошо овце при шерсти. Как в шубе.

Вошла, осмотрела все. И сколько сена, достанет ли на зиму. И сколько хворосту припасено, и дров сколько, хватит ли.

А немчонок разве на сене? И не на сене даже. Спит на земле, подложив охапку соломы, к овце прижался. Спит. Обнял скотину, будто родную мать. Будто мать родную.

— Вставай, — сказала она, тряхнув мальчишку за плечо. — Вставай.

Он моргал спросонок от света фонаря.

— Вставать? Уже утро?

— Вставай. Пойдем.

Он встал, с опаской поглядел на женщину, на фонарь и кромешную тьму вокруг.

— Идем.

Привела домой, посадила за стол. И фонарь на стол поставила. Села сама напротив и заглянула ему в глаза.

Глядела ему в глаза и думала про себя, молча: «Будь ты уже взрослым, большим мужчиной, без рубца ли, с рубцом ли на правой щеке, какую бы ты бумагу написал? Можешь мне ответить? Какую?»

«Сказат ей ошен некарашо убираль квартир».

«Ошен», да?

Она молча глядела в глаза мальчонки и спрашивала у самой себя: «Будь ты взрослым мужчиной, в зеленой форме и с железным немецким автоматом, куда бы ты приставил приклад, стреляя в мальчика, которого я вскормила своей грудью, и в моего Юозукаса, бегущего через дорогу? Куда? К груди? К животу? К сердцу?»

Тот ведь сидел тогда и спокойно щелкал семечки.

Она огляделась.

О, будь у нее под рукой подсолнух, она дала бы его этому ребенку, этому еще не выросшему мужчине. Хотела посмотреть, как он лущит семечки.

После тот бросился в огород и с хрустом жрал огурец.

Огурец!

Она увидела на окне небольшой вялый огурчик.

Вскочила, подала ему.

— На, ешь…

Не сводя с женщины глаз, он откусил; вялый зеленый плод захрустел в его маленьких челюстях.

А он не вскочит, как тот, не ринется в огород искать еще? Еще огурцов?!

Она смотрела ему в глаза, смотрела на его исхудалое личико. Поняла, что скоро, очень скоро будет снова сидеть во дворе и ждать, когда ребята воротятся из школы, и ждать уже не троих, а четверых. И она молча спрашивала сама себя: «Кем бы ты был, если б стал взрослым мужчиной?»

Она смотрела ему прямо в глаза, и мальчонка вскрикнул:

— Мама, мама… Мне страшно…

— Иди… Иди ложись с детьми… — сказала она, отводя взгляд, и склонилась над столом.

Но все еще видела, как стоит она за дорогой, с воздетыми к небу руками, измазанными землей и кровью, и клянет мир.

Сейчас она была одна здесь. Только закопченный фонарь на столе да холодное синее звездное небо за окном.

Она была одна. И вдруг прорвалось молитвой:

— Господи! Боже мой… Усталая, ой устала…

### Глава десятая

— Нет, — ответила она. —

Много земли человеку надо.

Если стоишь у гроба, хоть он и не тебе уготован, разве не приходит в голову поразмыслить и над собственной жизнью?

Разве не хочется спросить себя, почему ты жив, и спросить человека, почему он мертв?

Если видишь оружие, винтовку, разве не думаешь: зачем? для чего?

А если стоишь у пяти гробов?

У пяти сразу.

И если чуешь потом серый маслянистый запах длинной винтовки?

В своем доме, в руках у своего ребенка.

Не часто ли они рядом?

Оружие и гроб.

Гроб и оружие.

Не слишком ли часто они теперь друг возле друга?..

Ведь и война прошла. Слава Богу, кончилась.

Чего ж еще?

Что еще надо?

Уже вроде и поутихло все. Того, четвертого, Вальтера, окрестила. Разыскала старого ксендза-алтариста, жив еще, хоть и еле таскает ноги, но все равно к другому не хотела. Отыскала и упросила:

— Лучше вы, отец, окрестите. У вас рука легкая. Своя.

Виктором нарекли.

Нет, не так уж важно было в католики его обратить. Нет. Эка важность! Все равно един Бог в целом мире, как ни назови его, как ни славь. Нет, не так уж важно было в католики, как имя сменить.

Вальтер?

Кто знает, кто сказать может, кого еще Вальтером звали?

Кто?

Кого?

Красивое имя Виктор. И звучное, и…

А проще того — Виктукас.

— Виктук! Виктук!

Обернется, шмыгнет своим вздернутым носом. Доволен.

Так и знала ведь: четверых теперь провожала утром, прикрыв ладонью глаза от раннего солнца, а после школы ждала всех четверых к обеду.

Верно говорил солдат, и песни новые появились. Грустные и веселые.

И выборы были. Проголосовали за кого положено.

А не так давно мать приходила.

Состарилась.

Она смотрела на лицо матери, на ее трясущиеся руки и видела, как бежит время, видела, что и сама уже не молодеет. Только все плывет, плывет, как в лодке. Кажется, и лодка утлая, и весла малые, а берега лишь знай мелькают, знай мелькают, и все мимо, мимо.

— Слышь, дочка, — сказала мать. — Может, домой вернешься. Землю снова дали. Зовет отец. И ребят растить, говорит, поможем. А ведь сколько их! Четверо? Меня обогнала. Будь ты дома, и у меня бы четверо было. Может, вернешься, дочка? Теперь и места вдоволь. Усадьба Бернотасов нам досталась. Так и вовсе рай… Развалюха-то наша, сама знаешь, совсем в землю ушла, только солома и торчит. Бернотасов нету, в Германию подались. Теперь уж точно никто больше землю не отнимет. Так, может, воротилась бы домой, дочь?

Не вернется она. Куда уж ей?

Слава Богу, им там хорошо, и у нее от этого на душе легче.

Пускай себе живут, пускай радуются. Может, хоть раз как люди.

Землю больше не отнимут.

Некому отнимать.

Как отнимешь ее теперь?

Если Бернотасов больше нет.

Ой ли?

А надо так, чтоб их не было?

— Тебе видней, дочка. Как знаешь… Если тебе так лучше, то, думаешь, матери иначе? Все не так душа болит. А мало ли наболело за столько лет… Столько лет! Смотри сама, дочка, тебе видней.

А недели две спустя прибежала девчонка Ятаутасов — Маричюке. Запыхалась, сама не своя, слова никак не вымолвит. А потом будто прорвало ее:

— Идемте, тетя. Скорей. Всех убили, никого в живых не осталось. Идемте, тетя! Вчера ночью. А сегодня утром зашел кто-то, видит — лежат все в ряд на полу, друг за другом.

Достала черный платок, хотела только Винцаса с собою взять, остальных, меньших, дома оставить. Но дошла до большака, до самых деревьев, и вернулась.

Разве скроешь от них, хоть они и меньшие.

Жизнь скроешь?

Кривду утаишь?

Горя не выкажешь?

Вот и стоят они все вместе возле пяти открытых гробов. Возле отца и матери. Возле сестры и братьев.

Отца давно не видела, а сразу узнала: рот по горло землей набит, и лицо серое, землистое.

Всю жизнь земли хотел.

Шли за теми пятью гробами до кладбища ближнего села с ксендзом и крестом и с красным флагом впереди. Ксендз отпевал покойников, а люди бросали в глубокую, большую яму горсти той самой земли. И речи говорил кто-то, и к мести призывал. А люди стояли молча, опустив головы, и черные как земля.

Обезлюдела усадьба, мертвая, с раскрытыми настежь дверьми и распахнутыми воротами.

Опустела усадьба Бернотасов, где стояла она когда-то у калитки, прижавшись горячим лбом к прохладной глиняной крынке, где в субботу, после бани, уминали бабку, запивая молоком, сметаной и чем-либо покрепче, а во дворе надсаживался пес, и гуси, целое стадо, гоготали, почуяв чужого.

Опустело последнее пристанище родителей, их рай, последний дом их с раскрытыми настежь дверьми и распахнутыми воротами, куда она пришла с четырьмя детьми, чтобы отдать последний долг, посмотреть на всех пятерых, убитых ночью, исподтишка, увидеть отцовы зубы, затупившиеся от земли.

Оружие и гроб.

Они всегда рядом.

Всегда ли рядом?

Смотря в чьих руках оружие.

Смотря над кем заколачивают гроб.

Оружие и гроб.

Не слишком ли часто они теперь друг возле друга?

Ведь и война прошла. Слава Богу, кончилась.

Чего ж еще?

Что еще надо?

— Не пущу! Не пущу в дом! — вся дрожа, кричала она, встав на пороге и раскинув руки, чтобы он не вошел. — Не пущу! Не пущу в дом! Уноси, откуда принес! Не пущу!

— Мама… — тихо упрашивал Винцас.

Но она все равно не пускала.

Стояла на пороге, вся дрожа и раскинув руки.

— Мама…

Голос был уже совсем мужской, и она боялась, что может уступить.

— Не пушу! Не пущу в дом!

Раньше она думала: «Оружие и гроб».

Уже тогда знала, что может быть и по-другому: «Гроб и оружие».

Но она не могла… Сама? Своими руками благословить дитя на смерть?

— Не пущу! — кричала, заслонив руками дверь. — Брось это… брось… Брось ружье, говорю!

Винцас поставил винтовку за угол и сел на лавочке под окном. Знал ведь, что так будет. И во двор пробрался, как вор, пряча за спиной, обеими руками придерживая винтовку. Но мать сразу почуяла, уловила серый маслянистый запах оружия.

— Не пущу…

Потом села рядом с ним под окошком, одной рукой обняла сына за плечи, а другой подняла его подбородок и прошептала тихонько, словно боясь, что кто-нибудь услышит:

— Винцук… Винцялис… Это ведь не твое, это мужское дело. Тебе и шестнадцати еще нет…

— Я сказал, что уже семнадцать. Поверили.

— Винцук… Винцялис… Ты ведь самый старший. Неужто одну меня оставишь?

— Никуда я не денусь. И не оставлю тебя. Это не в армию, дома буду. Так только… Все равно на работу скоро. — Потом добавил: — И заработок будет. Довольно тебе по чужим огородам спину гнуть… Не намаялась еще?

— Винцук… Винцялис… Тебе учиться надо. И так сколько лет за войну пропало. Хватает нам всего, не буду я больше чужие огороды полоть, да и ни к чему уже, своим обходимся.

— Все равно, не могу, мама. Раз уж взял винтовку, не отдам.

Она вскочила, заслонила оружие спиной, боясь прикоснуться к нему руками, и снова закричала:

— Не дам! В колодец брошу! Не пущу тебя! Никуда!

— Нельзя так, мама, нельзя ведь.

Посмотрел на ее лицо, мокрое от слез, и опустил голову.

— Винцук… Винцялис… — снова заговорила она. — Сам ведь знаешь, как берегла тебя… Ведь от верной смерти ушли, из самого ада вырвались. Война-то кончилась, какая уж там стрельба теперь. Другие, мужчины, справятся… Из такого ада выбрались, а сейчас, когда бояться больше нечего, убьют тебя в лесу или в канаве! Убьют тебя, защитника!

— Не надо. Не надо, мама… Я все отца твоего помню. Не сердись, если скажу… Хорошо ему было землю грызть, пока зубы не посерели, пока все лицо не стало серым? Не сердись, что сказал, но и ты мне ответь…

— Винцук… Винцялис мой…

Поникнув, сидела на лавочке, под окном, теперь уже одна, смотрела куда-то вдаль, на большак, за деревья, может быть, туда, где земля сливается с небом, темная, почерневшая земля, голубое, светлое небо.

Кто поймет материнское сердце?

Вырви, покажи его — все равно не увидят, не поймут.

Теперь дважды провожать, дважды встречать придется. Ребят троих — в школу, его, защитника, — с винтовкой. С оружием, от которого разит серым маслом.

Тех-то троих с легким сердцем встречать будет. Всегда вовремя вернутся из школы.

Одного его, защитника, дождешься ли?

Когда?

Ненастной ночью?

Морозным утром?

А если вместо него другие придут, как Маричюке Ятаутасов?

Гроб и оружие?

Они всегда вместе.

### Глава одиннадцатая

— Нет, — ответила она, —

не пущу!

Гроб и оружие.

Возвращался Винцукас грязный, заросший, измученный.

Она уже не пряталась в избу, завидев, что он шагает по дорожке, усталый, сгорбленный. Пусть смотрит, если охота. А может, и не замечает уже от усталости? Будто ей не все равно. Будто она про это думает.

Пусть только возвращается.

Пусть всегда возвращается.

Беда, что грязный? Теплая вода в котле на печке.

Беда, что заросший? Побреется. Она бы и сама побрила, да не позволит он.

Усталый? Ничего, лишь бы дали отоспаться вволю, и ладно.

Пусть только возвращается. Пусть всегда возвращается.

И что бы ни было — ясный день на дворе или кромешная тьма вокруг, она укладывала его и тут же затворяла все ставни, запирала дверь на засов. Окраина. Не дай Бог… Если придут, если во сне застигнут. Прямо из постели… Сохрани Господь.

Детей, всех троих, загоняла на другую половину избы. Чтобы не шумели, дали наконец отдохнуть человеку. Будто мало ему, когда из дома уходит. Смотрела на него, спящего, и на винтовку, прислоненную в головах. Как же так? По плечу ли молодому тяжкая ноша? Ребенок ведь…

И однажды под вечер, затворяя ставни, увидела, что к дому подходит человек. Еще с большака огляделся, свернул на дорожку. Незнакомый человек в серой кепке, в синем пиджаке.

Она загородила собою дверь и ждала.

Человек вошел во двор, снял кепку, а она все еще смотрела, прищурившись, не могла понять: было в его походке что-то знакомое.

— Добрый вечер, — сказал он, глядя ей в лицо. — Не захлопнешь дверь перед прохожим?

Она даже вздрогнула.

И голос знакомый. Голос? Увидела знакомые серые глаза. Винцас? Винцас Ятаутас?!

— Смотри-ка… Узнала… Хоть и облысел, а все равно узнала…

Он мял в руках серую кепку.

Потом беспокойно огляделся, точно боясь кого-то.

— В избу-то впустишь? — спросил он. — Не хотелось бы на дворе… Я ненадолго.

Она попятилась, и он вошел в дом.

— Значит, здесь и живешь, — сказал, то ли спрашивая, то ли сам себе отвечая.

— Здесь… С детьми…

— Знаю… Говорили мне дома.

Сели за стол. Он — по одну сторону, она — по другую.

— Темно, — сказала она. — Хоть ставни открою.

Выбежала, открыла. Стало светлей в комнате. Гораздо светлее.

Увидела, какой он грязный, заросший, может, и голодный.

— Воды нагрею. Умоешься, — сказала она.

— Нет, нет! Не надо, я на минутку только.

Она все-таки пошла в кухню, поставила греть котел и присела у печи, глядя на потрескивающие сучья. Огонь, багровый, хватал ветку за веткой, в красном пламени сперва еще виднелось коричневое дерево — то чернея, то вспыхивая ало, прежде чем подернуться серым пеплом.

В этом багровом огне, в этом пламени ей хотелось увидеть себя, как в зеркале. Но видела не себя, а только обугленные сучья да потрескивающие еловые поленья.

Хотелось хоть одним глазком поглядеть на свое лицо, много ли уже морщин, совсем ли выцвели синие глаза. Осталось ли хоть немного румянца на щеках. Хоть сколько-нибудь.

Встала, поправила косу. Приколола ее покрепче. Обжигая руки, налила горячую воду в таз, который всегда подавала Винцукасу. Еще холодной плеснула. Попробовала на ощупь — годится ли. Принесла в комнату, поставила на табуретку. А он — где оставила его, там и сидел. Как опустился на скамью, так и с места не двинулся. Как уронил руки на стол, так и лежали.

Она тихо прошла на другую половину избы, где спал ее старший, нашла бритву, мыло, осколок зеркала. И кожаный ремень — направить бритву.

— Побрейся, умойся, — сказала.

Облокотилась на стол и смотрела, как он точит бритву, как намыливает щеки, бреет щетину, отирая ее о клочок газеты, как скоблит подбородок, вот уже и ямка выступила.

— Да, не думала… — сказала она. — Не думала, что свидимся.

— И я не думал… А вот видишь…

И, немного погодя, добавил:

— Зря это я прихорашиваюсь. Не засидеться бы. Ты… не боишься, что зашел? В лесу я теперь, может, и сама догадалась…

Он отвернулся.

— Вижу, что-то не так. Грязный весь и все по сторонам озираешься.

Умывшись, он сел на прежнее место, опять несмело сложил руки на столе. Оба молчали. Легко ли говорить, когда вот так встретишься?

— Дети где? — спросил.

— Младшие носятся где-то. Как весна, так они и по лужам. А старший спит. Умаялся на работе, отдыхает.

Она вспомнила вдруг, что и в самом деле на другой половине спит ее старший, вдруг проснется, войдет и увидит, как они сидят здесь оба. Что будет? Как-то встретятся они, два Винцаса, тот, что здесь за столом, из леса, и тот, старший ее, с винтовкой, Винцас, сын Винцаса?

— Спит… — сказала она. — Он нескоро встанет.

— Конечно, — ответил он. — Поспишь… Как не отоспаться после такой работы. Большой уже, а?

— Большой.

— Видишь… Мог бы и у нас такой быть. Большой бы вырос уже.

Она не ответила.

И снова сидели они друг против друга, смотрели и думали о чем-то, каждый свое.

Потом она спохватилась, что не накормила гостя.

Принесла хлеба, шматок сала, нарезала.

— Хорошо, что дети не дома… — сказал он. — А ты прости, что зашел, помешал вам. Хотелось зайти. Повидаться. Хоть разок. Ты не сердись.

Она поставила перед ним тарелку:

— Ешь.

Он взял кусок хлеба, посмотрел ей в глаза, криво усмехнулся:

— Такое время, а?

Она смотрела, как он ест, и ждала, уже давно ждала, когда он заговорит…

— Сказка моя короткая, — сказал он. — Ездил, скитался по белу свету. Потом воевал. Был в плену, в концлагере сидел. Война закончилась, я и махнул домой. Видишь, вернулся все-таки. Тут и давай меня таскать. Раз вызвали — явился. Второй — опять явился. А как третий раз вызвали — не пошел больше. В лес подался, места себе искать. Ну что? Не короткая сказка?

Она смотрела на человека, такого дорогого когда-то, такого же данного, давным-давно потерянного и вдруг объявившегося.

Неправда!

Не может быть такого.

Самая злая несправедливость!

— Не иди к ним… Не надо… — сказала она убежденно. — Оставайся… если хочешь… Не ходи в лес…

Серые глаза блеснули и потухли.

— Не могу. Найдут. Всю войну прошел, весь плен. А тут — свои. На родной земле. Дома. Придут и убьют. Не могу.

Она встала из-за стола.

Пойти, что ли, на другую половину, разбудить Винцукаса?

А может, и в самом деле разбудить Винцукаса?

— Не ходи никуда, — попросил он. — Ни к чему это… Я сам уйду.

— Не надо… Не надо тебе в лес.

— Сам взвалил этот крест, самому и нести теперь.

Нахлобучил на голову серую кепку, застегнул свой синий пиджак.

На другой половине избы что-то стукнуло.

— Не твой ли? — спросил и заторопился. — Задержи, чтоб не увидел.

И опять она испугалась, как вначале, когда вспомнила, что Винцукас спит на другой половине. Сама открыла ему дверь, вышла во двор с оглядкой и, удерживая слезы, всем сердцем пожелала ему доброго пути, хотя не промолвила ни слова, только провела рукой по синему пиджаку.

— Мама, кто это приходил?

— Кто? — испуганно обернулась к Винцасу.

— Да вон, на большак сворачивает.

— Это так… — ответила она. — Прохожий… Напиться зашел.

Вечер.

Уже и ребята разгалделись:

— Мама!

— Мам!

У них свой разговор: дай поесть, значит.

Захлопотала.

Большое хозяйство дом, когда четверо детей на тебе. Надо бы овцу продать. Что с нее? Шерсти несколько горстей. Надо овцу продать да купить козу, что ли. Все стакан-другой молока, хотя бы младшие по очереди пили, да и Винцукасу тоже не помешало б. У козы молоко густое, жирное, хоть и немного его. Только разве выберешься на базар, если все время ждать надо. Жди и жди. Вернется или не вернется?

— Мама…

— Что? — вздрогнула она.

— Мне пора.

— Снова?

Снова.

Беда, что грязный вернется?

Беда, что заросший?

Может, плакать, если голодный придет?

Пусть только возвращается. Пусть всегда возвращается.

Пусть сам возвращается. Ей гонцов не нужно. Хватит с нее Маричюке.

Гонцы, еще чего придумала…

Гонцы?

Вот они, тут как тут. Уже близко. Только не пешком и не один.

Двое сидят на повозке, свесив ноги, к дому катят. С большака уже свернули, по дорожке едут, лошадь кнутом нахлестывают.

Прямо к дому, вот-вот на нее наедут.

— Где?! — кричит она. — Где он? Где оставили?!

— Жив… Живой ведь… — говорят они, опустив головы.

— Живой?! Где же он? Где?

— Садитесь… Подвезем… В больнице.

И гонят теперь уже втроем.

По дорожке.

По большаку.

В больницу.

На нее натягивают халат, но она выскальзывает из белых рукавов и бежит; вбегает и видит его наконец. Видит среди марли пол-лица. Глаза, нос, губы, застывшие руки. Она берет их в ладони и дышит, дышит, чтобы согреть.

— Ничего… — говорит он. — Все равно я вернулся… Почти вернулся… Правда?

Улыбается он или ей только кажется?

— Молчи, молчи! — говорит она.

Но он не хочет. А может, и не может молчать.

Теперь он наверняка не улыбается. Просит ее, говорит ей.

Она наклоняется, чтобы лучше слышать.

— Ма… — говорит он. — Сходи на площадь. На базарную площадь, ты знаешь… Там они все… лежат… Посмотри, есть ли там один, в синем пиджаке. Как на том прохожем, что напиться заходил. Помнишь? Может, нет его там, посмотри… Он лежал за деревом с пулеметом в руках. Наши ползли по голой поляне… Он мог всех перебить. Я видел… Тут кто-то крикнул: «Винцас!» Он припал к дереву, и я выстрелил… Потом ничего не помню. Ты сходишь? Мам… Посмотришь?

Сходит ли на базарную площадь?

Сходит ли она посмотреть?

Их, убитых, всегда укладывали на базарной площади.

Сходит ли она посмотреть?

Дети не знают… Он, Винцукас, тоже…

Каждый раз, когда их укладывали на базарной площади, она приходила, надвинув платок на лоб, приходила заглянуть им в лицо. И помолиться. Она все время искала. Искала, не найдет ли Антанаса Бернотаса. Если бы нашла его, больше не ходила бы на базарную площадь. Никогда.

А теперь Винцукас просит, и она должна пойти искать человека в синем пиджаке.

Как на том прохожем?

Что напиться заходил?

Мало ли одинаковых пиджаков на свете. И коричневых, и черных, и синих.

Но она бежала на площадь и все больше спешила.

Мало ли на свете одинаковых пиджаков.

Мало ли схожих красок на свете.

В этот раз их было много. Лежали в несколько рядов. И синий пиджак разглядела сразу. Уже не стала, как обычно, рассматривать других. Подбежала, нагнулась над синим пиджаком и увидела серые глаза, которые так никто и не закрыл. Серые глаза смотрели на нее с холодным стеклянным блеском.

Ведь так много на свете красок!

Почему так мало красок на свете?

«Ты сходишь? Мам… Посмотришь?»

Ха-ха!

Смейтесь, смейтесь вместе с нею! Ее ребенок? Своими руками? Этого путника, который хотел воды напиться.

Смейтесь!

Теперь ей надо в больницу.

«Ты сходишь? Мам… Посмотришь?»

Нужно.

Всегда нужно.

И теперь было нужно.

Ее ждало забинтованное марлей лицо Винцукаса, который направил ее, который просил, и нужно было пойти и сказать ему. Нельзя отказывать человеку, да еще своему ребенку, если он просит.

Она вернулась в больницу, дала надеть на себя халат. Совала руки в белые рукава и все никак не могла попасть. Потом прошла по коридорчику, остановилась возле двери. Вот и ручку нажала, вошла. Он смотрел на нее половиной лица с прикрытыми глазами, побелевшим носом, плотно сжатым ртом.

Даже слов не требовал. Она сразу поняла его. Всей половиной лица смотрел в глаза ей и хотел сам угадать без ошибки.

Она поняла это сразу.

И улыбнулась. Еле-еле.

Снова принялась греть его руки, взяла их в ладони и дышала, дышала своим теплом.

Потом нагнулась к нему, чтобы лучше слышал. Покачала головой:

— Нет… Серых, зеленых — сколько хочешь. Синего нет. Нету синего.

— Спасибо… ма…

Улыбнулся он или ей только показалось?

Теперь она могла выпрямиться.

Выпрямилась, посмотрела в окно и вздрогнула.

Там цвела сирень. Красная, буйная, как самой лучшей весной.

Она зажмурилась.

Не могла понять, почему этой весной сирень цветет такая красная?

Потому что твой ребенок?

Сам, своими руками?

Винцаса — Винцас, сын Винцаса?

### Глава двенадцатая

— Нет, — ответила она. —

Он уже не первый.

Времени теперь было вдоволь. Ну, разве что в город, в больницу сбегать. Долго ли… Времени было вдоволь.

Продала овцу. Выбралась на базар с детьми. Они еще прижимались, гладили курчавую шерсть. Жалко. Еще бы не жалко. Привыкает человек и к собаке, и к кошке, и к жабе пучеглазой.

Все-таки продали, и, кажется, неплохому человеку. Не зарежет, видно, присматривать будет. Все про шерсть справлялся: хороша ли?

Вот и купили козу. Наконец…

Тут уж свои радости пошли.

Римукас помогал матери тянуть за веревку.

Виктукас шел, держа за рога.

А Таня то летала вокруг, то обгоняла их и скакала задом наперед, как через веревочку, хлопая в ладоши.

Теперь и молоко будет.

Молоко!

Детям, может, по полстакана.

Винцукасу — полный.

Ему поправляться надо, быстрее на ноги вставать. Козье молоко густое, жирное.

И впрямь, молодец козочка. Два с половиной стакана как отмерила. Но зато какое! Сколько жира в нем! Густое, как сметана. Только глянешь на него — слюнки текут.

Времени теперь было вдоволь.

А сколько еще будет!

Вот выйдет Винцукас из больницы, может, и винтовку сдаст. Сможет она тогда с детьми сидеть и книжки читать. А то ведь если не посидишь с ними, не присмотришь, так один — стишок не выучит, другой — домашнее задание не приготовит. Веселее им, что ли, когда вместе с ней садятся за большой стол? Теперь уже, конечно, за детьми не поспевает. Вон как далеко ушли! А раньше, когда только-только грамоте учились, и она, бывало, какую-нибудь букву схватит.

Хочешь не хочешь, а пора подумать, кем будет каждый, кем вырастет. Время-то как берега речные. Кажется, и не торопко гребешь, а берега только знай мелькают, знай мелькают. А потом…

Потом разлетятся, поди. Кто куда. Кто куда…

Придет пора, и разлетятся. А что? Твое солнце — на закат, а у них — только подымается, восходит только. Придет пора — пускай летят. Лишь бы не раньше времени.

Это птица толкает, выбрасывает детенышей из гнезда. Человек — нет. И руками и крыльями заслоняет гнездо, не хочет, чтобы улетели его птенцы. Но заслоняй не заслоняй. Пора настанет — сами разлетятся. Не убережешь. Ладно.

Лишь бы не раньше времени. Так ей хочется. Очень хочется, чтобы так было. Только не подвластны тебе ни люди, ни жизнь. Вот стоит она, простоволосая. Стоит и платочком машет. Того, что козу на веревке тянул, проводила.

Вернулись Римантас и Бируте из далекого края. Вернулись — и прямо к ней. А как же иначе? Столько лет. Разве выдержит материнское или отцовское сердце… Раньше письма читала нехотя, все Винцукасу жаловалась. Но вернулись, и принимай гостей. Приняла. Только ребенок смотрит, будто зверек испуганный: силится понять, да невдомек ему, что тут происходит, как обернется все. Много слов было. Слез много. Радостных. Уж как хотелось и ей слезу смахнуть. Ой, хотелось! Да нехорошо небось. Что ни говори… Чужая она, верно? А они — родители. Кровные.

В гости приглашали. Тут же, в городе, осели. Она зайдет, а то как же…

Ну, вроде бы и провожать пора. Только все никак не встанет из-за стола, то одним, то другим гостей потчует. Трудно встать. И не диво. Видать, возраст, годы долгие гнетут, не дают подняться.

Все уже на дворе. Уходят. А она опять в избу вернулась и снова вышла, будто забыла что-то.

Потом обняла Бируте, сказала на ухо:

— Мед он любит… У нас-то редко приходилось.

Они уже шли со двора.

— Винцукаса не забудешь навестить? Ну, то-то! Знаю… Это я просто так, — шепнула Римукасу, в последний раз прижимая его к груди.

Вот стоит она, простоволосая. Стоит и платочком машет.

Может, радоваться надо? Ведь теперь на двоих младших лишних полстакана молока будет. Все на несколько глотков больше, верно? Полезное оно, жирное.

А еще? Чем бы еще себя порадовать? Неужто нечем…

Птица сама детенышей из гнезда выбрасывает, а человечьи птенцы и без того разлетаются, разбегаются, как ни заслоняй гнезда крыльями. Не убережешь.

Лишь бы не раньше времени, а?

А кто это время отмерит, кто верный срок укажет?

Вот и снова…

### Глава тринадцатая

— Нет, — ответила она, —

мне не было страшно.

Поздний вечер. Стемнело.

Прибежали Виктукас и Таня. Торопились, знали — влетит, что поздно домой вернулись.

— Мама… Знаешь, где Винцу кас?

Где ему быть? Пошел гулять с приятелями.

— На вечеринке!

Ну и что. Пускай посидит с молодежью парень.

— Мама… Не сидит он. Танцует. С такой кудрявой, длинноволосой…

Что ж. Все бывает… Может, и потанцевать время пришло, ведь не мальчик уже.

— Ма… А они, знаешь, что?

Она молча ждет.

— Дай на ушко скажем…

Наклоняется к детям, а сердце уже так и тукает.

— Целовались…

— На дворе…

— За кустами…

— Целовались…

Она выпрямляется и кричит на детей. Кричит, как будто это они, выйдя во двор, укрылись за кустами и…

— Хорошо это? Красиво? За старшим братом, как хвост, таскаетесь…

Кричит на детей, а сердце — тук-тук.

Она не поджидает Винцаса. Разве дождешься, когда он вернется? Детей спать погнала и сама ложится. Устала, умаялась за день, поспать бы. Но веки не смыкаются, не закрываются. Полный месяц так и льется в окно, а она лежит, смотрит вверх и считает потолочины. Одна, две, три… восемь, девять, десять… Побурели доски. Вон паутина блестит, надо будет смахнуть завтра. Одна, две, три… Римукаса увели… шесть, семь… теперь на Винцаса кто-то зарится. Лапы тянет… десять, одиннадцать, двенадцать. Кажется, дом в чистоте содержит, и откуда здесь паутине взяться? Встала бы сейчас, смахнула, да так славно лежать. Век бы не вставала.

Одна, две, три…

Скрип двери. Осторожные шаги. Боится разбудить. Воротился. Уже поздно, а может, рано. Месяц отошел. Паутина не блестит уже, но потолочины хорошо видны. Восемь, девять… Могла бы встать, подсесть к нему на край кровати и спросить. Да что тут спросишь. Уже мужчина, надо полагать. С ружьем ходил, кровь проливал. А может, сам придет… придет, когда понадобится. Одиннадцать, двенадцать. Побурел потолок. А с чего бы? Вроде и дыму не напускает.

Давно затихли младшие.

Молчит Винцас.

И она ни слова. Многое хотела бы узнать — кто, да как, да почему. Но молчит.

— Здорово, кума! — еще с дорожки кричит человек, поднимая руку.

А-а… Знакомый. Старый знакомый, еще с войны. Бывшего хозяина, того учителя очкастого, двоюродный брат, Лапкаускас.

— Дай, думаю, зайду проведаю, — говорит он, шагая по двору, и руку тянет.

— Немытые у меня… — говорит она и трет ладони о передник.

И молчит.

Как-то раз повстречалась с ним, не так давно. Лапкаускас ныне в город перебрался. Дом построил и живет себе. Работа у него приличная, на лесопилке. Чего ж еще? Землю сдал. Сколько там ее было-то — семнадцать гектаров. И свою сдал, и двоюродного брата. Раз для народа — не жалко. Сразу после войны, еще и разделов никаких не было, пришел в волость и заявил — берите. Хватит с него навоз месить. Пускай другие ковыряются, кому охота. И двоюродный брат, будь он жив, не стал бы спорить. Настоящий советский человек был, царство ему небесное, немца живьем сжег и сам от немецкой пули погиб. Вот и он, Лапкаускас, пока шла война, соединил хозяйства, свое и двоюродного брата. Не бросишь ведь на Божью волю. Дом, скотина, деревья. А теперь не нужно. Слава Богу, отмаялся. Жалко, нет больше Катерины. А то бы рассказала, как они с двоюродным братом укрывали семью советского офицера, не допустили угнать в Германию, как пленного содержали, точно родного, и все такое прочее.

Да что он ей рассказывает. Будто сама не знает? Разве не ее с двумя детьми приютили, когда податься было некуда? Хвастаться здесь нечем, конечно, он и не хвастает. Просто к слову сказать… Не знал он, что ли, какого мальчонку в пастухи берет. Что ли, в кузнице не бывал до войны. Ведь вылитый отец с лица, не ошибешься.

Да. Как-то раз она уже повстречала Лапкаускаса.

Но чего он сегодня заявился — не понять.

Может, опять что-нибудь не так?

Может, в свидетели звать? Непохоже. Веселый из себя.

— Ну, как живете-можете? — спрашивает.

— Спасибо…

Полагалось бы в дом пригласить, как-никак гость…

— А мы и тут посидим, потолкуем, да пойду я, — говорит он, видно поняв ее.

Сели на лавочке под окном.

— Где же Винцас? Где зять-то? — И сам смеется, еще веселее смотрит.

А ей все невдомек — в шутку он, смехом или по правде.

— На работе. В исполкоме.

— Гляди-ка, в большие начальники выбился. А?

— Какой он там начальник…

— Ну-ну! Думаешь, завидую? На здоровье, пускай. Ведь Бог даст, и породнимся вскоре. Лаймуте наша все уши мне прожужжала: «Винцас, Винцас!»

Вот как… Вот оно что… Наконец-то уразумела.

— А что, кума? Чем плоха родня? Мы его от оккупантов, можно сказать, уберегли, немца живьем сожгли. Он за нас после войны сражался, кровь проливал. Разве не герой? Ведь прямо в лоб угодила пуля, а, слава Богу, все равно поднялся. Для кого ж, как не для них, и советская власть?

Сидит она, смотрит на гостя и думает: до чего же верно все, до чего правильно говорит, как по писаному шпарит.

Вот и «кум» уже объявился. Чем не кум? Можно обняться, поцеловаться.

— Всяк по-своему хорош, — говорит она. — Да нам-то что… Оставим это им, детям. Как сами порешат, так и будет.

— Ну да, ну да! — на лету схватывает Лапкаускас. — Вот и потолковали. Пойду, пожалуй, а то дел по горло. Веранду пристраиваю, большую, стеклянную.

Он вроде бы встает. Только как-то нерешительно — видно, вертится на языке еще что-то.

— А что, кума… Не важно, конечно, не это важно! А все же, как он, крещеный, нет ли?

— Крещеный, — отвечает она. — А что?

— Да нет, ничего! Какая нам разница. Просто взбрело на ум, вот я и…

Теперь уж действительно встал, сует руку прощаться.

— Вот, заговорились… Так и не вымыла, что ты будешь делать, — говорит она и опять вытирает руки о передник.

И опять молчит.

Из избы выглядывают дети, она зовет их:

— Подите-ка сюда, подите…

Одну голову к одному плечу прижала, другую — к другому. И хочет сказать: «Женится наш Винцас, и останемся мы одни…»

Но не говорит, потому что не об этом думает. Думает о «куме», который только что был, и о Винцукасе, который все никак не придет, не расскажет, не спросит.

Тук-тук-тук.

Винцас на дворе косу отбивает. Только что с работы, сейчас пойдет в овраг травы накосить. А сама она — в огороде. Полоть надо. На минутку только привстала, услышав, что кто-то идет. Привстала, увидела девушку с распущенными волосами и сразу поняла, кто это и к кому. Снова присела на корточки, скрылась между гряд и дальше полет. Не ее гость. К кому пришла, пусть тот и принимает.

Тук-тук-тук.

Чего он там стучит, почему не отложит косу. Не видит, что ли? Тук. Тук.

— Винцас… — слышит она.

Тук. И снова — тук.

Что же он косу не отложит? Не видит, не слышит?

— Винцас…

— Чего тебе?

— Разве не видишь, какая я…

— Не вижу.

— Посмотри… Посмотри… живот какой…

Тук-тук-тук…

А потом:

— Ну и что?

— Винцас, твой ребенок ведь…

— Откуда мне знать?

— Твой… ты знаешь…

— Не знаю. Ты… не девушка была.

Сидит она в борозде, нагнув голову, а у самой волосы дыбом. Еще коса эта. Хоть бы косу отложил. Тук. Тук. Тук. Не видит, не слышит. Чертополох застрял в ладони, колется, но она никак не может выбросить. Страшно ей, а кого боится — и сама не знает. Винцаса, «кума», эту, что пришла, или себя, сама себя.

Тук. Тук.

— Женись на мне… Отец убьет, не пожалеет.

— Не убьет.

— Винцас…

Бренчит отброшенная в сторону коса, гремит, падая на косу, молоток.

— Зря пришла.

Та, видать, молчит. То ли к нему, то ли к столбу прислонившись. Потом снова:

— Убьет. Пожалей меня…

А Винцасов бас, злой, надсадный:

— Ладно, скажи… Скажи… любишь меня? Скажи!

Она подымает голову от земли.

Та, что пришла, и впрямь прижалась щекой к столбу, молчит.

— А может, Стяпонкаса? Гимназиста того, а?

Это Винцас орет, а та отрывается от столба и пятится к дороге.

— Скажи! Любишь меня?

Та все пятится, пятится. Как бы не грохнулась. Пятится, обхватив живот, и что-то шепчет. Не слыхать, но, должно, все то же:

— Женись на мне, Винцас… Женись…

И убегает по дорожке на большак.

Тук.

Снова, падая, бренчит коса, гремит брошенный на косу молоток.

— Мама! — зовет Винцас. — Мама!

Вот когда мать понадобилась.

Поднялась от грядок, подошла.

— Что скажешь? — спросила, глядя в глаза.

— Мама… Я… видишь…

— Ладно. Молчи, — сказала она. — Сама все слышала.

— Мама… Что мне делать?

Мужчина ведь. Говорит басом, с ружьем ходил, кровь проливал. А теперь — мама. Может, мама и виновата, а?

— А ты — сам, — ответила. — Как ум и… совесть тебе велят.

Помолчали.

— Не любит она… Разве сама не видишь?

Она ничего не ответила.

Весь вечер больше не разговаривали.

Ночью, лежа с открытыми глазами, смотрела в потолок, освещенный полным месяцем. Много порыжелых досок. Одна, две, три, четыре… Хотела думать о меньших. Только о меньших. Виктукасу штаны залатать надо. И когда он только успевает. Шей не шей, весь зад как решето. Тане ленты выстирать. Эта одна теперь, как котенок. Девять, десять, одиннадцать. Паутина блестит. То ли новая, то ли так и забыла смахнуть тогда. Новая небось.

За стеной скрипел кроватью Винцас. Затихнет, и снова.

Потом сам пришел.

Приоткрыл дверь, остановился.

— Спишь?

— Нет.

Сел на край постели.

— Не сердись, мама.

— Чего мне сердиться?

— Не женюсь я на ней.

— Твое дело.

— Не женюсь. Меня в кусты тащила, а сама другого любила…

Она молчала.

Потом сказала:

— Ладно, ладно… Ступай. Спать хочется.

И снова одна.

Смотрела на рыжий потолок, на блестящую паутину. И видела себя, как сама, еще молодая, стоит на коленях перед Антанасом, обнимает его ноги.

«Женись на мне, Антанас… Женись…»

Смотрела в потолок. Одна, две, три… До двадцати.

Кололо в левом боку, в плече, и левая рука замлела, как неживая.

### Глава четырнадцатая

— Нет, — ответила она, —

это не я смотрела в глаза при фонаре.

Опять?

Вот и опять…

Стоит она простоволосая. Стоит и платочком машет.

Пришла девушка, такая молодая, красивая. Виктукаса до границы проводит. А там уже мать дожидается. Родная.

Конечно, разве родная мать выдержит?

Говорят, письма писала — сотни писем, тысячи писем, — и письма эти мокрыми от слез были. Помогите, люди, помогите ей сына разыскать. И до их города те бумаги дошли, и вызвали ее, спросили:

— Виктор — сын тебе? Или нет?

— Сын…

— Сын-то сын… Но может, и сын, да не твой?

— Вроде так.

Ну, еще говорили, еще расспрашивали. Даже рассказывать надоело.

И вот увели.

Молодая, красивая такая девушка до границы проводит, в руки матери передаст.

Еще хорошо, что к Винцукасу успел сходить, повидаться.

— На, Виктук… — сказала, подавая краюху хлеба и ломоть сала. — Чтобы хлеб у тебя всегда был…

Как приедешь, так сразу и скажи: черный хлеб — всего лучше. Хотя, скажи, и это не всегда было.

Вот стоит она и платочком машет.

Кто теперь придет, кто скажет:

«Мама… Знаешь, где Винцукас?»

А она:

«Хорошо это? За старшим братом как хвост таскаетесь».

Или в тот вечер…

Никогда не забудет того вечера.

Уже спали все. Только он не ложился. Подвел ее за руку, посадил за стол. Свет погасил, зажег фонарь, поставил рядом, а сам напротив сел.

— Смотри на меня.

Она еще не поняла.

— В глаза смотри.

И она посмотрела в глаза.

— Я знаю, почему ты тогда, ночью, на меня смотрела. Смотри, теперь я не боюсь. И больше никогда не буду бояться.

— Иди спать, — сказала она. — Быстрей!

А теперь вот платочком машет.

Боже мой! На Таню — полтора стакана молока! Ведь радоваться надо. Что, не так? Полтора стакана Тане — больше, чем Винцукасу. И ей надо. Пусть растет быстрее, пусть щечки румянятся, косички толстеют. Говорят, надо звать Танюшей. Нет, ей кажется, что лучше Таня.

— Таня, доченька… Уроки сделаны? Смотри у меня! Одна теперь осталась, придется больше стараться. Но ты не бойся. И я с тобой буду уроки учить. Хорошо? И не скучно будет. Разве со мною скучно?

Конечно нет.

Что же еще?

Только вот…

### Глава пятнадцатая

— Нет, — ответила она. —

Я только ждала.

Держа Таню за руку, она подошла к большому, самому красивому в городе зданию, несмело огляделась, а потом стала просить, чтоб ее впустили. Объяснила часовому, кто она да зачем пришла, она бы ему про всю свою жизнь рассказала, но он только мотал головой, не впускал, а потом разозлился и велел перейти на другую сторону.

Тогда она нагнулась к девочке:

— Таня, ты проси…

Девочка подняла свое худенькое глазастое личико и стала просить:

— Дяденька, пропустите… Нам к самому главному. Дяденька… нам очень надо!

Часовой снова велел перейти на другую сторону.

Перешли.

Сели на другой стороне улицы на траву и не сводили глаз с большого дома напротив, трехэтажного, самого красивого в городе, с коричневой вывеской. С двумя коричневыми вывесками — одна слева, другая справа от входа.

В тот день, едва придя с работы, Винцас спросил:

— Газету читала?

— Читала.

— Какой ужас, мама. Какой ужас… Кто бы мог подумать?

— Да, — ответила она. — Хоть стой, хоть падай…

— Они лечили самых больших людей, в Кремле.

— Да, — ответила она.

— Мама, я вступаю в партию.

— В партию?

— Сегодня подал заявление.

— Молод еще… Мог бы подождать…

— Нет. Сама видишь, нельзя.

Она долго молчала. Потом ответила:

— Ты уже не ребенок, сам знаешь, что делать. Я тебе ничего не запрещала, хоть и вечно дрожала над тобой. Вступай, если так нужно тебе, Тане, всем людям. Только не потому, что там… в газете пишут…

Больше ни слова не сказала.

Может, и этого не стала бы говорить, если б не была матерью.

— Мама! Как ты можешь…

Промолчала.

Она не знала, что такое партия. Знала, что такое власть. Для нее это было одно и то же — что партия, что власть. Не отделяла.

Каждый день радио говорило и газеты писали, но все слушать, все читать не успевала, и без того хлопот по горло, а тут еще Виктукаса отняли, и осталось пустое место — еще одним пальцем меньше. И забот прибавилось, и уставать стала.

Все спали, когда загремела дверь.

Господи, кто?

Кто там?

Лесные братья? За Винцукасом пришли… Господи! Да ведь так давно это было… Уж лучше бы в колхоз пошел с этой своей докторшей, что из речки вытащил. Зря она противилась, ну и что, что с ребенком…

Долго не отпирала, все прислушивалась.

Подошел Винцукас с топором в руке.

— Пусти.

Нет, слава Богу, обозналась. Все страх. Все этот несусветный страх давнишний.

Но и эти — за Винцукасом.

Не может быть. Не может быть…

За Винцукасом?

В одной, в другой комнате порылись. Танины тетрадки, книжки разворошили. Все бумаги какие-то искали. Письмо от Винцасова дяди в карман спрятали.

— Это ерунда, чепуха какая-то, — улыбался Винцас. — Не бойся, мама. Ерунда.

Она шла сзади, как была, босая, натянув только юбку и накинув платок. Те ругались, но она все шла за ними, поотстав немного, пока не дошла до этого дома, большого, самого красивого в городе.

День прождала, ночь, пересчитала доски в потолке. И так целую неделю. Когда же эта чепуха, ерунда эта кончится?

Она сидела в чистой комнате — в кабинете самого первого секретаря, сидела в мягком кресле, перед старым знакомым — Юодейкой. Кресло было такое мягкое, что даже неловко. И на душе светлее стало, немного отлегло от сердца.

— Что?! Винцукаса? — усмехнулся Юодейка.

Он же знает его, еще с войны знакомы.

Разве не он и рекомендацию Винцукасу давал?

Стал звонить по телефону, посмеиваясь, а потом уже и не говорил почти, слушал только. Затем трубку положил, глаза потупил.

Поняла она, что надо вставать, уходить. Он тоже встал, поцеловал ей руку, все не подымая головы.

— Не бойся. Не отчаивайся. Подождать придется. Подождать… Так быть не может, сама ведь видишь, понимаешь ведь. Надо ждать, вернется Винцу кас.

Он говорил тихо, по-прежнему не подымая головы. Так тихо, что она с трудом разбирала слова.

— Если будут неприятности или что-нибудь понадобится — приходи, я всегда…

Знала, можно прийти к нему.

Но какие могут быть неприятности, хуже той, что с Винцукасом?

Ждать?

Ждать она привыкла. Может и еще подождать, только знать бы, чего ждешь.

Что она делает сейчас?

Ждет.

Сидит перед большим домом с коричневыми вывесками и ждет самого главного. Если к нему, внутрь, не пустили, она может и здесь посидеть, дождаться. Как будет он домой идти, она и подойдет, поговорит, все ему выложит.

Человеку в жизни не столько ждать приходится. Что там час-другой!

Могли бы уже и кончить ерундой-то заниматься да отпустить Винцукаса.

Смотрят они с Таней на плотно завешанные окна в доме напротив и не знают, что там творится, чем там люди заняты.

Не знают, что стоит Винцукас вон в той комнате у стены, на вопросы отвечать должен. А он не отвечает, молчит. Не знает, что сказать, не понимает, что случилось.

Хотел все с самого начала выяснить. Посмотрел человеку, который вызвал его, прямо в глаза.

— Товарищ капи…

— Был, пока ты там, по улице, ходил.

И тогда он замолчал. Замолчал — и ни слова. Порой хотел бы заговорить — не может.

— По чьим указаниям подделал документы?

— Твоя фамилия Каган?

— Имя Велвел? Отца звали Арон?

— С какой целью подделал документы?

— Согласно костельной метрике? Кто ее выдал? Не тот ли викарий, которого мы на двадцать пять отправили?

— Если ты Каган, почему ты Винцас?

— Кто ты? Еврей? Литовец? А может, космополит? Нет? Года три назад по всей округе таких искали, а не знали, что рядом, под боком притаился.

— Соблазнил дочь честного гражданина Лапкаускаса. Он первым землю отдал, первым на выборы приходит, трудовое задание изо дня в день перевыполняет. А ты ребенка сделал, бросил девушку, хотел своим аморальным поведением замарать высокое звание советского работника! Советскую власть дискредитировать!

— Мы теперь все распутаем… Мы докопаемся, почему в твоих колхозах дела не идут на лад. Мы все знаем. Признавайся, тебе же лучше будет.

— Говори, быстро… Каким шифром твой мнимый дядя из Америки письма писал? Ну, живо!

— В партию хотел пролезть? За партийным билетом спрятаться?

Затем — тишина. Такая хорошая. Вот бы длилась так без конца, отгоняя страшные мысли.

— Разрешите мне позвонить по телефону. Я вас очень прошу… Пожалуйста.

— Кому?

— Юодейке, первому секретарю.

— Юодейке? Что ты еще знаешь о нем? Быстро! Быстро! Что еще?!

Сидели они с Таней перед плотно завешанными окнами и ждали главного.

Откуда им было знать, что там, в комнате, у стены, Винцукас должен отвечать на вопросы, что порой он сам бы рад ответить, да не может вымолвить ни слова.

Дождалась наконец, увидела: на той стороне главный выходит. Перебежала через улицу, держа Таню за руку.

— Добрый день… — сказала.

Он не остановился.

Тогда догнала его и осторожно взяла за локоть:

— Как Винцукас, почему так долго не возвращается?

— Не знаю, не знаю. Не смотрел еще это дело.

— Дело? Ведь нас тут каждый знает, я сама все рассказать могу, всю жизнь, если надо…

— Не надо, не надо. Если понадобитесь, вызовем.

— Я вам все могу, если только захотите…

— Не мешайте, мамаша. Отойдите, пожалуйста.

Она нагнулась к девочке:

— Таня… Ты скажи, попроси…

— Дяденька! Почему Винцукас не идет домой?

— Посторонись, мамаша! А не то часового крикну! Попрошу…

Чуяло материнское сердце. Сразу поняла. Не ерунда это и не чепуха какая-то.

Еще Лапкаускас недавно встретился.

— Нет худа без добра… Иль нет, кума? Ишь не женился, а? И слава Богу, и хорошо, а то ведь загремел теперь. Международный, надо же! И кто бы мог подумать?.. Лайму те-то наша ничего, оправилась, и ребеночек, слава Богу, неживой родился. Не бойся, кума, много не дадут. Может, десятку, а может, и все пятнадцать. Нет худа… а?

Юодейка приезжал.

Вылез из газика, подошел к ней:

— Здравствуй.

— Здравствуй.

— Как живешь, как держишься?

— Так и держусь.

— Может, надо чего? Скажи, мне ведь можешь сказать.

— Чего мне понадобится…

— Ждешь?

— Жду.

— Жди.

— Буду ждать.

— Может, все-таки нужно что-нибудь?

— Ничего. Не трудись. Не езди. Сама ведь вижу. Если б ты мог! Не можешь…

— Ну, бывай…

— Счастливого пути…

Прижала Таню к груди. Вот оно как. Одна при ней осталась. Разве подумала б когда-нибудь? И во сне бы не приснилось такое. Только что, кажется, двор был полон и шума, и гомона, и разодранных штанов. А теперь одна девчушка. Никогда не думала. Такое и во сне не снилось.

— Он вернется?

— Вернется, детка, а как же.

— Надо ждать?

Ждать?

Что ж еще, как не ждать.

Уже и привыкнуть, казалось, надо бы. Разве нет? Ведь всю жизнь ждала. То одно, то другое.

Ждать…

Всякое бывает ожидание.

Бывает радостное.

Бывает тревожное.

Бывает со слезами на глазах.

Бывает с улыбкой у рта.

Страшно ждать, когда ребенок уходит с ружьем и надолго.

Страшно ждать, когда не приходит он и женщине говорит: «Ты… не девушка была».

А как ждать, когда в тюрьме?

Как смотреть на дорогу, может, десять, а может, и все пятнадцать лет?

Чего хотела она, на что надеялась, дважды в день ковыляя по дорожке до большака и обратно?

Разве это тебе ягненок?

То, казалось, вот-вот зарежут, а то вдруг раз — и все солдаты выстроились: «Смирно!» И виноватый стоит, трясется перед всеми.

Но ведь то ягненок.

Все равно.

Ягненок и человек?

— Поди сюда, Таня. Поди, детка. Потри-ка мне левую руку. Замлела вся. Вот так, хорошо. Замлела, и в плечо отдает, стреляет. Будто иглой колет.

В тот раз, когда сидели на дворе с пожилым солдатом, о многом спрашивала и сама знала, что он ответит. Как не знать. Знала! Только одного не знала, не спросила.

А надо было спросить.

Надо было.

— А… в тюрьму сажать будут?

Этого она не могла знать.

А если б знала, спросила бы? Спросила бы сейчас, если б тот пожилой боец очутился рядом?

Не стала бы спрашивать, нет. Уж про это не стала бы.

Ждать. Надо ждать.

Она знает. Многое знает.

### Глава шестнадцатая

— Нет, — ответила она, —

нельзя отдать другому.

А это что еще?

Отец?

Отец зовет.

Уже и в газетах было. Не раз.

Нет, ошибка, не иначе. Мало ли Антоновых на свете, а?

Она не выходила из дому, сидела, примолкнув, съежившись, как мышь под метлой. И девочке ничего не говорила. Ни к чему ребенка дразнить, может, это еще ошибка, путаница какая-то.

Только долго ли будешь молчать?

Не мышь ведь. Не под метлой сидишь.

Стоит она, простоволосая, с растрепавшейся седой косой.

Стоит и платочком машет.

Отец ведет Таню по дорожке, вот сейчас за деревья, на большак свернет. Ведет отец, а она все боком, боком — оборачивается, рукою машет и косичками машет, двумя синими лентами.

Не дождалась девчушка Винцукаса. И проститься не смогла.

Ведь не станет ее отец ждать тут десять, а может, и все пятнадцать лет.

— Берегите девочку, — просила она. — Такая хрупкая. Не забудьте ленту заплетать и молоко давайте. Любит молоко-то. А еще если б козье! Жирное оно, полезное. У нас не всегда было, что поделаешь. Зато теперь уже есть.

В самом деле…

Вот стоит она, платочком машет.

И останется вечером молоко — два с половиной стакана. Радовался бы человек. Только нечего радоваться. Может, Винцасу отнести? Разве отнесешь? Постоит, скиснет, куда девать его потом? А ведь немало, чуть ли не три стакана.

И вдруг вспомнила. Господи! Боже мой! Как она могла забыть?

— Таня! Танюша! Таня! Постой!

Побежала в избу, нашла тот желтый конверт — грубый, остистый, послевоенный, что был засунут в букварь. Стиснула в руке. Догнала, запыхавшись, обняла еще раз.

— Бери, детка, храни на счастье… Пока вырастешь, а там и пока состаришься. Самый красивый цветок для последнего держала. С шестью лепестками. Береги, не сломай. Сухой он, цветок. Свежих ведь нет сейчас.

Потом вернулась в дом. Повеселела чуток. Еще минутку с Таней побыла, еще слово сказала. Еще минуту вместе, не одна. Только, известное дело…

Стоит она, простоволосая, с растрепавшейся косой.

Платочком машет.

Долго.

А в сарае коза блеет.

Чего ей? Вроде доить не время еще.

### Глава семнадцатая

— Нет, — ответила она, —

человек не птица.

Ждать?

Хорошо, когда знаешь, чего ждешь.

Слава Богу, знала теперь.

А газеты пишут, а радио говорит.

И слово такое вышло — реабилитация.

Вот и скажи теперь… Человек и ягненок, ягненок и человек. Не одно и то же?

Когда за скотину, а когда и за человека…

Вот и скажи теперь: человек или ягненок?

Только, конечно, ждать еще трудней.

Сидит она в большом кабинете, в мягком кресле, таком, что даже неловко как-то, а Юодейка ей подмигивает и телефон крутит. И уже не спрашивает, а сам кричит в трубку:

— Как там? Да, да, насчет того самого. Нельзя ли ускорить? То-то!

Только вдруг опустились руки у Юодейки, и трубку положил. Поднял отяжелевший взгляд, на нее смотрит. Еще улыбнуться пробует. Только улыбка-то кривая…

Подошел, руки ей гладит, говорит:

— Прости меня… Прости нас… если можешь. Реабилитирован он, да только… Нет больше Винцукаса.

— Что?! — кричит она. — Ты что это выдумал?.. Нет!

Господи! Боже мой!

Хорошо, когда знаешь, чего ждешь.

Вот шагает от большака. С торбой на спине.

Запыленный, должно быть, усталый, голодный.

Беда, что запыленный? Ждет горячей воды котел.

Беда, что голодный? Стол всегда накрыт, и хлеба досыта.

Ну и что ж такого, если устал? Кровать постелена, лишь бы отоспаться дали.

Только б вернулся. Только вернулся бы наконец.

Вот стоит она, прикрыв лицо ладонью от утреннего солнца. Бежать бы навстречу, да с места не сдвинется. Крикнуть — в горле пересохло. Сухо в горле, а глаза — мокрые.

Потом уже и ноги начинают слушаться, и горло.

Бежит по дорожке. Седая коса упала, по плечам бьется.

«Сынок… Сыночек мой…»

Он сбрасывает торбу, обнимает ее сухие плечи.

«Видишь, я говорил, ерунда, чепуха какая-то».

Она улыбается, хоть видит морщинки на лбу и у рта.

«Еще какая чепуха-то», — отвечает она, пальцами разглаживая его лоб.

Чепуха? Как для кого…

Кто за материнскую обиду воздаст? Кто сыновние морщины разгладит?

«Молчал бы уж… — говорила она Винцасу. — Молчал бы лучше».

Замолк. Да надолго ли?

Поспал часок-другой, и снова на ногах. «Кажется, целый век не был дома. Как там мои колхозы? Может, знаешь что-нибудь?»

Подумать только, она и колхозы его блюсти должна. Больше, видишь ли, заботы не было. Только о них и думала все эти годы, о его колхозах пеклась.

Так сразу и пошло.

Опять все заново.

Может, и не было ничего?

Или было?

Смешные эти дети, нет? Ну, скажите. И мужчинами вырастают, а все равно смешные.

Будь еще другие здесь, будь хотя бы Таня при ней. Все-таки иное создание, женское.

«Разве нам вдвоем плохо? Ма… Ведь нам с тобой хорошо. Снова вместе».

Конечно, разве плохо вдвоем, вместе… Чего уж там. Только вот…

«Мама, идти ли мне в колхоз?»

Она только руками всплескивает.

«Куда тебе, сынок!»

«Предлагают мне тут неподалеку. Председатель там очень нужен».

«Какой же председатель из тебя? Хватит, я с малых лет по полям на коленках ползала. А в войну? Мало самому тебе довелось? Мало? Хоть бы усы отрастил. Не стыдно было бы стариков учить, которые получше твоего разбираются. Молод ты еще, парень».

Но смотрит на его лоб в морщинах, на складки у рта.

Молчит.

«Осталась я одна с тобой. А с тобою-то самое и горе».

Знает, что не один он в колхоз собрался.

Знает.

Мог бы найти себе моложе, красивее. И без ребенка. Без пересудов людских. Подумаешь, докторша. Поди разбери, что там у него — любовь или жалость. Вытащил из воды, когда она с моста бросилась, а ей только того и надо было. Уже и на шею парню. Так не скажешь, конечно, может, хорошая женщина. И жаль ее… Только как же это вдруг сразу?

Знает мать, не один он в колхоз собирается.

Он ведь говорил:

«Там доктор требуется. И ей подальше от города лучше будет».

Хочет она спросить, очень хочет:

«Может, доктор там больше председателя требуется, а?»

Но молчит.

Ведь не скажешь: может, жалость-то проходит, а за ней приходит другое что-то.

Видно, такое уж его счастье.

Какой парень… Мог бы помоложе. И без ребенка.

Теперь лишь наездами бывает. Может, и чаще приезжал бы, да все времени в обрез.

Наездами.

Вымоет его, носки выстирает. Не важно, грязные они или чистые. Выстирает, а чтобы высохнуть успели, утюгом просушит. Не беда, угли раздувать не надо. В штепсель воткнула и гладь.

А Винцас все про то же. Уши прожужжал. То не посеял, это не уродилось, то посеял уже, а это вот-вот у родится…

Смотрит она на его сапоги, грязные, стоптанные, смотрит на загнанную лошадь со впалыми боками, смотрит на лицо Винцаса, побуревшее, обветренное, потрескавшееся.

Спрашивает у него:

«Ну, скажи, сын, будет ли лучше жить людям?»

«Поехали со мной, увидишь».

Но она не едет.

Только провожает его, как в тот раз, когда с семьей проводила.

Проводила их до большака.

По дорожке шли медленно, хотя грузовик уже давно ждал у деревьев. Шла она между Винцасом и той, с дочкой на руках. Разговор не клеился. Может, вспомнила только, что уже не первого провожает и не второго, не третьего. Последнего. Ладно, сама не едет. Кто бы проводил тогда? Некому было бы. А так она и проводит, и в машину посадит. Пусть сами поживут. Свыкнутся, обживутся, может, аист еще ребеночка принесет, вот тогда она и приедет посмотреть как да что, руку свою приложит. Добро бы зять был, а то свекровь с невесткой, невестка со свекровью. Что, не верно? Приедет, успеет еще, никуда не денется. Хочется подольше пожить тут, где когда-то все были — совсем все. И мальчик, и Юозукас.

Пыталась шутить:

«Может, и мне замуж? А что? Найдется жених какой-нибудь…»

Так что же пожелать Винцасу, а? Хорошего сева? Или доброй жатвы? Полновесного трудодня? Что пожелать ребенку, если он ни с того ни с сего — председатель.

Отвела ее, ну, ту, в сторонку, шепнула на ухо:

«Ноги у него потеют. Носки ему каждое утро меняй…»

И опять стоит она, прикрыв рукою глаза от солнца.

Накинув платок.

Холодно.

Дрожат губы. Узкие, сдавленные годами.

Вздрагивают щеки.

Стоит.

Ждет.

Холодно.

Осень уже.

### Глава восемнадцатая

— Нет, — ответила она, —

никому нельзя убивать.

Едва ступив на порог, сунул ей коробку конфет, схватил руку, поцеловал. Она и опомниться не успела. Снял шапку, и блестящая лысина осветила сумрак сеней. Объяснил:

— После тифа, так и не отросли больше.

Сам, не дожидаясь приглашения, шагнул в избу.

— Угощайся. Вкусные, — показал на конфеты.

Подошел к столу, сел, поправил ворот, чтобы шею не давило.

— Садись, чего стоишь? Я здесь гость, не ты.

Села и она. Напротив. Спохватилась, что в руках у нее конфеты. Бросила коробку на стол. Засмотрелась на два цветка и трехслойную мармеладину на крышке.

— Видишь. Гора с горой не сходится, а человек с человеком…

Она оторвалась от коробки и снова опустила глаза.

— Ты что? Я давно уж под другой фамилией, честным человеком стал. В Йонаве на строительстве тружусь. Там большой завод строят. А может, что стар, не нравлюсь? Так и ты уже не молодка. Одна, стало быть, век коротаешь?

— Одна.

— Видишь. Билась, билась, а на старости лет — одна.

— Одна.

— И сына нашего не сохранила.

Она вздрогнула.

— Не виню я, нет. Время такое было. Не по своей же воле шел тогда к тебе. С немцем. Макс ли, Ганс ли. Разве всех упомнишь? И я вот один живу. Все посматривай, поглядывай по сторонам: не знакомый ли? По всей Литве народ разъехался. Так и жди. За каждым углом. На ночь ставни запрешь, свет погасишь, только тогда и вздохнешь свободно. И то один. Не с кем слова сказать.

Он протянул руку через стол, хотел взять ее ладонь, но она подвинула конфеты:

— Сам пробуй. Говорил, вкусные.

— Только ты вот и осталась, — выговорил шепотом. — Может, не веришь… А я все время о тебе думаю. Ставни запру, свет выключу, вытянусь на постели, глаза закрою и молодость вспоминаю. Себя, парня молодого, и тебя, девку, словно молоком омытую.

Она все так же смотрела на крышку с двумя цветками и трехслойной мармеладкой.

— Все, по молодости, дураками были. Не думай. Не так уж много зла я сделал, не то что другие. В карьере тогда, может, и прикончил кого-нибудь. Споили. И приказ такой был. Или, скажем, после войны, в лесу. Так я все в бункере отсиживался.

Она снова оторвала глаза от крышки и снова потупилась.

— Ежели насчет… насчет своих думаешь, так это уж точно не я. Просил: не надо, на коленях умолял. Да разве они посмотрят? Убили, и все тут. Не я, провалиться мне на этом месте — не я…

— А твои как? Вернулись? — спросила она.

— Мои? Бог знает. Может, померли старики. Наверно, померли. Что ты! Разве будешь доискиваться? Говорю ведь, фамилию сменил, честным человеком стал, тружусь на стройке. Большой завод строим. Конечно, власти теперь помягче. А только все один да один, не с кем словом перекинуться. Только ты вот и осталась… Может, не веришь? А я вправду… Если нет, разве показался бы в своих местах?

Замолчал. Погладил голый блестящий череп.

— И еще тут дельце есть одно. Небольшое. Ну, это попозднее. К вечеру. Подождем, когда смеркаться начнет. Может, пособишь мне, а?

— Что еще?

— После, после. Не горит, и не так уж важно.

— Угощайся… Говорил, вкусные. — Снова подвинула к нему коробку. — Я пойду. Убраться надо.

Выбежала во двор. А там уж и не знала, за что взяться. То ли траву косить, то ли козу доить, то ли картошку копать или собирать помидоры, те, что пожелтели. Потом взялась за топор, стала хворост рубить. Дело к ужину.

Уже кучка хвороста.

Уже груда целая.

Уже и на завтра, и на послезавтра, и еще на день.

Так славно рубить, так славно, и в избу не хочется.

Только все равно надо.

Тот же хворост занести. Ребят нет, помочь некому.

Вернулась в дом, стала у порога.

— Садись. Какой там разговор стоя. Или ты в своем доме гостья?

Присев к столу, снова посмотрела на коробку, уже открытую, на аккуратно уложенные трехцветные мармеладки, облепленные белыми крупинками сахара.

— Ты не думай… Мне на жизнь хватает, зарабатываю. И тебе хватит, если вместе захочешь. Еще и приданое будет. Такие времена пошли: уже не бабы, не женщины, а мужики приданое несут. А? Хе-хе. Коли вместе не пожелаешь, пополам разделим. Видишь… у меня там, возле карьера, жестянка зарыта. Думаю, не проржавела бы, а? Зачем добру пропадать? Вот и сходим, откопаем. А?

Она вынула из ровного ряда ломтик мармелада, стиснула, и конфета прилипла к пальцам.

— Угощайся, угощайся, вкусные.

Хотела выбросить, потерла пальцы, а они еще больше слиплись.

— Не думай, на жизнь хватает, зарабатываю, да вот… И у тебя спокойная старость будет, до гробовой доски обеспечу. И мне… лишний рубль сгодится. Хе… Помнишь, сколько лошадей мы держали? Не помнишь? Семь. Это у меня слабость такая, хе, никак не отделаюсь. Запираюсь вечерами и шорничаю. На трех готова сбруя, а на остальных не хватает. Видишь… Неспокойно в мире нынче, ой неспокойно.

Он гладил блестящую лысину и, пряча ухмылку, хитрым глазом исподлобья смотрел на женщину.

— Может, сходим, а? Копать пособишь, принести. Когда вдвоем, никто и не подумает. Кому в голову ударит? А сосенки там еще растут?

— Растут.

— Вот и ладно. А домов поблизости не строили?

— Нет.

— Никто не увидит?

— Наверно.

— Так я и думал.

— Как есть.

— Смеркается. Пойдем, пожалуй, а?

Она кивнула.

— Возьми платок какой-нибудь — жестянку завернуть. А мне лопату.

Взяла платок.

На дворе дала ему лопату.

У колоды, где хворост рубила, он увидел топор.

— И топорик прихвати. Может, корни рубить придется.

— Ага.

Пошли.

— Говорил я… Одна ты осталась, — промолвил он, глянув на женщину.

Вышли на большак.

Прошли по вечерним улицам.

Миновали город — и снова большаком.

Вроде бы недалеко, да уж старость, видно.

Запыхалась.

Передохнуть бы.

Еще топор оттягивает руки. То и дело перекладывай его из одной в другую или бери в охапку, как младенца. Легче так. Недалеко уже. Сосны виднеются. Недалеко.

Сразу за поворотом и карьер.

— Сядь, отдохни. Я сейчас… Намечу.

Подбежал к одной из сосен, отсчитал несколько шагов. Подбежал к другой — еще отмерил. И от третьей пошагал, считая что-то. Скинул пиджак, шапку. За лопату взялся.

— Ты сиди, отдыхай, — говорит, обливаясь струйками пота. — Если будут корни — обрубишь.

Может, час, может, два все копал и копал. И радостно было ему, что земля жесткая, нетронутая, проросла травой.

Потом вроде лопата об железо звякнула. Он выпрямился. Осмотрелся. Прислушался.

— Есть… — проговорил. — Вот корень — руби. Давай руби корень.

Подошла она.

Яма была мелкая. Только широкая. И длинная. Видела, как он присел, нагнулся.

— А? — спросил он, освобождая корень пальцами. — Звенит? Рубай!

Замахнулась и ударила, рубанула. Хотела еще раз топор поднять, да застрял в лысой голове. А голова еще обернулась и спросила удивленно:

— Ты?..

За соснами, далеко, за всей землей садилось багровое солнце.

И был сильный ветер.

Стояла она, уронив руки, и ветер трепал ее волосы — белые, как лен, мокший-перемокший, сохший-пересохший вековечный лен. Она смотрела на багровое солнце. Может, вспомнила Юозукаса?

Может, мальчика, которого своим молоком вскормила?

Таню?

Вальтера-Виктора?

Винцаса-Велвела?

Отца с набитым землею ртом?

Может, девушку, понесшую от Винцаса, ту, что стояла, обнявши столб?

Может, того, в мундире: «Посторонись, мамаша»?

Четыре сбруи, которых не хватило до семи?

Себя.

Стоящую возле дома, за дорожкой, вскинувшую руки, измазанные землей и кровью, и посылающую проклятье.

Черное проклятье.

На суде было бы так.

Зал встает. Молчит.

Люди долго слушают, слушают все сначала, но ждут — конца.

Вот и конец.

Приговор.

Бернотас Антанас, сын Казиса, — приговаривается к смертной казни.

Решение суда окончательное.

Приговор исполнен.

### Глава девятнадцатая

— Нет, — ответила она. —

Человек должен жить.

Я редко бываю здесь. Почему?.. Иногда мне кажется, что пешком пришел бы. А иной раз хочется все забыть, будто не был рожден на свет, просто взял и явился откуда-то такой, как есть, и никогда тут не жил, и всегда был таким, как сейчас.

На бывшей базарной площади разбит зеленый сквер. В бывшей гимназии, некогда красной, а ныне побуревшей, какое-то учреждение, а может, и не одно. Где-то здесь была лавочка, в которой продавали казенку. Дальше — лавка со сладким печеньем, белыми кругляшками, обсыпанными сахаром, и с пирожными. Сперва по десять центов штука, после по двадцать пять копеек, а потом…

Длинное шоссе — автострада — главная улица города. Двухэтажный ресторан. Большие окна. Стекло и металл, стекло и… Оба комитета в одном здании — прямые линии, уже без колонн и завитушек.

Всякие мысли приходят в голову, когда попадаешь в родной город. Хорошие и плохие, веселые и не очень. Порою умные, а порой…

Я думаю, что здесь, в центре города, на бывшей базарной площади, посреди цветущего скверика мог бы стоять высокий памятник. Я не знаю, как он должен выглядеть, не знаю даже, как его назвать. Я назвал бы его…

Всякие мысли приходят в голову, когда попадаешь в родной город.

Я выхожу из автобуса.

Оглядываюсь.

Люди уже не те и не такие. Далекие, потому что я для них — чужой. Все меняется.

Есть за городом одно место, постоянное, неизменное. Там все знакомы.

Но это — позже. Чего торопиться на кладбище?

Может быть, сперва заглянуть туда, где стекло и металл в два этажа? Заказать что-нибудь покрепче — три звездочки или пять, а может, белой, казенной…

Пожилая женщина останавливается на тротуаре и смотрит на меня, слегка нагнув голову.

Я поворачиваюсь к ней и вздрагиваю.

Я беру ее руку. Целую. А она не дает. Ей трудно, потому что я держу крепко, а пальцы у нее — сухие, тонкие, обессиленные, только суставы разбухли и в прозрачных венах беспокойно пульсирует кровь.

— Добрый день, понас Адомас, — говорит она.

И медленно, будто поправляя волосы, проводит свободной рукой по моей голове, притрагивается к лысеющему лбу:

— Выросли все. И у Винцукаса волос редеет. Такой густой был, гребни ломались, а нынче… Взрослые. Ну что ты смотришь? Или нет у меня такого права, чтобы хоть немножко легче было?

— День добрый, Вероника, — говорю я наконец.

И мальчишеское желание: взять ее за руку, повести в сияющий напротив магазин, купить… Что? Может быть, платок? А может, материю на платье, красивую, какой у нее в жизни не было? Может, серьги? Или янтарные бусы? А может…

Она слегка улыбается и сама берет меня за руку:

— Идем, понас Адомас. Я теперь тут рядышком живу, поблизости. Квартиру дали, с отдельной кухней. Как барыне.

Я иду за ней.

— Как дочурка? — справляется она. — Здорова?

— Здорова. Нынче в школу пойдет.

Она смеется:

— Ишь как время бежит. Так ни разу и не видела ее. Хоть привез бы погостить когда. Клубники пару грядок посадила, землянику собираю. Сходили бы с ней по ягоды.

— Вы же знаете, зачем я приезжаю…

Она останавливается перевести дух.

— Могилы могилами, сынок. А мы живы, живем, и жить надо.

Мы сидим за небольшим столиком у нее на кухне. Она подала тарелку клубники, сочной, брызжущей румянцем. На скорую руку помыла, обсыпала сахаром, залила молоком и поставила передо мной, еще отрезала черного хлеба ломоть.

Хлеб пахучий, молоко холодное, а ягоды красные, сочные, так и тают во рту.

Она молча посидела напротив, потом встала, прошла в комнату. Я видел, как она остановилась перед зеркальной дверцей шкафа. Сняла платок, причесалась, поправила жидкую косицу, свернула ее, заколола, снова повязала платок и уже хотела было вернуться в кухню.

Да еще на минутку задержалась.

Посмотрелась в зеркало.

Я заставил себя забыть, что это она, Вероника, и увидел сутулую спину, высохшее с годами тело, седые волосы над лбом и сбежавшееся морщинами лицо.

Сколько лет этой женщине? Сто? Двести? Только вот глаза сбивают с толку. Так сколько ей лет? Столько же, сколько нашей земле?

Иногда надо уметь считать и считать правильно. Не думать о четырех временах года, о трехстах шестидесяти пяти или шести днях.

Она смотрелась в зеркало, неуверенно пытаясь разгладить морщины у рта худыми пальцами.

Что она видит там, в зеркале?

Совсем недавно я тоже долго вглядывался в зеркало. В зеркало своих мыслей.

Я моложе Вероники, и надеюсь, она простит меня, если увидел что-либо не так, как было на самом деле.

Правда, Вероника?

Она уже возвращается.

Правда?

Я снова вижу ее глаза, и, наверное, в шутку она рассказывает, что хочет выхлопотать пенсию. Скоро и аист в гости: Винцукас сына ждет. Почему именно сына? — так ей хочется. Она давно собирается к Винцасу и уже поехала бы. Только как же так — на все готовое? Ведь теперь государство пенсии платит. Может, и ей что-нибудь положено? Конечно, с документами беда будет. Никаких документов у нее нет, никаких бумаг. Только раз в жизни была у нее бумага, давно это было. Нет ее уже. Да и что в ней проку сейчас?

Ну так как, понас Адомас?

Понас Адомас что-то обещает. Конечно же он постарается. Разумеется, он все сделает. Но, прощаясь, он думает о другом.

Что оставил я Веронике? Что?

А унес с собой много.

Не станет ли ей холоднее, если столько дала мне?

Ведь я-то ей — ничего. Ничего не оставил.

Может, нет у нас?

А может, не умеем давать?

На кладбище я не думал о ней.

На кладбище думают о мертвых.

Я думал о своих родных, думал и о Винцасе, единственном, кто остался ей, Веронике, хоть его и нет в живых, — не вернулся. И, не зная, где его могила, я видел ее здесь, на этом кладбище, среди родных и близких…

С кладбища я вернулся в зеленый сквер. Сел на лавку, задумался.

Я еще не знаю, как будет выглядеть памятник и как его назвать. Да это и не важно. Есть у меня просьба.

Ничего, что я вовсе не Адомас. Это только она зовет меня так. Все равно я здешний, тут родился. Был я… которым я был ребенком в семье Ятаутасов? Тринадцатым?

Когда наступят выборы и вы пойдете голосовать, пожалуйста, выберите меня. Хочу побывать однажды хозяином в своем родном городе. Я на мгновенье остановлю бег жизни. И давайте все вместе поставим на зеленом сквере памятник.

Они ведь не только мертвым.

Иногда их надо ставить и живым. Самым живым из всех.

Если нет, то скажите мне.

На чем держится мир?

### Глава двадцатая

— Нет! Не надо памятников живым!

Уже было это! — крикнула она.

— Нет! Не надо памятников живым! Уже было это! — крикнула она.

Я молчу.

Если б кто-нибудь другой, не она это сказала.

Молчу.

Я ведь не спрошу ее так, как вас:

— На чем держится мир?

## Ничья длится мгновение

## *Роман*

## LYGIOSIOS TRUNKA AKIMIRKA

### Глава первая

### Начало

#### 1

Когда фигуры были расставлены, Шогер прищурился и, помедлив, взял две пешки — белую и черную. Он их спрятал в ладони и встряхнул.

— Ну, кто начинает? Я или ты?

Его уши подергивались, бледная кожа под редкими, прилизанными волосами вздрагивала.

Он волновался.

«Будь я индейцем, — думал Исаак, глядя на его шевелящиеся волосы, — я бы, наверное, срезал этот скальп…»

— Не знаешь? — спросил Шогер и выставил руки перед собой. — Если не знаешь, я скажу тебе. Все на свете — лотерея. Шахматы — лотерея, мир — лотерея и жизнь — тоже лотерея.

«Он здесь хозяин, и все-таки боится…» — думал Исаак.

— Знаешь что? Ты можешь выбрать. Я предлагаю тебе черные. В лотерее, как правило, проигрывают.

— Левую, — сказал Исаак.

— Ну, смотри.

Шогер разжал пальцы. На ладони была белая пешка.

— Еврейское счастье, — усмехнулся он. — Я не виноват: ты выбрал сам.

«Неужели это смерть? — подумал Исаак. — Я не хочу умереть. Разве есть на свете человек, который хотел бы смерти?»

И все же ему достались белые.

Исаак повернул доску, бросил взгляд на фигуры и сделал первый ход.

#### 2

Вы знаете, как светит весеннее солнце? Вряд ли вы знаете, как оно светит. И откуда вам знать, если вы не видели, как улыбается Бузя.

Весеннее солнце светит, как улыбка Бузи, а ее улыбка — такая светлая, как весеннее солнце.

Я знаю, я увидел ее вчера, и мне стало страшно, что только сейчас я встретил ее. Она живет в конце темной улички на другой стороне гетто.

Я был просто дурак все это время. Я не знал, что у нас в гетто живет Бузя.

Она шла с подругами.

Я взглянул на нее и остановился, не в силах оторвать глаз.

Тогда она улыбнулась. Она пожала легкими своими плечами, будто не понимая, чего я встал на ее пути. Улыбнулась и пошла своей дорогой.

Потом она обернулась, и я снова увидел ее улыбку.

Теперь я знаю, как светит весеннее солнце. Оно светит, как улыбка Бузи, а улыбка Бузи — как весеннее солнце.

Вчера я не знал еще, как ее зовут. Но увидел ее и вспомнил «Песнь песней».

Я вспомнил девочку из «Песни песней» Шолом-Алейхема, первой книги, которую прочел в детстве, и дал незнакомке имя Бузя.

Мне хотелось, чтобы я был Шимек, а она — Бузя.

Чтобы вокруг не было узких уличек гетто, обнесенных высокой стеной.

Чтобы не было людей с желтыми звездами.

Чтобы мы были еще маленькими и только вдвоем. Шимек и Бузя.

Чтобы сидели на широком, без конца и края лугу, на мягкой зеленой траве, и чтобы я мог сказать:

«…Бузя — сокращенное имя: Эстер-Либа, Либузя, Бузя. Она старше меня на год или два, а обоим нам нет и двадцати. Теперь потрудитесь посчитать, сколько лет мне и сколько Бузе…»

Вы знаете, где я сейчас?

На другом краю гетто, в конце узкой улички, той, на которой живет Бузя. Я сижу на каменном пороге. Странная прохлада исходит от этого гладкого камня и растекается по всему телу, но я не встаю. Может быть, это холодок, оставшийся еще с зимы и не успевший растаять на весеннем солнце, но мне совсем не холодно. Мне тепло. Если бы мама была жива, она бы поправила платочек, ровно лежащий на голове, и всплеснула бы руками.

— Изя! — сказала б моя мама. — Изя, ты же молодой человек, ты уже почти жених, а сидишь на холодном камне, как мальчик. Изя! Ты ведь, можно сказать, мужчина, чтоб не сглазить, а того и гляди придешь домой с готовой болезнью, не дай тебе Бог!

Я сижу. Мне тепло.

Мы только что вернулись с работы. Я тут же умылся, натянул свою красивую голубую рубашку и побежал сюда, к этому каменному порогу.

Я жду. Жду, когда появится Бузя. Когда сидишь возле дома, на каменном пороге, слышишь все: каждый шаг, каждый шорох, малейший звук. Хлопнула дверь — и мне кажется, что это Бузя. Прошуршали шаги — и я думаю, что это Бузя. Скрипнули деревянные ступеньки — я жду: вот сейчас выйдет Бузя.

Ее нет, не выходит. Может, вовсе нет никакой Бузи? Может, мне просто вспомнилась «Песнь песней», первая книга, которую я прочитал в детстве?

Снова хлопает дверь, шуршат шаги и скрипят старые ступеньки. Сейчас она выйдет. Не может быть иначе.

Да, это Бузя.

Я вскакиваю, смотрю на нее и не знаю, что сказать. Все слова перепутались, перемешались у меня в голове.

У нее пепельные волосы. У нее большие синие глаза. Они смотрят на меня молчаливо и удивленно.

Я должен что-то сказать, не важно что. И я говорю.

— Бузя!.. — говорю я и сам над собой готов смеяться.

А она действительно смеется.

Сверкают белые жемчужные зубки. Ее губы горят, как алые ленты, а щеки цветут, как маки.

— Кто ты? — спрашивает она.

И опять смеется.

— Я — Изя, — поспешно отвечаю я. — Я — Исаак Липман, но ты зови меня Изей.

Она уже не смеется. Она слушает.

— Пойдем со мной, девочка Бузя, — говорю ей, — я расскажу тебе, кто я.

— Почему ты называешь меня Бузей?

— Идем, я все тебе расскажу.

Она идет со мной.

Я хотел бы идти с ней так далеко-далеко. Чтобы мы вышли на широкий луг и сели там на мягкой траве друг перед другом. Я рассказал бы ей все, что она пожелает. Но луга у нас нет, и уйти нельзя. У ворот — часовые.

Не важно. Мы можем сидеть и на этом дворе. Нам никто не мешает, здесь валяются деревянный ящик и трухлявое длинное бревно. Мы можем сидеть где угодно, все равно нам будет казаться, что мы на большом лугу, среди душистых цветов, и нет им конца и края.

Правда, Бузя?

Она молчит.

Мы заходим во двор и садимся. Я — на бревно. Бузя — на ящик. Она сидит на ящике, обхватив коленки и прижав к ним подбородок. Я улыбаюсь. Я хотел, чтобы она сидела вот так, подняв колени. Широкая юбка закрыла ноги, пепельные волосы рассыпались по плечам. Я могу сидеть так очень долго. Сидеть и смотреть на Бузю. Я не хочу уже ничего рассказывать. Зачем слова, если можно просто сидеть и смотреть.

Но она хочет, чтобы я говорил, она хочет знать, кто я.

— Кто же ты, Изя? — спрашивает она, и в ее больших синих глазах появляются два смешливых чертика.

— Я — Изя, — говорю. — Я — Липман. Я родился здесь, в этом городе, мой отец — портной, и его пальцы исколоты иглой чаще, чем небо звездами.

Конечно, я мог бы рассказать, что брат у меня без пяти минут философ: он учился в университете, но не успел закончить из-за войны.

Я мог бы рассказать, что сестра моя — Ина Липман, та самая, певица, которая до войны объездила полмира.

Я мог бы рассказывать и рассказывать.

Лучше не надо. Она подумает, я хвастаюсь, задаюсь своими братьями и сестрами. Она еще рассердится, встанет и уйдет, и я останусь один. И снова буду думать, что никакой Бузи нет на свете, просто мне вспомнилась «Песнь песней», первая книга, которую я прочел в детстве.

— Ина Липман — твоя сестра?

— Сестра…

— Та самая, знаменитая певица?

— Да, — торопливо говорю я Бузе, — но это не важно, правда? Ина — это Ина, моя сестра, а я — это я, Изя.

Бузя кивает, соглашаясь со мной, и я рад. Она кивает быстро-быстро, и ее пепельные волосы колышутся, как мягкие волны на реке, как спелые хлеба в поле.

Не сердитесь. Я соврал.

Это вышло нечаянно.

Я сказал, будто она старше меня на год или на два, а обоим нам нет и двадцати.

Это неправда. Я только хотел, чтобы так было. Как в «Песни песней».

На самом деле нам обоим уже много лет. И старше я, а не Бузя. Ей — шестнадцать, мне — семнадцать с половиной. Теперь потрудитесь посчитать, сколько нам обоим. Нам уже тридцать три года с половиной. Много, правда?

Мы считаем вместе.

Сначала я загибаю один, другой и все пальцы правой руки, потом быстро загибаю на левой, но пальцев не хватает. Тогда я осторожно беру Бузю за руку и сгибаю ее пальчики. Но их тоже не хватает — так много нам лет!

Мы смеемся, оттого что нам не хватает пальцев.

И она говорит:

— Все равно не сосчитать. Один палец — один год. А где взять половину?

Я не смеюсь. Молчу.

Мы могли бы сосчитать.

У меня есть полпальца, только Бузя не заметила.

Это было давно, год назад. У ворот гетто лежала железная балка. Шогер подозвал меня и велел ее поднять. Я оторвал конец балки от булыжной мостовой, хотел было выпрямиться, но Шогер что-то крикнул и вскочил на балку. Я так и не успел вытащить палец…

Мы могли бы сосчитать, сколько нам лет, но я не хочу. Я сожму левую руку в кулак, и Бузя не узнает, что можно сосчитать и полгода.

Я снова смеюсь. Потом опрашиваю:

— Как тебя звать, Бузя?

— Меня зовут Эстер.

Она снова обнимает колени и опирается на них подбородком.

— Я тоже родилась здесь, в этом городе. Только у меня нет ни братьев, ни сестер. Был старший брат, но его уже нет. Папа — врач, а мама — медсестра. Оба много работают, дни и ночи. Они работают в больнице гетто, и им очень трудно. Ты ведь знаешь, что евреям запрещено болеть заразными заболеваниями. Но таких заболеваний ужасно много, поэтому мама, и папа, и все другие лечат людей, вписывая неправильный диагноз.

Она говорит, но я почти не слышу.

— Как твое имя? — снова спрашиваю я. — Как ты сказала?

— Эстер.

Я изумлен.

— И Либа тоже?

— Нет, только Эстер.

— Не важно! — кричу я. — Не важно! Тебя зовут Эстер-Либа.

Снова скачут веселые чертики у нее в глазах.

— Ты хочешь, чтобы я была Бузей? — спрашивает она и щурится.

— Хочу, чтобы ты была Эстер-Либой, Либузей, Бу зей… И я рассказывал бы тебе всегда одну и ту же сказку из «Песни песней».

— Но тогда ты должен быть Шимеком?

— Я буду Шимеком… Хочешь послушать?

— «…Я — Шимек, и у меня был старший брат Беня. Он отлично стрелял из ружья и плавал как рыба. Однажды летом он купался в речке и утонул. На нем сбылась поговорка: „Все хорошие пловцы тонут“. Он оставил водяную мельницу, пару лошадок, молодую вдову и ребенка. От мельницы мы отказались. Лошадей продали. Вдова вышла замуж и уехала куда-то далеко. А ребенка забрали мы. Это и была Бузя». Ты слышишь, Бузя?

И вдруг я слышу чей-то голос:

— Откуда тут у нас этот юный Шолом-Алейхем?

Передо мной стоит гладко причесанный парень с желтой заплатой на груди. Он стоит и смотрит мне в глаза, хитро, по-стариковски щурясь.

— Откуда ты, Шолом-Алейхем? — снова спрашивает он.

Я встаю, подхожу к нему и говорю:

— Я — Изя, Исаак Липман. Я не Шолом-Алейхем. Ты же видишь, у меня короткие волосы и нет очков. А ты кто?

— Янек, — отвечает он и усмехается.

— Это неполное имя? — спрашиваю я.

— Хм! — говорит он.

— Ты, наверное, Янкель и поэтому Янек?

— Хм!

— Как твое полное имя?

— Янек, — повторяет он.

— Я что-то не знаю такого странного имени…

— А что такое пся крэв, ты знаешь? Это я! — хохочет он. — Я поляк, и меня зовут Янек.

Он действительно говорит по-еврейски не совсем как мы. Да и с виду мог бы сойти за поляка… Но тогда почему он в гетто?

Янек и Эстер смеются. Они довольны, а я ничего не понимаю.

— Вот ты где, — говорит отец. — Я все гетто обошел. Помоги мне найти Ину. Куда она могла пропасть? Идем, Изя, идем.

Мои новые друзья уже не смеются. Они смотрят нам вслед. Я машу им рукой и ухожу с отцом искать Ину.

Куда она могла пропасть?

### Глава вторая

### Ход пятый

#### 1

Шогер неторопливо двинул слона, держа его аккуратно, двумя пальцами, как драгоценность. «Я плохо начал, — подумал Исаак. — Сегодня мне трудно играть».

— Лично я отдаю предпочтение медленному наступлению, — проговорил Шогер. — Известно, что блицкриг не всегда ведет к победе.

«Не понимаю, куда он клонит, — размышлял Исаак. — Себя успокаивает или меня? Шогер мог бы играть еще лучше, если бы меньше думал о том, что должен выиграть. Как он говорит? Лотерея…

Шахматы — лотерея, мир — лотерея, и жизнь — тоже лотерея.

Почему я сижу перед ним?

Риск и лотерея…

Разве это одно и то же?»

#### 2

— Я родил дочь Ину, — сказал Авраам Липман.

#### 3

У больших ворот обычно караулят двое. Один — немецкий солдат, другой — наш полицай из гетто.

И сегодня тоже. Но только сегодня это не совсем так. Ворота охраняет не немец, а чех. Я так старалась запомнить его имя и фамилию и все-таки забыла. Они похожи на польские, а польские — на их. В конце концов, не это важно. Я спрошу еще раз и запомню как следует. Важно, что вчера чех согласился выпустить меня в город на час и даже не спросил, куда и зачем я пойду.

Почему я волнуюсь?

У меня дрожат руки, наверное, дрожал бы и голос.

Со мной всегда так, пока не освоюсь. Волнуюсь на сцене, волнуюсь на людях, а сейчас — особенно.

Чех, когда я договаривалась с ним вчера, стоял, почтительно склонив голову. Видно, полицейский сказал ему, что я — Ина Липман. Может быть, он из Праги, этот парень, и слышал, как я пою. В Праге я выступала дважды. Там были огромные афиши с гигантскими буквами, только букв почему-то было больше, чем надо. INNA LIPPMANN. Что ж, если им так нравится!.. Они кричали мне: «Браво, бис, браво, Инна!» — и я пела им снова и снова.

Я стою, прижавшись за углом, и жду, когда сменятся часовые. Они все противные, будто не люди даже, а какие-то мерзкие твари в зеленой форме, и я всегда боюсь нечаянно прикоснуться к ним.

Да, я вижу, чех уже здесь.

Он тоже в зеленом, но выглядит почему-то иначе. Я вижу его самого, вижу его лицо и вовсе не замечаю зеленой формы, не замечаю даже винтовки. Боже мой, ну конечно же, все зависит от человека, и ровным счетом ничего не значит, во что он одет! Как на сцене. В каком бы платье ни вышла, я — это всегда я, Ина Липман.

Но все-таки хорошо, что на свете не только немцы, хорошо, что на этой земле есть много-много живых людей.

Если когда-нибудь мне удастся собрать их в большом зале, таком большом, чтобы в нем уместились все-все… Я выйду на сцену и не стану говорить, кто я. Не будет афиш с гигантскими буквами, и букв будет не больше и не меньше, чем требуется. Просто женщина, такой же человек, как и они, хочет петь для них. Я буду петь им долго, самые лучшие свои песни. Они будут сидеть и слушать. Я не хочу, чтобы кричали «бис», «браво». Пусть себе молча сидят и слушают. Я буду петь им, как не пела еще ни разу, как не спою никогда и нигде. Я буду петь им так, как пою здесь, в гетто.

Чех заметил меня и махнул рукой.

Я подхожу.

Он озирается.

— Можете идти, — говорит чех, — если хотите… Только лучше бы вам не ходить, конечно. Оставайтесь тут, а если вам что-то нужно в городе — скажите, я сделаю.

Я качаю головой.

— Как вам угодно, — продолжает он. — Только будьте осторожны, когда станете возвращаться.

Смотрите в оба: Шогер имеет обыкновение шнырять у ворот по вечерам.

— Хорошо, хорошо, не бойтесь, — отвечаю я. — Бояться нечего.

Я быстро иду по улице.

Я впервые одна выхожу из гетто. Желтые звезды пришиты к жакету, а жакет перекинут через руку вверх подкладкой.

Мимо проходят женщина и мужчина. Я не знаю их, но они оборачиваются раз, другой и даже третий. Пробегают дети. Они тоже оглядываются на меня. Неужели меня еще можно узнать по изображению на афишах, которых давно нет и в помине?

Я знаю, я нехороший человек. Я хочу, чтоб меня узнавали. Да, в глубине души хочу. Ведь столько людей слушало когда-то, как я пою. Но я не имею права. Меня не должны узнать. Это во мне все еще говорит артистка… В свое время Ина Липман была знаменитостью и считала, что принадлежит только самой себе. Но на самом деле было не так, и это тем более не так сейчас.

Я захожу в подворотню, достаю из кармана зеркало, грим и косынку. Теперь уж наверняка меня никто не узнает. Можно идти смело, с высоко поднятой головой и на минуту представить, что я свободна и вокруг нет того, что есть на самом деле.

Нет, не могу.

Странно, но я не могу представить себе это. Я, должно быть, могу играть только на сцене. Время накладывает свой отпечаток, суровый, жесткий, и тут не поможет никакой грим. Лучше не буду слишком смелой. Надо сделать еще очень много, сделать то, что теперь всего дороже.

Четыре месяца подряд, вернувшись с работы, мы вновь принимались за работу — тайком, по ночам, чтоб никто не слышал, не видел. Мы репетировали «Аиду».

И наконец сегодня, в эту ночь, состоится генеральная репетиция.

Боже мой! Сколько раз я пела Аиду, но это как бы впервые в жизни. Мы все измучились. Но работали так, как вряд ли под силу людям. У нас все как в настоящем театре, даже дублеры. Нет, дублеры, наверно, — самое важное. В театре они лишь у главных исполнителей, а тут у всех: у главных и второстепенных, у статистов и у хора. У каждого человека свой дублер, даже в оркестре. Это время наложило свою печать, и другого выхода нет.

Мой дублер — Мира. Мирка. Ей девятнадцать лет. Из нее вырастет хорошая певица. Я хочу, чтоб она пела лучше меня, намного лучше, и чтобы в Праге или Вене, в Париже или Милане к ее имени и фамилии прибавляли уйму ненужных букв. Я буду старушкой с седыми буклями, мне будет зябко, я накину пуховый платок, сяду в первом ряду партера и буду слушать голос Мирки.

Хорошо, что сегодня я вышла из гетто и сама все скажу Марии. Она будет рада, я знаю.

Певица Мария Блажевска…

В свое время мне говорили, что Мария Блажевска — это почти что Ина Липман, а ее уверяли, что Блажевска и Липман — это одно и то же. Мы встречались за чашкой кофе у нее или у меня — и дружно смеялись над тем, что нам говорили. Мы знали больше, чем другие, и потому нам было смешно.

Ей тоже трудно сейчас, но легче, чем нам.

Ей передали, чтобы ждала меня сегодня, и, наверное, она уже ждет. Мы так долго не виделись — полжизни! Она просила, чтобы я не приходила. Она еще не знает, чего я хочу, даже не догадывается, и поэтому я должна пойти к ней сама, сегодня меня никто не может заменить.

Сегодня генеральная репетиция. Наконец-то… Но сегодня, когда угаснет последний аккорд, надо выйти на сцену, высоко поднять партитуру и крикнуть:

— Вот опера, которую мы хотели! Вот «Жидовка»!

Именно сегодня.

Наши ребята где только не искали, но так и не смогли найти партитуру «Жидовки». Она есть у Марии. И вот я иду к Марии Блажевской просить «Жидовку».

Ее подарил Марии Арон Цвингер. Это был славный малый, настоящий друг. Конечно, Мария знала это лучше, чем кто бы то ни было. Она заказала специальную шкатулку, обитую красным бархатом, и маленький ключик от нее всегда носила с собой. Антикварное французское издание с пометками и автографом самого Галеви. Арон тогда продал все, что у него было, и купил Марии «Жидовку». Цвингера уже нет, но там, на титульном листе, остались две строчки, написанные его рукой.

Я думаю, как бы я поступила, если б Мария оказалась на моем месте и пришла ко мне за этой партитурой…

Нет, опять не могу себе представить. Я могу играть только на сцене. Время. Во всем виновато время. Человек может многое, очень многое, но он не может одного — удержать время, повернуть его, погнать вспять.

Имею ли я право идти к Марии?

Вот парадное, и я вхожу. Поднимаюсь на третий этаж, останавливаюсь перед дверью и звоню. Звучат торопливые, встревоженные шаги. Распахивается дверь. Передо мной Мария Блажевска… Боже, она взволнованна, у нее нет слов, но глаза горят, и я вижу, что она счастлива, помогая мне переступить свой низкий порог.

Вам интересно, что было дальше. Я понимаю. Но и вы должны понять, что бывает, когда встречаются две лучшие подруги, которые не виделись полжизни, полжизни не слышали голоса друг друга. Не поющего, а обычного, произносящего «день добрый», «здравствуй», «входи», «я», «ты». Когда встречаются Мария Блажевска, которая почти что Ина Липман, с Иной Липман, которая почти Мария Блажевска.

Мы говорили недолго, а может, мне только так показалось: чех дал всего час, и нужно было возвращаться. Надо было спешить и остерегаться. Многого остерегаться, но главное — евреям запрещено появляться на улице без желтых звезд на груди и на спине, тем более в одиночку и после шести вечера.

А этой ночью в гетто генеральная репетиция первой нашей оперы.

Я сказала, зачем пришла.

Мария только глянула на меня и выбежала в другую комнату. Она принесла партитуру, зачем-то полистала ее. Мне казалось, ее пальцы чуть-чуть дрожали, хотя это, должно быть, лишь показалось мне. Она открыла титульный лист, посмотрела на него, потом легонько потянула и тут же отпустила. Неужели она хотела вырвать эту страничку? Нет, мне, должно быть, показалось.

— Я бы не пришла к тебе, если б не…

— Ладно, Ина. Ты ведь знаешь, мы без слов понимаем друг друга.

— Видишь ли, Мария…

— Ничего не говори, Ина. Я начну плакать, и тогда… Лучше подумай, что сказал бы сейчас Арон.

— Мы будем беречь ее…

— Я знаю.

Мы простились.

Мария искала, что бы мне дать с собой, и наконец нашла — мешочек гороха. Я не хотела брать, но отказаться было невозможно.

Уже в дверях она взяла меня за руку и сказала:

— Знаешь, что я хочу? Собрать людей в большом зале, таком большом, чтобы там уместились все. И выйти на сцену и долго-долго петь им самые лучшие песни.

Я слушала, не дыша.

— И еще… Еще мне хочется, чтобы мы, две старушки, закутались в платок, сидели в первом ряду партера и слушали, как твоя Мирка, мировая знаменитость.

Тут я сказала:

— Не надо, Мария.

Я не могла больше слушать и ушла.

Теперь действительно никто не смотрел на меня, не оборачивался. Я никого не боялась, хоть и знала, что надо остерегаться.

Вот узкая уличка. Ворота гетто близко, возле них по-прежнему ходит чех, значит, я успела, надо только прибавить шагу. Еще быстрее. В конце пути время как бы останавливается, растягивается. Я бегу, и ворота уже близко, близко.

Вдруг я останавливаюсь и начинаю идти медленно, очень медленно. Зато время теперь спешит. Мы поменялись ролями. Как на сцене.

У ворот, рядом с чехом, стоит Шогер.

Все-таки он подстерег меня.

Я думала, сегодня его не будет, но он здесь, он улыбается, манит меня пальцем и ждет. Он, должно быть, счастлив, Шогер. Он давно хотел уличить меня в том, что запрещено под страхом смерти. А я только сейчас хватилась, что жакет с желтыми звездами висит на руке. Может быть, Шогер не заметил. Я могу еще надеть жакет, и тогда меня только высекут за горох. Может, только высекут… Но в жакет завернута партитура. Он увидит ее, с автографом Галеви, с двумя строчками Арона, и тогда сегодня, на генеральной репетиции, никто уже не выйдет на сцену и не крикнет:

— Ребята! Вот «Жидовка»!

Шогер может улыбаться. Его час настал. Совсем недавно, собственноручно обыскав меня, когда мы возвращались с работы, он сказал:

— Лично вы не существуете для меня. Мне плевать — живая вы или мертвая. Мне мешает только ваш голос, пока он не попал в мои руки. Надо полагать, это рано или поздно случится, и тогда вам несдобровать. Я, конечно, буду весьма огорчен. Но что поделаешь…

Почему я волнуюсь?

Теперь и в самом деле не стоит волноваться. Я не на сцене и не на глазах у людей. Надо думать и надо стараться, чтобы не дрожали руки, тогда и голос дрожать не будет.

Одной рукой я прижимаю к себе жакет, а другой встряхиваю мешочек с горохом. Все равно несдобровать мне сегодня: я без желтой звезды, и горох уже не имеет значения. Я накрасилась, а нам запрещена любая косметика.

Я иду твердым шагом, подняв голову. Я действительно могу уже никого не бояться, я обрела это право. Я встряхиваю мешочек, горох гремит, как тысяча кастаньет, и мне весело.

Я усмехаюсь.

— Вы довольны? — спрашиваю Шогера.

Он тоже улыбается.

Я гремлю горохом высоко, под самым носом у Шогера, и тысяча кастаньет взрывается тысячью залпов.

Он вырывает у меня мешочек и швыряет прочь.

— Жакет не мой, — говорю я. — Разрешите вернуть владельцу, и я к вашим услугам, господин комендант.

— Только быстро, — отвечает Шогер.

Я вхожу в гетто, всей спиной чувствуя обжигающий взгляд Шогера.

Мимо кто-то идет. Я не знаю кто, но кто-то знакомый. Поспешно сую ему в охапку жакет и говорю:

— Передайте Мирке Сегал. Вы знаете Мирку Сегал?

— Да, знаю.

— Передайте ей немедленно, хорошо? Это жакет Мирки, я одолжила у нее.

Теперь я свободна.

Я вижу, как ходят желваки на скулах чеха, как он скрипит зубами, словно жует железо. Не хватало еще, чтобы он сорвался. Все равно это ничего не даст. Пусть уж лучше он, а не другой караулит у ворот, пусть делает то, о чем просят его люди из гетто, и не видит того, чего видеть не надо. Его жизнь только начинается, и в ней будет еще много и добрых, и горьких минут, так же как у всех, как у каждого человека.

Я смотрю на него в упор. Он понял и хмуро отвернулся. Мне немножко жаль, что я не успела еще раз спросить его имя и фамилию. Они похожи на польские, а польские…

Я могла бы рассказывать дальше. У меня есть еще капля времени. Но я не стану рассказывать. Такие истории кончаются все одинаково, и это уже не интересно. Главное — чтобы был дублер. Я рада, что мой дублер — Мирка, Мира Сегал. Она будет большой певицей, моя Мирка…

### Глава третья

### Ход восьмой

#### 1

«Если я проиграю — будет плохо для всех, но я буду жить… Если выиграю — людям плохо уже не будет, но я должен буду умереть. Если я сделаю ничью — все будут довольны».

— Послушай, — прервал его мысли Шогер — Ты должен благодарить меня. Тебе бы в жизни не представился случай играть на глазах у такой аудитории.

Вокруг широким кольцом собралось все гетто.

Так приказал Шогер.

Толпа сгрудилась на площади и, слегка покачиваясь, молча следила за игроками тысячью глаз.

Исаак двинул пешку.

Шогер ответил сразу. Он, видимо, решил не терять времени.

«О чем он думает сейчас? — спрашивал себя Исаак. — О том, что должен выиграть… О чем еще? Столько людей кругом, и он победит! А я всем телом чувствую их взгляды, тысячи глаз. Они так и впиваются в меня. Люди знают, почему и на что я играю. Они хотят, чтобы была ничья… Ничья…

Я боюсь обернуться… Толпа мешает мне. Она запрудила площадь так же густо, как в тот день, когда люди, не подымая глаз, стекались в гетто.

Я не хочу, чтобы здесь была толпа…»

#### 2

Прошел месяц, целый месяц прошел с тех пор, как я впервые увидел Эстер. Наверно, я видел ее и раньше. Только мне в голову не приходило, что это она. Что эта девочка и есть Эстер-Либа, Либузя, Бузя.

Прошел месяц с того дня, как я действительно увидел ее и назвал Бузей. Месяц — не много времени, правда? Его и сосчитать-то трудно. Время — это зима, осень, год, век. Если б разделить меня на кусочки, все равно бы трудно было сосчитать месяц, как мы с Эстер считали по пальцам, сколько нам лет.

Так мне кажется.

На самом-то деле все иначе.

Месяц — это очень много. Если даже разделить меня на самые крохотные дольки, все равно их будет слишком мало, чтобы сосчитать это время. Я считал дни, часы, минуты, секунды.

Я говорю о времени.

Я знаю, можно говорить о другом, о жизни в гетто, про которую говорят: тяжкая жизнь. Можно говорить о нашей работе. Это тяжелая работа. Можно о том, как мы едим и что думаем.

Не хочу.

Каждый занят чем-то определенным. Кому положено ходить на работу, те ходят в лагерь. Хожу и я. Кто остается в гетто — тоже работают. Они заботятся, чтобы люди были одеты, накормлены и могли ходить в лагерь. Каждый занят своим и делает то, что должен делать.

Я такой же, как все.

Но никто не запретит мне вспоминать «Песнь песней» и думать о моей Бузе, об Эстер.

Каждый вечер после работы, если нет каких-то особых дел, я умываюсь и надеваю голубую свою рубашку. Я спешу к большому каменному дому и жду. Потом мы вместе идем во двор, туда, где длинное бревно и деревянный ящик. Я сажусь на бревно, Эстер устраивается на ящике. Она подбирает ноги и, обняв колени, прижимает к ним подбородок. И я доволен, я счастлив, что мы сидим вместе и что она сидит так, а не иначе.

Я закрываю глаза.

Я все забываю.

Я очень хочу, чтобы мы вышли на широкий цветущий луг, сели на мягкую траву и чтобы никого больше не было.

Нельзя.

Вокруг гетто — стена.

Ворота.

У ворот охрана. Нельзя.

— Изя, — спрашивает Эстер. — Неужели это навсегда?

Она и сама знает, но все же спрашивает, хочет, чтобы я сказал.

— Нет, — отвечаю я. — Людей не спрячешь за стеной. Каждую ночь, когда все кругом стихает, мне кажется, я слышу гром орудий. С востока и запада, с юга и севера. Немцев разобьют, и откроются ворота гетто.

Эстер молчит.

— А скоро? — спрашивает она погодя.

Я не знаю, но отвечаю так, как мне хочется:

— Скоро.

Так мы разговариваем.

А Янек недоволен.

Я вижу, ему хочется потолковать со мной с глазу на глаз.

Хочется, да все нет случая. Я не знаю, хочется ли мне. Но можно и потолковать, если надо.

Сегодня он подкараулил меня возле дома.

И вот мы одни, но Янек молчит. Мы оба о чем-то думаем, он и я.

— Ты — тот самый Липман, который играет в шахматы?

— Тот самый.

— С Шогером?

— С Шогером.

— Я так и думал, — говорит Янек. — Почему ты играешь с ним?

— Он приказывает.

— Только поэтому?

— Нет. Я заставляю его сдаться.

— Он что, ни разу не выиграл?

— Нет.

— И не было ни одной ничьей?

— Нет.

— Я знаю, ты свой парень, Изя.

— Я?

— Ты. Но все равно мы должны поговорить.

— Не люблю говорить о шахматах. Я мог бы сидеть дома и играть сам с собой, — говорю я. — А еще могу заставить Шогера сдаться, хотя с каждым разом мне трудней и трудней. Раньше было легко. А теперь я каждый раз боюсь проиграть. Но это не важно, я не люблю говорить о шахматах.

Янек смотрит мне в глаза.

— Нет, не о шахматах. Надо поговорить о другом.

— О чем, Янек?

— Обо мне. — Он опускает голову. — Не совсем обо мне. Обо мне только немножко.

Я не знаю, хочу ли этого. Но я соглашаюсь.

— Говори, Янек.

— Видишь ли… — говорит он.

И, остановившись, пинает камешек. Камешек круглый, гладкий. Наверное, можно представить, что это мячик, и поиграть в футбол. Я, допустим, стою на воротах, а Янек старается забить гол. Или он пригнулся и ждет в воротах…

— Видишь… — снова начинает Янек, и я понимаю, о чем разговор.

Может, он заговорит о себе, не знаю.

Может быть, о том, кто он и откуда.

Может быть, о чем-нибудь таком, что мне и в голову не приходит.

И все равно он будет говорить об Эстер.

Я не знаю, хочу ли этого, и говорю:

— Что ж ты молчишь?

— Видишь… — говорит он.

В третий раз повторяет Янек одно и то же слово.

— У нее был брат, — говорит Янек, — Мейер, мы все его звали Мейкой, и он был моим лучшим другом. Мы одногодки, выросли на одном дворе. Он говорил по-польски как поляк, а я по-еврейски не хуже его. Ты сам видишь, правда? Мы были такими друзьями… Объяснять я тебе не буду, сам должен понимать.

— Не объясняй, — говорю я. — Такие вещи каждый понимает.

— Я так и думал, — говорит он.

И замолкает.

— Ты помнишь тот день, когда всех загнали в гетто? — спрашивает Янек.

Спрашивает, и молчит, и снова спрашивает — глазами.

Я помню тот день. И хотел бы забыть, но помню. Он стоит у меня перед глазами, как развороченный взрывом мост. Тот мост — это и есть тот день. Я вижу его искореженные балки. Вижу пробоины в настиле. Мост забит идущими людьми. А внизу, у самой воды, вниз головой повис солдат. И наверху еще один — сидит как живой, привалившись к железной балке.

Я хорошо помню тот день. Он стоиту меня перед глазами, как взорванный мост.

— Я помню мост в тот день, — говорю я. — А ты?

— У меня перед глазами узкая уличка, — говорит Янек. — И уличка вся запружена, забита людьми до отказа, как тот мост.

— Янек, а тогда уже были желтые звезды?

— Были. Разве такое можно забыть?

Я опускаю голову.

— В тот день… — говорит Янек.

Вроде обычным голосом, но скулы его обтягиваются, кожа на лбу становится серой, а зубы скрипят. Мне кажется, будто Янек откусывает каждое слово и от этого ему трудно говорить.

Его родителей уже не было, рассказывает Янек. Они в тридцать девятом поехали в Варшаву, в гости, и больше не вернулись. Он жил с дядей, но целыми днями пропадал у Мейки и Эстер.

Все уже знали: будет гетто.

— Ты слышал, что общаться с евреями запрещено? Тебя сцапают и угонят в Германию.

Так сказал Янеку дядя.

Янеку было худо. Янек ходил, понурив голову, потому что Мейка со звездами, Эстер со звездами, а он — без ничего. Тогда Янек достал желтый лоскут и нашил на свою одежду шестиконечные звезды. Это было в тот день, утром.

— В тот день… — снова говорит Янек. — Мне все не верилось, что будет гетто и что нас с Мейкой и Эстер разлучат…

В тот день…

Так говорит Янек. Кажется, голос такой же, как всегда, но лоб совсем уже серый, и слышно, как он скрипит зубами.

В тот день во двор зашел немец. Там, на дворе, он увидел Эстер. Он двинулся прямо к ней. Он улыбался и манил ее пальцем. Она все пятилась, пятилась, хотела бежать от него. Тогда немец крикнул, и она остановилась.

— Ком хир, ком хир, кляйне юдин, — сказал немец.

Он схватил ее за руку и поволок в сарай.

Эстер кричала, звала на помощь.

Янек искал, чем бы ударить немца, но ничего такого не было под рукой. Тогда он бросился на кухню, схватил топор. Но Мейка уже вошел в сарай. Вошел без ничего, с голыми руками, стиснув кулаки. Он хотел задушить немца. Он сам не знал, что он хотел сделать.

Когда Янек выбежал с топором, он услышал три выстрела. Немец вытолкал из сарая тело Мейки.

Янек был осмотрительнее.

Он обошел кругом.

Он шел осторожно, на цыпочках.

Немец у самой двери, тут же, на пороге, повалил Эстер и срывал с нее платье. Одной рукой зажал ей рот, а другой стягивал одежду. Он сидел на ногах Эстер, откинувшись назад.

Немец сидел очень удобно. Янек взмахнул топором и со всей силой ударил немца по черепу.

Я молчу.

Что я могу сказать?

Мне хочется крикнуть: «Эстер, Бузя моя!» Но говорить сейчас невозможно. Надо молчать.

— В тот день… — говорит Янек.

Мы идем дальше. Янек и я. Круглого камешка уже нет. И хорошо. Это вовсе не мячик, и мы не футболисты. Ни я, ни Янек не стоим на воротах. И он не рвется к моим, а я — к его воротам. Нет никаких ворот.

— В тот день ты вместе со всеми пошел в гетто, — говорю я.

— Да, — говорит Янек, — я пошел. Я не мог бросить Эстер одну, не мог оставить ее отца и мать. И Мейку. Я не мог его бросить. Я хотел, чтобы Мейка был там же, где все. Я хотел, чтобы он всегда был со мной. Видишь, что было в тот день.

Лоб его по-прежнему серый, скулы обтянуты.

Я не хочу, чтобы лоб у Янека был серый и зубы скрипели.

Я должен что-то сказать ему, но не нахожу слов.

— Ты большой человек, Янек, — наконец удается мне выговорить.

Но он даже не улыбнулся. Я думаю о том, что Янек не обязан жить в гетто. Он мог бы быть свободным. Мог бы ходить по всем улицам города, даже по тротуару, мог бы получить документы на свое имя. Он мог бы пойти за город, в лес. Мог бы выйти в поле, на большой широкий луг. Сидеть посреди луга на мягкой травке, собирать цветы, а потом лежать на спине и смотреть в небо. Небо синее-синее, с белыми облаками-лодками. А кругом пахнет трава, и все вокруг…

Я тихонько трогаю звезду, пришитую на груди у Янека. Все уголки пригнаны крепко, по инструкции. А материал обычный, только желтого цвета. Из такой материи можно сделать косынку, можно сшить рубашку или еще что-нибудь…

Янек смотрит на меня своими глубокими глазами. Смотрит рассудительно, как старик.

— Ты чудак… — говорит мне Янек. — Ты большой шахматист… — говорит Янек спустя минуту. — Но ты еще многого не знаешь… — продолжает он и улыбается.

Я только слушаю и смотрю на него во все глаза.

— Ты думаешь, что гетто — только в гетто, — говорит мне Янек. — Напрасно ты так думаешь, Изя. Там, дальше, — тоже гетто. Только и разница, что наше гетто огорожено, а там — без ограды.

Я снова хочу сказать: «Ты большой человек, Янек».

Но я молчу.

Мы оба молчим.

Мы идем и идем.

Я сам не знаю куда.

Янек опять заводит разговор.

— Нам надо поговорить, Изя, — начинает он.

Этого я уже совсем не понимаю.

— Мы же поговорили, — отвечаю я. — Что еще ты хочешь сказать?

— Я ничего не сказал еще, Изя. Видишь…

Снова «видишь». В который раз за этот вечер?

— Видишь… — говорит Янек и опускает глаза. — Я хотел бы тебе сказать… Я хочу попросить тебя… Ты не обидишь Эстер? Мейки нет, и я теперь ее брат.

Я не знаю, что ответить. Я словно онемел.

— Я за нее жизнь могу отдать, — говорит Янек. — Ты не обижай ее, Изя. Она… такая… сам знаешь…

Что с ним? Зачем он говорит мне это? Я мог бы сказать ему, что я — Шимек, а Эстер — Бузя. Мы с ней Шимек и Бузя. Разве Шимек может обидеть Бузю?

Я мог бы это сказать, но говорю совсем другое:

— Я мог бы и обидеться, Янек. Я мог бы даже подраться с тобой, если б ты не был ее братом. Как ты можешь такое думать? Тебе не стыдно, Янек?

Он еще ниже опускает глаза, нагибает голову.

И широко, по-детски широко улыбается.

Потом Янек вскидывает голову. Он не смотрит на меня, но я вижу, как вздрагивают его ресницы — он жмурится, словно в чем-то виноват, и хочет просить у меня прощения.

— Конечно, — говорит Янек. — Я давно знал, что ты хороший друг и не сделаешь ничего плохого. Но все-таки я должен был поговорить с тобой. Правда, Изя? Ведь мы должны были поговорить, да?

— Поговорить надо было, — подтверждаю я.

— Видишь…

Так говорит Янек.

— Ладно, — говорю я. — Побегу. Мне надо торопиться.

— Беги, — говорит он.

— Правда, мне очень нужно.

— Беги, беги.

— Увидимся завтра.

— Ладно, завтра. Беги, беги. Она уже там, дожидается тебя. Я знаю… беги, беги.

Янек смотрит на меня глубокими синими глазами. Он расстроен? Нет, не может быть. Мне только кажется. Он ведь знает, что я никогда не обижу его сестру.

«Бузя!..» — мысленно кричу я и бегу.

Я тороплюсь, я очень спешу.

Мне действительно надо очень, очень спешить.

### Глава четвертая

### Ход двенадцатый

#### 1

«Я должен сделать ничью», — думал Исаак.

Шогер придвинул кресло, облокотился на столик поудобней и сцепил пальцы.

Ход был не его.

— Послушай, — сказал он и снова прищурился, как перед началом игры. — Ты абсолютно не волнуешься?

Исаак не ответил.

— Все же я не думаю, чтобы человек сохранял спокойствие в такой игре, где можно проиграть самого себя.

Исаак молчал.

— Ты заставляешь меня осторожничать. Представь себе, что я зевну и ты ненароком влепишь мне мат. Понимаешь, чем это грозит?

«Он мешает мне думать, но я все вижу… Если пожертвовать пешку, мой конь выйдет в центр и будет стоять как вкопанный, его уж не выкуришь оттуда. Пока что я играю неплохо… Надо свести вничью…» Шогер понизил голос и заговорил тихо, почти шепотом:

— Что было бы, если б я сидел на твоем месте, а ты — в этом кресле… Признаться, я бы изрядно поволновался. О! Боже мой… К счастью, такого быть не может. Не правда ли?

«Да, такого не может быть, но я должен думать не об этом. Надо все забыть. Почему я не могу забыть обо всем на свете? Потому что Шогер сидит в своем кресле и думает, что ему принадлежит мир? Весь мир — его? И он, Шогер, волен делать с миром все, что взбредет ему в голову?»

#### 2

— Я родил дочь Рахиль, — сказал Авраам Липман.

#### 3

Окно палаты было распахнуто. Легкий ветерок шмыгнул сквозь марлевую занавеску, обежал всю комнату, торопливо ощупал койки и прохладными своими пальцами коснулся горячего лба Рахили.

Хорошо, когда душным летним полднем проникает в палату легкий ветер, разгоняя застоявшийся запах эфира и освежая женщину, которая родила пять дней назад.

Мальчик был ненасытен. Он высосал одну грудь, тугую, полную, и ему было мало. Рахиль вынула вторую и сунула ему в рот набухший сосок, побуревший, сочный, как спелый плод. Ребенок стиснул грудь и зажмурил узкие серые глазки. Он жевал торопливо, больно, как бы прикусывая маленькими тупыми щипчиками, но Рахиль не застонала, не вздрогнула.

У него было морщинистое, как у старика, личико, узкий носик, а волосы и ресницы — белые. Они казались седыми на розовой коже.

Рахиль зажмурилась. Ей хотелось, чтобы прошел уже месяц или два, чтобы можно было высвободить руки сына, чтобы эти руки сами искали материнскую грудь и сжимали бы, и ходили по ней крохотными розовыми пальчиками.

«Не важно, что болтают люди, они ничего не знают, — думала Рахиль. — Не важно, что волосы у него длинные и светлые, а у меня и Давида — черные как смоль».

Она нагнулась, мягко коснулась губами маленького морщинистого лобика. Синяя жилка на виске младенца быстро вздрагивала, билась, словно куда-то спеша.

«Моя плоть и кровь, — думала Рахиль. — Придет время, кончится война, мы будем жить и вырастим сына. Сын! Моего сына они не тронут. Его никто не смеет тронуть. Они сами разрешили родить, его не тронут».

— Давид, Давид? — шептала Рахиль. — Ты хотел сына, правда?

— Да, Рахиль, я хотел сына.

— Ты хотел, чтобы в мире остался человек, который будет носить твое имя?

— Нет, Рахиль.

— Ты хотел сына, потому что твой отец имел сына? Потому что отец твоего отца имел сына и отец его отца тоже?

— Нет, Рахиль.

— Я знаю, Давид, дочь тянется больше к матери, а сын — к отцу. Ты хотел, чтобы наш ребенок был ближе тебе?

Тишина…

— Почему же ты хотел сына, Давид? Потому что нашего Мейшале увезли в Понары?

Тишина…

— Скажи, Давид, а то уж я и сама не знаю почему. Хоть я тоже хотела сына. Говори, Давид.

— Я хотел, чтобы у нас был сын от нашей любви. Мы ведь так любили друг друга, Рахиль, и должен был родиться сын. Неужели ты не понимаешь?

— Я понимаю, я то же самое говорю, Давид. Но почему ты не можешь взять в свои сильные руки нашего маленького сына?

Тишина…

— Ты не сердишься, что нос у него такой узкий, непохож ни на мой, ни на твой? А глаза серые. Твои карие, мои синие, а у него — серые. Почему они серые, Давид?

Тишина…

Окно было открыто. Ветер подкрался, и его прохладные пальцы снова ощупали влажный, горячий лоб Рахили. Живой красный комочек, туго стянутый пеленками, больно жевал грудь маленькими тупыми щипчиками.

Рахиль откинулась на подушку. Она хотела плакать, но глаза были сухие, без слез. Трудно плакать без слез, тем более женщине, которая родила пять дней назад. Во рту было сухо, в горле сухо, все пересохло у нее внутри.

Она прижимала к груди запеленатого младенца и шептала тихо-тихо, как легкий ветерок в марлевой занавеске:

— Моя плоть, моя кровь… Моя плоть и моя кровь…

Палата была самой маленькой в больнице гетто: три шага вдоль и два поперек. Здесь стояли всего две койки. На второй лежала Лиза, девушка лет восемнадцати. Она тихо постанывала. У нее были трудные роды. Она болела перед родами, была больна и теперь.

Обе очутились в этой палате неделю тому назад. Прежде они не знали друг друга. Рахиль жила в гетто, а Лизу доставили из лагеря, который назывался «Фэл». Лиза родила вчера и еще не видела своего ребенка. Она была очень слаба, совсем не разговаривала, только тихо стонала. Впрочем, она и раньше-то не вступала в разговоры, все спала или делала вид, что спит. Она сказала лишь, что зовут ее Лиза, что она из лагеря «Фэл» и что евреи там живут точно так же, как и здесь, в гетто.

Рахиль спросила у Лизы:

— Из вашего лагеря тоже возили детей на прививки?

Лиза кивнула.

— Так и Мейшале моего увезли. Откуда мне было знать?

Да, тогда еще никто не знал.

Приехал большой автобус, желтый, с красной полосой и светлыми окнами. В гетто такого не видели. Если и приезжал, то черный фургон без окон.

Из автобуса вышел Шогер.

— Матери! Слушайте, матери! — крикнул он. — В городе эпидемия дифтерита. Ведите своих детей, мы свезем их в военный госпиталь и сделаем прививки. Вы прилежно работаете, и я не желаю, чтобы ваши дети умирали. Ведите своих детей, женщины!

Автобус был красивый, желтый, с красной полосой, совсем непохожий на черный фургон без окон.

Когда Давид вернулся с работы, он уже не нашел сына.

Лиза слушала молча, только глаза горели.

— Видишь, — говорила Лизе Рахиль, — теперь я снова рожу. Если будет сын, я снова дам ему имя Мейшале.

— Мейшале, — шептала теперь Рахиль, прижимая губы к морщинистому лбу младенца. Она повернулась к Лизе, посмотрела на ее запекшийся рот и сказала: — Потерпи. Потерпи чуточку. У меня вторые роды, мне легче. А ты впервые. Первые роды — трудные.

Лиза тихо стонала.

— Ты должна быть счастлива, — сказала Рахиль. — Ведь в гетто запрещено рожать. Все дети, рожденные в гетто, должны быть уничтожены, ты знаешь. А нам разрешили. Понимаешь? Только десяти женщинам на весь город, так сказали они тогда. Ты должна быть счастлива. Потерпишь, постонешь, зато потом будет хорошо. Они не тронут наших детей, раз уж позволили родить. Фронт все ближе, и они хотят задобрить людей.

— Я не хочу ребенка, — отозвалась Лиза. — Я хочу, чтобы он был мертвый. — Она улыбнулась, и трещины у нее на губах разошлись. — Видишь, как долго не несут, наверное, мертвый. Я буду землю целовать, если это случится.

— Молчи! — испугалась Рахиль. — Ты проклинаешь родное дитя. Ведь тебе полегчало. Разве сравнить твою боль сейчас с той, что была при родах? Ты должна быть счастлива, а ты… Да не услышит тебя ни Бог, ни судьба.

Ее Мейшале выпустил грудь, уснул.

Мерно постукивал крючок в оконной раме. Марлевая занавеска прогибалась, как парус. И небо было синее, как море в Паланге. Хорошо бы встать, пробежать по песчаному берегу, крепко держа Мейшале за руку, а потом, стоя у самой воды, разгребать выброшенные морем водоросли и выискивать маленькие золотые глазки янтаря.

— Давид, — тихо шептала Рахиль, — у нас снова есть сын. Он лежит на моей груди и дышит, как лебяжий пух. Ты видишь?

Тишина…

— Он будет жить дольше и лучше, чем мы. И ребенок Лизы будет жить. Она слишком молода еще и сама не знает, что говорит. Человек в таких муках приходит на свет, он должен жить.

Тишина…

— Ты больше не говоришь со мной, Давид. Я знаю, тебя тоже увезли в Понары. Но я не видела, как тебя убили, и ты живой у меня перед глазами. Ты ведь хочешь быть живым?

— Да, хочу.

— Тебе было очень больно?

— Нет, не очень. Ведь я жив.

— Да, только ты далеко. Зато Бог или судьба послали нам сына и позволили родить его. Прошла всего неделя, как тебя не стало. Я сама еще не знала. Меня отвели в больницу, там были какие-то профессора из Берлина, они осматривали меня, потом обследовали целых две недели. Но это не важно. Они сказали, что я буду матерью, и Шогер позволил мне родить в гетто. Только десяти женщинам во всем городе разрешили родить. Ты доволен?

Тишина…

— Я ходила с большим животом и знала, что будет сын. Мне не надо было прятаться: я гордилась своей долей и страшилась ее. А люди… Что люди болтают, не так уж важно. Они завидуют, я понимаю их, я сама бы слепо завидовала. Правда?

Мерно постукивал крючок оконной рамы, ветер надувал занавеску, как парус, и безоблачное небо было синим, как море в Паланге.

Лиза уже не стонала. Она повернулась на левый бок и, глядя пылающими глазами на Рахиль и ее сына, тихо повторяла:

— Мой будет мертв, я знаю.

— Перестань, Лиза, побойся Бога и людей. Тебе уже не больно, ты не стонешь, и говорить такое — страшный грех.

Дверь открылась, вошла сестра, внесла что-то малое, спеленатое, молчащее, протиснулась к Лизиной койке. Она молчала, они все молчали, три женщины, только стучал крючок оконной рамы, вздымалась занавеска-парус, да многопалый ветер по-прежнему гулял по тесной палате, овевая лоб, обвивая шею, остужая грудь.

Лиза оперлась на руки, медленно села, вжалась в подушку.

Она впрямь еще молодая, эта Лиза. Совсем девочка. Личико мелкое, щеки бледные, впалые, каштановые волосы разметались — вся словно миниатюрный портрет в широкой раме. Только губы вспухшие, запекшиеся и глаза большие, яркие, как два фонаря, с высокими, удивленными ниточками бровей.

Она действительно слишком молода. Совсем девочка. Только из расстегнутой рубахи выглядывает уже не девичья грудь, сочная, набрякшая молоком, с тугими коричневыми сосками, похожими на спелый плод.

Лиза протянула руки и взяла запеленатый комок из рук сестры.

Взяла с дрожью: живой или мертвый?

— Мальчик, — обронила сестра и вышла.

Как лебяжьим перышком, щекотал Мейшале своим частым дыханием грудь Рахили, и Рахиль сказала, глядя на Лизу и на ее дитя:

— Видишь, живой. Твоя плоть и твоя кровь.

Лизу всю колотило.

— О Боже! — простонала она.

Из пеленок двумя серыми бессмысленными глазками глядело морщинистое, как у старика, личико, узкий нос, белесые брови, ресницы и длинные белые волосы, казавшиеся седыми на красной коже.

Лиза отдернула руки, словно ожегшись вдруг, торопливо застегнула рубаху.

— Смотри, — сказала она Рахили, не смея прикоснуться к запеленатому глазастому комку. — Смотри, живой!

Рахиль смотрела, смотрела и, не выдержав, отвернулась.

«Не важно, не важно, что болтают люди…» И все-таки она спросила:

— Твой муж светлый, правда? Блондин, да?

Лиза отрицательно закачала головой и качала долго, словно не в силах остановиться, потом тихо проговорила:

— У меня нет мужа. Я еще не знаю, что такое мужчина. Я только раз в жизни поцеловалась. Но ведь от этого детей не бывает.

Кровь ударила Рахили в лицо, забилась в висках, как ставни на ветру, но она глотнула слюну и медленно спросила:

— Лиза… Ты бредишь, Лиза?

Лиза все качала, качала головой.

— Ты думаешь, люди не зря говорили? Лиза?

Лиза кивнула, а потом все кивала, кивала…

— Да… Это искусственное… — сказала она. — Я знала тогда, девять месяцев назад. Теперь опять будут нас исследовать, будут делать новые опыты — с нами и с этими, что родились. Я знаю немецкий, я уже тогда поняла…

Выгнувшись, застыла занавеска. Так застывает парус, когда ветер дохнет последний раз и стихнет: парус плеснет, обмякнув, повиснет, уже мертвый. Застыло и небо, это синее море. Оно удалялось, удалялось, могло бы совсем исчезнуть, но крючок безостановочно стучал и стучал в оконной раме и где-то в груди, наверное, в самом сердце.

Рахиль смотрела на своего ребенка и на ребенка Лизы — не ее ребенка и не ребенка Лизы. И впрямь близнецы. Белобрысые, с одинаково бессмысленными серыми глазками, у обоих узкий, острый нос и красные старческие морщины. Как инкубаторные цыплята — сплошь белые.

— Чужое семя и чужой плод… — сказала Рахиль. — Чужое семя, чужой плод. Боже!.. Они позволили нам родить!

Комната кружилась у нее перед глазами. Оконное стекло дрожало, сворачивалось в синеватый цилиндр, и там, в прозрачной синеве, скрючившись, плавал, бултыхался ребенок-неребенок, мейшале-немейшале…

Рахиль протянула руки, не глядя, двумя горстями нащупала тонкую шею и стиснула. Живой сверток захрипел, и Рахиль разжала пальцы. Ей было страшно, ее мутило.

Тогда она выпрямила ноги, положила рядом этот живой комок, накрыла подушкой и навалилась на нее всей грудью, тяжелой, налитой грудью с тугими, набухшими сосками, побуревшими, как спелый плод.

— Чужое семя и чужой плод, Лиза. Ха-ха-ха! Лиза, ты слышишь?

— Слышу! — ответила девушка, восемнадцатилетняя, которая только раз в жизни целовалась.

А потом Рахиль шептала. Тихо-тихо, как многопалый ветерок в занавеске, как легкое перышко, самый нежный лебяжий пух.

— Давид, ты слышишь меня?

— Я слышу, Рахиль.

— Ты не хотел сына, правда, Давид?

— Я не хотел, Рахиль.

— Такого ты не хотел, я знаю.

— Да, не хотел.

— Постой… Погоди, Давид… А вдруг это настоящий?! Вдруг это наш, Давид? Ты молчишь… Хорошо, молчи. Ты видишь, я еще крепче давлю на подушку. Видишь?

— Да, вижу.

— Я знаю, ты доволен.

— Да.

— Ты еще придешь когда-нибудь, скажи?

Тишина…

— Давид! Приходи… Приди, Давид!..

Многопалый ветер теребил занавеску и мерно постукивал крючком оконной рамы.

### Глава пятая

### Ход тринадцатый

#### 1

Шогер принял жертву.

Он знал, что Исаак волнуется, и ему было приятно, смахнув с доски эту пешку, чувствовать себя более уверенно и ждать, когда противник сдастся.

Сегодня его день.

Сегодня он должен одержать двойную победу: выиграть партию и не проиграть партнера.

Вокруг немым кольцом стояла толпа, которой было суждено ощутить эту победу на своей шкуре.

Такой партии, как сегодня, еще не было.

— Ты знаешь, почему действительно невозможно, чтобы ты сидел в моем кресле, а я — на твоей табуретке?

Исаак не ответил.

— Если не знаешь, могу сказать. Шахматные фигуры — сухие деревяшки, но чем-то похожи на людей. Есть только один король, второй должен сдаться. Мы, арийцы, — короли, которые побеждают. Мне очень жаль, что ты из тех, кому суждено проиграть.

Исаак молчал.

— Понятно? Это азбучная истина, и поэтому каждый из нас сидит на своем месте. Ты — на табуретке, я — в кресле. Иначе и быть не может.

«Я не слышу, я не желаю слышать, что он там болтает. Пусть разглагольствует — знает ведь, что никто не смеет возразить.

Он — король…

Его слово — закон.

Мое дело — шахматы.

Плохо, что я не имею права ни выиграть, ни проиграть, ничья… Бывает ли она вообще? Вскочить бы, смахнуть фигуры и убежать отсюда на широкий цветущий луг…»

#### 2

В гетто нет цветов. Цветы запрещены. Приносить их тоже нельзя. Запрещено.

Почему цветы под запретом?

Этого я никак не могу понять. Будь я самым последним негодяем, я бы и то не запрещал сажать цветы. Люди мигом отыщут семена, найдут клубни. Долго ли раскопать тротуар под окошком, очистить двор от камней… И закивают тяжелыми головками яркие пионы, стройные лилии, будут терпко пахнуть тонконожки-настурции. Много-много цветов, будто рассыпанных щедрой рукой.

Если б даже я был самым последним негодяем и запретил цветы, я бы все-таки не запрещал приносить их с полей и лугов, когда люди возвращаются из рабочего лагеря. Колонны шагают по городу, усталые, но не видно опущенных голов. Над колоннами сплошь цветы, множество букетов, и можно подумать, что людей вовсе нет. Просто вышли погулять цветы. Торопиться им некуда, могут двигаться медленно, не спеша. Еще только пять часов, и до шести они наверняка успеют в гетто.

Насчет оружия все ясно. Об этом можно не говорить.

Я понимаю, почему запрещено приносить в гетто продукты. Шогер хочет, чтобы мы голодали.

Понимаю, почему не разрешается приносить одежду. Они хотят, чтобы мы ходили в рванье, чтобы нам было холодно.

Но почему Шогер запретил цветы?

Этого я не могу понять.

Цветок. Хрупкий стебель, яркая чашечка.

Кто может запретить цветы?

Мы с Эстер сидим на своем дворе. Я — на бревне, она — на деревянном ящике. Мы смотрим в глаза друг другу и молчим. Эстер нагибается, выискивает пробившуюся меж камней зелень. Она выбирает одну травинку и, нашептывая что-то, обрывает крошечные веточки. Листьев мало, поэтому Эстер не спешит. Острыми ногтями аккуратно отщипнет листик, подержит его на ладони, потом отпустит. И он летит, порхает малой птичкой.

Я знаю, что нужно Эстер.

Эстер нужна ромашка. Эстер хочется держать в руках этот полевой цветок, отрывать его белые лепестки и шептать что-то так, чтобы я не слышал.

Она работает здесь же, в гетто, помогает родителям — она санитарка. Эстер давно не была в полях и, наверно, забыла, как выглядят цветы. Но все равно ей хочется держать в руках ромашку. Я знаю. Она сама сегодня белая, как ромашка.

— Не смотри на меня, — говорит Эстер. — Я бледная, да? Ничего, поправлюсь. Папа делал операцию мальчику. Обычно все дают кровь, ничего особенного. А сегодня понадобилась моя группа, и отец позвал меня. Он говорит, что нельзя брать так много крови сразу, но ведь я здоровая, со мной ничего не будет. Мальчик был совсем плох, а теперь он наверняка поправится.

Она смотрит на меня, но я молчу, ничего не говорю.

— Тебе не нравится, что я такая бледная? Да? Ты сердишься?

— Что ты? Как я могу сердиться, если твоя кровь понадобилась этому мальчику.

Я закрываю глаза, и мои мысли уже далеко отсюда. Мне кажется, будто мы с ней идем, идем куда-то по высокой траве и выходим на широкий луг. Эстер сидит, упершись руками в землю, а я бегаю по лугу и собираю цветы. Их много-много. Белые, желтые, розовые, синие; одни цветы нежно пахнут, другие позванивают своими колокольчиками. Я нарвал уже полную охапку, а мне все мало.

— Шимек!

Так зовет меня Бузя.

— Иду! — говорю я.

— Довольно! Шимек!

— Еще два, еще один — и довольно.

— Хватит… Пусть растут… Они такие красивые…

— Ладно, хватит.

Тут я слышу:

— Изя…

Я открываю глаза. Вижу наш двор, мощенный булыжником. Я сижу на бревне, а Эстер — на деревянном ящике.

Мы возвращаемся с работы. Скоро покажутся ворота гетто, и сердце стучит неровно. То забьется часто-часто, то остановится, потом стукнет раз и опять замрет.

У меня за пазухой цветы.

Я попросил часового, и он разрешил мне подойти к лугу, а луг весь пестрел ромашками, похожий на зеленую скатерть в белых пятнах с желтыми крапинками. Я рвал их горстями, вместе с травой. Мне казалось, я унесу весь луг. Потом спохватился, что луг унести нельзя. И почти все бросил. Бросать было жалко, но я мог оставить только маленький букетик, поэтому он должен быть очень красивым, из самых отборных ромашек.

Мы возвращаемся домой. Вот уже видны ворота гетто, и мое сердце стучит неровно: то вдруг забьется часто-часто, то остановится, потом стукнет раз и опять замрет.

Мужчины разозлились, увидев мои цветы. Я знаю, в другой раз никто бы и слова не сказал. Но сегодня они правы. Сегодня в гетто несут немецкий автомат, который удалось украсть на складе, где мы работаем. Два дня разбирали автомат на части и прятали. Что могли разобрать — разобрали, что не смогли — сломали. Ничего, в гетто есть слесаря, починят. Сегодня мужчины распределили все это между собой и несут в гетто.

Я знаю, почему они злые. Если я попадусь с цветами, немцы могут устроить такой обыск, что найдут у кого-нибудь деталь автомата.

Я так просил! Я не мог иначе. И они умолкли, больше ничего не говорили, только поставили меня в самый конец колонны.

Мы уже в воротах.

Сердце замерло.

У ворот сам Шогер.

Мне холодно. Мне кажется, что его глаза, острые, как иглы, проникают сквозь куртку, впиваются в хрупкие ромашки. И я, не выдержав, подымаю руки к груди, заслоняю цветы.

Колонна уже в гетто, все прошли, а Шогер смотрит на меня и подмигивает.

— Ну, сеньор Капабланка? — спрашивает Шогер и принимается обыскивать меня.

Он распахивает мою куртку, вытаскивает рубашку из-под ремня — и на землю сыплются цветы.

— О! Хо-хо! — удивляется Шогер. — Так много? Куда тебе столько?

Я молчу.

— На первый раз достаточно пяти, — кивает Шогер Яшке Филеру.

Цветы он пинком вышвыривает за ворота.

А мне говорит:

— Сам понимаешь… Ты мой партнер и все такое прочее. Однако закон есть закон. Ничего не поделаешь, не имею права.

Он кивает на меня часовому:

— А? Вы каждый день обыскиваете его? Надо, надо. Закон есть закон, это сильнее нас.

Яшка Филер — палач.

У Яшки тройной затылок и красные, заплывшие жиром глазки. Шогер кормит Яшку как на убой, и руки у него толстые, как колоды.

Яшка Филер показывает на скамейку. Я ложусь и сам говорю ему:

— Быстрее…

Филер не понимает. Он смотрит на меня, таращит свои крысиные глазки.

— Быстрей! — говорю я.

Откуда ему знать, этому Филеру, палачу, что я думаю. Он привык бить других, чтобы не били его. Где ему знать…

А я так спешу… Я боюсь, чтобы не увидела Эстер. Ведь она может проходить мимо и увидеть, или Янек может увидеть и потом рассказать, или ее родители могут оказаться поблизости от ворот, где я лежу и палач отсчитывает пять ударов.

— Быстрее, — тороплю я палача.

Он работает на совесть.

Он слишком сыт и думает, что плеть — это самое страшное на свете.

Неправда!

Что такое плеть? Витая кожа снаружи и стальной прут внутри.

Ну и что ж такого? Тоже мне, самое страшное.

Кожа да железо.

Мы возвращаемся с работы.

Сердце стучит, стучит.

Позавчера отняли мой букет, вчера — тоже. Неужели и сегодня?

Сегодня я иду в голове колонны. Мужчины хотят попробовать: может, мне удастся проскочить. Они напирают с улицы так, что трещат ворота. Мужчины хотят протолкнуть меня в гетто, хотят, чтобы я прошел со своим букетом.

Часовой орет. Шогер тоже. Он снова у ворот. Мужчины замешкались. Они уже не напирают. Сегодня они распределили по частям два автомата, и кто знает, чем это кончится.

— Ну, — обращается ко мне Шогер. — Теперь ты, надеюсь, стал умнее.

И обшаривает меня до последней нитки.

— Пятнадцать! — орет он и швыряет цветы за ворота.

Но еще не отпускает меня.

— Вот видишь, — с грустью говорит Шогер. — Я хотел бы сыграть с тобой сегодня партию или две, а ты все испортил. Нехорошо… Сидеть ты теперь не сможешь, а стоя — какая же игра?

Эй, ты! — кричит Шогер палачу, и голос его еще печальнее. — Бей по ногам и спине, чтобы он мог сидеть. Половину по ногам, половину по спине. Что? Не делится пополам? Ладно, пусть будет четырнадцать!.. Нехорошо, очень нехорошо, — говорит мне Шогер. — Капабланке не приходилось так, сам понимаешь. Однако — закон! Все мы рабы закона.

Я лежу на скамье. Сегодня это слишком долго. Четырнадцать.

— Быстрей, быстрей! — прошу я палача.

Он засучивает рукава.

Колонна проходит. Все в порядке.

Может быть, даже лучше, что меня поймали? Шогер был занят, и остальных уже почти не обыскивали… Может, это в самом деле к лучшему? Ведь до сих пор мужчины обходились без меня, хоть бы раз патрон дали пронести…

…девять, десять, одиннадцать…

— Быстрей, быстрей…

Колонна уже в гетто. Но люди не расходятся, чего-то ждут.

…тринадцать, четырнадцать. Все!

Если постараться, совсем не трудно встать.

Шогера уже нет, часовые по ту сторону ворот, палач тоже уходит. Ему что — отмахал свое и гуляй до завтра.

А колонна, распавшаяся, растянувшаяся, ждет.

Я иду — и мужчины идут со мной. Останавливаюсь — и все останавливаются. Мы отходим подальше, за угол высокого дома, и мужчины обступают меня со всех сторон. Они вынимают что-то из-за пазух, из-под расстегнутых рубах. Вынимают осторожно, как мотыльков, чтоб не поранить крылышки.

У меня рябит в глазах. Я вижу луг: зеленую скатерть, белые пятна, желтые крапинки.

— Бери, — говорят мужчины. — Бери скорее. Ты думаешь, у нас есть время стоять тут с тобой?

Они дают мне цветы, и я собираю их в букет. Каждый дает всего по одной ромашке, но они такие красивые, крупные и ничуть не помялись. Букет… Большой, мне бы никогда не собрать такого. Никогда.

Я подымаю голову, но мужчин уже нет.

Я стою один, с большим букетом.

Прихожу домой. Ставлю цветы в воду, медленно умываюсь. Надеваю свою голубую рубашку. И снова бреду на другой конец гетто, к большому гладкому порогу.

Лицо Эстер еще бледное, белое и сливается с ромашками.

Мы идем в наш двор.

Мне можно сидеть, и я сажусь на бревно, а Эстер забирается на свой деревянный ящик. Она раскладывает букет: сама в середине, вокруг — цветы.

— Это не я, — говорю я Эстер. — Это все, кто со мной работает. Каждый принес по одной ромашке, и видишь, как много цветов?

Она молча кивает. Когда Эстер встряхивает головой, ее пепельные волосы колышутся, как вода в реке, как спелые хлеба в поле.

Эстер выбирает самый большой цветок, держит его в руках и смотрит на меня. Почему она так долго смотрит, не притрагиваясь к лепесткам ромашки?

— Мы уже большие? — спрашивает Эстер.

— Конечно, — говорю я.

— Мы почти что взрослые, правда?

— Конечно, правда.

— Ведь нам с тобой уже тридцать три с половиной…

— Нам с тобой уже много лет, конечно. И мы даже можем их сосчитать, — тихо добавляю я, сжимая левую руку.

— Ничего, что я такая бледная?

Я сначала сержусь, но потом отвечаю Эстер так:

— Знаешь, я закрою глаза, а ты делай что хочешь.

Я делаю вид, что зажмурился, а сам подглядываю сквозь ресницы.

Я вижу, как Эстер наклоняется к цветку, который держит в руке, а затем начинает осторожно обрывать лепестки.

Она обрывает лепестки и что-то нашептывает. Я не слышу, что она шепчет, но все равно знаю. И она, должно быть, догадывается, что я знаю.

Да — нет, да — нет…

Я должен бояться, как бы не вышло «нет».

Эстер, может быть, и вправду боится. Лепестков уже мало, и она обрывает их все медленнее.

Она — возможно… Откуда ей знать?

А я не боюсь.

Она может взять не только самый большой, она может взять любой, может взять все цветы, все подряд они скажут одно и то же слово.

Да, да, да, да.

Цветы не могут сказать иначе.

Цветы знают.

— Изя… — негромко зовут меня.

Отец.

Мой Авраам Липман.

Он не стал бы мешать без дела. Раз зовет — значит, нужно.

— Сейчас, — говорю я.

С трудом встаю со своего бревна и иду. Я уже вышел со двора, а мои глаза еще там, где мы сидели. Я вижу Эстер. Она бледна, ее голова склонилась. Но это не важно. Она — в середине, а вокруг цветы.

Кто сказал, что цветы запрещены?

Кто может запретить цветы?

### Глава шестая

### Перед семнадцатым ходом

#### 1

Теперь его голос был резким, а взгляд колючим, как шило. Казалось, он вот-вот пронзит одежду, лицо и грудь, вопьется в самое сердце.

Шогер понял, что напрасно взял пешку.

— У тебя есть девушка?

Исаак вздрогнул. Он уже было поднял руку, чтобы сделать очередной ход, но рука дрожала.

— Я допустил ошибку, — продолжал Шогер. — Нет, не с пешкой.

Исаак молчал.

— Могу объяснить, если ты не понял. Уговор был неполным. Мне следовало добавить… добавить следующее: то, что будет с тобой, будет и с твоей девушкой. У вас одна судьба. Не так ли?

Исаак снова вздрогнул. Исчез шахматный столик, земля скользнула из-под ног, перед глазами зияла пустота — черная, непроглядная.

«У тебя есть девушка?..»

— Твой ход, — сказал Шогер.

«У тебя есть девушка?.. У тебя есть девушка?..»

— Твой ход, — беззвучно повторил Шогер.

Исаак протянул руку и коснулся фигуры.

Пальцы ощутили округлость дерева, привычные, знакомые линии, но только линии были совсем не те — другая фигура, не та, которой он хотел пойти.

Еще не глядя на доску, он снова увидел ее всю, отчетливо, раньше. Это действительно была другая фигура, окруженная со всех сторон, которую ни в коем случае нельзя было трогать.

#### 2

— Я родил дочь Басю, — сказал Авраам Липман.

#### 3

По вечерам, когда люди возвращались с работы, Бася переодевалась и выходила из дома. У нее была пунцовая блузка с открытым воротом и темная юбка, короткая, узкая. Она переодевалась и выходила на улицы гетто. Женщины смотрели на нее с упреком и злобой либо с завистью. Одни презирали ее, другие восхищались ею. Люди смотрят на все по-разному и никогда не будут смотреть одинаково. Бася жила так, как ей хотелось. И кто бы мог сказать, правильно это или нет?

Женщинам гетто запрещалось красить губы, но ей, Басе, это не мешало. Ее губы и без того были алыми, как кровь. Басе исполнилось двадцать.

Она медленно шла, задрав подбородок и гордо выгнув точеную шею. Она закладывала руки за спину, так что распахнутый ворот блузки открывался еще глубже, обнажая белую, казалось, еще никем не тронутую девичью грудь. Стройные, длинные ноги Баси слегка пружинили, бедра покачивались в такт шагам, а желтая звездочка на груди смахивала на украшение.

Чего не бывает в мире, где живут мужчины и женщины. Все бывает. Когда вечерние сумерки превращались в ночь, Басю уже не видели на улице. Домой она заявлялась поздно, провожали ее не всегда, но девушка радовалась, что еще один день не пропал зря, и на другой вечер, вернувшись с работы, она опять выходила на улицу, сверкая пунцовой блузкой, открытой белой шеей и довольной, слегка насмешливой улыбкой.

В тот же час из соседнего дома выходил чернобровый семнадцатилетний Рувка. Он шел медленно, вразвалочку. Между ним и Басей всегда было двадцать шагов, ни больше ни меньше.

Бася знала, что Рувка ходит за ней как пришитый. Первое время было странно, она стеснялась, а затем привыкла. Он был молод, слишком юн еще, и это его дело, если малый ходит за ней как хвост. Расстояние было всегда одно и то же — двадцать шагов, ни больше ни меньше, и Рувка нисколько не мешал Басе. Она жила своей жизнью, жила так, как считала нужным; она хотела, чтобы ни один день не пропал даром, потому что всю свою жизнь, хотя бы сорок женских лет, ей надо было прожить за год, а может, за полгода или еще меньше. И когда она изредка оборачивалась, чтобы взглянуть на Рувку, она не видела его лица, только кудлатую голову и густые сросшиеся брови во весь лоб. Ей было безразлично, что Рувка бредет за ней, опустив голову и глядя себе под ноги. Позже, когда вечерние сумерки сгустятся в ночь, когда Бася, еще более оживленная, будет идти уже не одна, Рувка замедлит шаг и отстанет, исчезнет.

Глаза у Баси были зеленые и зоркие, как у кошки.

В поздний час, подходя к своему дому, она видела, что кто-то маячит за углом, но был ли то Рувка или кто другой, она не знала.

Рувка исчезал и в тех случаях, когда в гетто появлялся фельдфебель Ганс Розинг, который увлекал Басю в подворотню и принимался горячо убеждать ее, путая немецкие, литовские и еврейские слова.

Рувка исчезал, но Бася знала, что он близко, что он все слышит и ждет, и достаточно ей крикнуть, как он тут же очутится рядом.

В последние дни Ганс приходил все чаще, и его уговоры становились все настойчивее. Он забыл, что настали иные времена, что гетто — не гимназия, где они когда-то учились, и Ганс Розинг — уже не гимназист, а фельдфебель одного из отделов штаба оперслужбы Альфреда Розенберга.

Вот и сегодня они вышли на улицы. Бася и Рувка, думать свои думы, жить своей жизнью. Они миновали уже третью улицу, и было между ними двадцать шагов, ни больше ни меньше, и вечерние сумерки густели, переходили в прозрачную темноту летней ночи.

Бася ускорила шаги — ее ждали.

— Постой, — услыхала она и остановилась.

Она редко слышала голос Рувки и поэтому удивилась.

— Бася, — сказал он. — Сюда идет Ганс. Может, хочешь скрыться? Он тебя ищет, ты ведь знаешь.

— Ганс? — переспросила она. — Я не собираюсь прятаться. Мне всегда приятно с ним повидаться. Разве ты не заметил?

— Ладно. Как знаешь, — ответил Рувка.

И точно сквозь землю провалился.

Бася оглянулась и не нашла его: будто поговорила с человеком, которого не было. Она увидела коричневую форму и красную повязку на рукаве — фельдфебеля Ганса Розинга.

Ганс подбежал, схватил ее за руку и потянул в подворотню. Он часто дышал, долго не мог перевести дух и ощупывал глазами ее гладкие щеки.

— Ты снова на улице, — сказал он, скрипнув зубами.

— Я снова на улице, — ответила она.

— Ты каждый день… так?

Он спросил, и это было глупо, ибо знал, что услышит в ответ.

— Каждый день, — ответила она.

— Я просил, я ведь так просил тебя. — Он опустил голову, и его розовая шея, поросшая мягкими щетинками, напружинилась, как у готового боднуть быка.

Он взял ее руку.

Только теперь она почувствовала, что другая все время была в его ладони, и выдернула обе.

— Пусти… — сказала Бася тихо, чтобы не слышал Рувка.

— Ладно, все ерунда, — снова заговорил Ганс. — Я пришел не для того. Я тебя ни в чем не виню и никогда ничем не попрекну. Ты должна понять, что мне трудно. Ты день за днем так… каждый вечер… все время. А я не имею права даже прикоснуться к твоей руке!

Бася улыбнулась своей обычной насмешливой улыбкой и посмотрела Гансу прямо в глаза. Она любила улыбаться, глядя в его расширенные зрачки, где мерцали влажные отблески.

— Не смотри на меня, — вскипел Ганс. — Когда ты так смотришь, я готов тебя убить. Лучше послушай, что я хочу сказать.

— Хорошо, я послушаю. И не буду смотреть на тебя.

Опустив глаза, Бася глядела под ноги и видела булыжники мостовой, неровные, угловатые, истершиеся от времени.

«Камни, камни, они давно лежат, прижавшись друг к другу. И будут лежать так десятки, а может, сотни лет. И век у них долгий, как само время. По ним ходят люди, их бьют копыта лошадей, а они лежат, прильнув друг к другу, не шевелясь, твердые и неподвижные. И только каменщик, человек с железными мускулами и тяжелым молотом, может их разбить, расколоть. Только разбить на куски, но не уничтожить. И новые половинки будут снова лежать, припав друг к дружке, и будут жить вечно, и вечно будут тверды и неподвижны».

Бася думала о камнях. Почему о них? Потому что у нее под ногами были камни? Потому что смотрела в землю? Она сама не знала, почему думала о камнях, да это и не имело значения.

Ганс говорил, размахивая руками, говорил долго, но Бася слышала лишь отдельные слова, и ей было все равно, что он скажет и что она ответит ему. На один и тот же вопрос могла бы ответить и да, и нет, даже не думая.

Она улавливала обрывки фраз:

— Мой отец… он согласен, ведь он не против… Мы договорились с хозяйкой… спрячем тебя в кладовке… Она замурована, там два выхода… никакая собака не найдет… буду приходить каждый вечер… радиоприемник, все, что хочешь… я сожгу твои желтые звезды, ты забудешь, что они когда-то были…

Отец устроит… документы будут настоящие, со всеми печатями… через месяц я получу назначение в Италию… жить будем в Риме, потом в Венеции… в Италии не надо скрываться… ты все забудешь… Почему ты молчишь?

— Хорошо, — ответила Бася. — Да…

— Ты будешь итальянкой… Мы сделаем тебе итальянский паспорт… дадим тебе самое красивое итальянское имя… В Риме не нужно прятаться, и мы поженимся.

— Да, — сказала Бася.

Он снова взял ее руки и сжал их своими горячими пальцами, но она не чувствовала, потому что думала о камнях.

— Я знал, что ты согласишься, — говорил Ганс. — Я даже не сомневался. Сегодня еще нельзя. Надо привести в порядок твою новую комнату. А завтра вечером я приду и выведу тебя из гетто. Ты слышишь меня?

— Я слышу.

— Жди меня завтра здесь, в подворотне, в десять вечера. Ты слышишь?

— Слышу.

— Бася…

Она заметила наконец, что ее руки в его руках, и высвободила их. Она подняла голову и усмехнулась, а потом, оставив на губах свою насмешливую улыбку, посмотрела ему, Гансу, прямо в глаза. Она дьявольски любила улыбаться так и смотреть в его расширенные зрачки, где мерцали влажные блики.

Бася острым взглядом окинула его с ног до головы, всего Ганса Розинга. Коричневая форма на нем была гладкой, чистой, отутюженной до последнего шва. От кончика сапог, высоких, лакированных, чеканящих шаг по тротуару, и до блестящего козырька выгнутой фуражки, сидящей точно на месте, ни миллиметром выше или ниже, — эта коричневая форма так ладно облегала тело Ганса, что, казалось, слилась с ним, фельдфебелем опер-службы при штабе Розенберга. Сейчас его можно было хоть на трибуну выпускать. Будь здесь трибуна, фельдфебель Розинг взлетел бы на нее, скрипя новыми подметками, предстал бы перед публикой во всем своем блеске и великолепии, выбросил вперед руку с красной повязкой и крикнул бы, еще раз крикнул:

«Дамы и господа! Друзья! Вам известно, кто такие евреи? Евреи — наши заклятые враги! Дамы и господа! Друзья!..»

Она опять усмехнулась и уставилась на него своими зелеными глазами.

— Бася… — сказал он. — Бася, не смотри на меня. Когда ты так смотришь…

— Я рада, Ганс, — заговорила она. — Знаешь, Ганс, я очень рада.

— Ну конечно же…

— Погоди, Ганс, — продолжала она. — Ты знаешь, чему я рада? Я очень, очень рада, что не ты был первым мужчиной, которого я почувствовала. Хотя это вполне могло случиться, правда? И ты никогда не станешь тем мужчиной, с которым я буду что-то чувствовать. Ты понял, Ганс?

Фельдфебель Розинг выгнул шею и ударил Басю. Кулаком в лицо.

— Шлюха! — рявкнул он. — Жидовская подстилка! Ты… ты… еще смеешь… — И ударил еще раз, другой рукой.

— Отстань! Уходи отсюда! — тряхнула головой Бася. Она почувствовала, что возле них вырос кто-то третий.

— Тварь… Потаскуха… — хрипел Ганс Розинг, собираясь снова ударить Басю.

— А ну проваливай! Дуй отсюда! — шагнул к нему Рувка. — Ты слышал, что сказала Бася?

— И ты еще тут… Кто ты такой? Она спит с тобой? Да? Эта шлюха с глазами, как у кошки… Да?

Рувка пригнулся, сжал кулаки и пошел на Ганса. Он приближался к нему и говорил тихо, отчетливо, чтобы Ганс понял:

— Пошел вон отсюда, Розинг. И не хватайся за кобуру, фельдфебель. А не то я свистну друзьям, и от тебя останется только мокрое место, Ганс Розинг.

Ганс отдернул руку от кобуры, пятясь, выбрался из подворотни и пустился бежать по тротуару. Он бежал до самых ворот гетто, а там уж кто знает — может быть, пошел шагом.

Рувка тоже хотел уйти. Бася была слишком близко. А его расстояние известно — двадцать шагов, ни ближе, ни дальше.

— Постой, — сказала Бася и взяла его за руку.

Он все еще сжимал кулак, и Бася удивилась, что у него, такого молодого, совсем еще мальчишки — ему всего лишь семнадцать, — такой большой, грубый, жесткий кулак.

— Ты работаешь вместе со всеми, да?

— Да, — ответил он. — Я работаю со всеми.

— Что ты делаешь? — спросила она. — Ты ремесленник?

— Нет, — ответил он. — Я каменщик.

Теперь ей стало понятно, почему у Рувки такое серое лицо: в его поры въелась каменная пыль. Она двумя руками гладила большой, грубый, жесткий кулак и смотрела себе под ноги, туда, где лежали камни, прижатые друг к другу, камень к камню, твердые и неподвижные. Она вспомнила, как только что думала о камнях и о руках, которые раскалывают эти камни. Было странно, что он, Рувка, такой молодой, дробит камни и что они, даже разбитые, будут лежать веками, долго, как жизнь, а его, Рувку того, что дробит камни, могут схватить завтра или даже сегодня, заломить руки за спину, бросить в черный автомобиль и увезти в Понары, чтобы убить там эти семнадцать лет, которые еще не знали женщины, не чувствовали ее ласки.

— Рувка, — сказала она. — Идем. Ты хочешь пойти со мной?

Он удивленно посмотрел на нее, и его густые сросшиеся брови поднялись еще выше.

— Я всегда хожу с тобой, — ответил он.

— Нет, — усмехнулась Бася. — Сегодня я никуда больше не пойду. Я не пойду туда, где должна была быть сегодня. Понимаешь?

Он молчал.

Она повела Рувку за руку. Она шла впереди, а он чуть сзади. Он не видел дороги, не знал, куда идет. Он смотрел на Басю и, казалось, впервые так близко видел ее ноги, пружинящие при каждом шаге, ее шею, высокую и теплую, зеленые блестящие глаза и алые, ярко-красные губы. Бася то и дело оборачивалась, и он думал, что хорошо бы купить какую-нибудь дорогую, сверкающую, искрящуюся брошь и приколоть ей на грудь вместо этого привычного украшения — желтой звездочки.

— Идем быстрей, — сказала Бася. — Еще увидит кто-нибудь.

— Пусть видят, — ответил он. — Чего ты боишься?

— Я не боюсь, — усмехнулась Бася. — Чего мне бояться. Может, ты не хочешь идти со мной? Я уже старуха, а ты еще так молод.

— Тебе двадцать, — ответил он.

— Нет, нет! Мне уже тридцать, а может, и все тридцать пять. Ты не знал, что я такая старая?

— Все равно тебе только двадцать. Не важно. Все равно двадцать.

Она опять усмехнулась и сверкнула своими кошачьими глазами.

— Я тебе нравлюсь? — спросила она.

— Да. Очень, — ответил Рувка.

— Уже близко, — сказала Бася. — Ты знаешь этот дом?

— Нет, не знаю.

— Там, внизу, есть уголок. Там никто еще не был. Иногда я там сижу. Когда мне хочется побыть одной, я прихожу сюда.

Они спустились по кривым ступенькам, толкнули скрипучую дверь.

— Не запнись, — сказала Бася, — и не отпускай мою руку.

Рувка молчал.

— Там, в углу, под окошком, видишь? Там скамейка. Моя скамейка. Проходи, садись.

Они молча сидели рядом.

— Тебе нравится здесь?

— Очень нравится.

— Я же говорю, что здесь никто еще не был.

— Я знаю, — ответил он. — Ты думаешь, я не знаю?

— Правда? — сказала она. — Так что же ты сидишь?

— Не знаю.

— Ты любишь меня, Рувка?

— Люблю.

— Дотронься до меня. Почему ты боишься ко мне притронуться?

Она прижалась к нему, и он неловко обнял ее плечи. Он чувствовал ее теплую шею и боялся шевельнуться. Осторожно потрогал звездочку-украшение и хотел сорвать ее, чтобы приколоть на этом месте брошь, которой не было. Она сама повернулась, крепко обвила руками шею Рувки и поцеловала его в губы. Он чувствовал сладость ее губ и смотрел в ее зеленые глаза, блестящие, как у кошки.

— Обними меня крепче, — сказала она.

— Не хочу, — ответил он и убрал руку.

— Ты не любишь меня?

— Люблю.

— Так что же?..

— Не надо, — проговорил он.

— Не надо?!

— Нет, не надо.

— Но больше я тебе ничего не могу дать. Больше у меня ничего нет, — сказала Бася.

— Не важно. Все равно не надо.

Тогда она обхватила голову руками, уткнулась в колени и заплакала.

Рувка сидел рядом, обняв ее вздрагивающие плечи; он гладил волосы Баси и не утешал ее. Он молчал и только время от времени негромко повторял одну и ту же фразу:

— Не плачь, Бася. Не надо. Никогда не надо плакать.

### Глава седьмая

### Ход семнадцатый

#### 1

— Ну давай, ходи!.. — подгонял Шогер, но Исаак не шевелился.

Рука никак не могла взять эту фигуру, которую нельзя было трогать. Исаак посылал руку вперед, но она по-прежнему сопротивлялась.

Шогер посмеивался, довольный.

— Взялся — ходи, — настаивал он.

«Да», — подумал Исаак и отдал фигуру, которую нельзя было трогать.

«Еще одна такая ошибка, и я действительно должен буду сдаться. Я останусь в живых по ошибке… Смешно».

Шогер потирал руки.

— Ты жалеешь? — спросил он. — Напрасно. Сегодня все идет как надо. Ты сам виноват, что научил меня хорошо играть. Рано или поздно я должен выиграть. Ничего не попишешь.

«Я все время думаю о ничьей… Слишком рано. Сперва добейся преимущества, а там будет видно. И сегодня надо стремиться к выигрышу, а потом уже пытаться свести вничью… Я должен все забыть… Нет мира, нет людей, передо мной только белые и черные клетки, деревянные фигуры и Шогер. Надо бороться, чтобы не проиграть…»

#### 2

И опять шагаем мы с работы. Дорога неблизкая, идти трудно.

Утром — совсем иное дело: дорога та же, но идти легко.

Те, что в первом ряду, стараются замедлить шаг. Это часто им удается, но не всегда. Часовые торопятся домой и хотят, чтобы мы тоже торопились. Они не знают, что вечером дорога длинней, чем утром.

Когда возвращаешься с работы, надо думать, все время думать. Не о работе, не о еде, не о братьях и сестрах, а просто так, о чем-нибудь. Тогда забываешь и дорогу, и усталость, и все неприятности.

Я думаю об Эстер и Янеке.

Рыжий все время мешает мне сегодня. У него, конечно, другое имя, но все зовут его Рыжим. Волосы у него краснее пламени, лицо — как жар, и розовато просвечивают оттопыренные уши. Длинный как жердь, на две головы выше меня, он шагает впереди, но вдруг оборачивается и оглядывает меня с ног до головы. Мы идем дальше. Спустя некоторое время он снова оборачивается и смотрит.

Рыжий редко разговаривает со мной, только смешит меня иногда. Он ужасно смешной. Рот разинет, оскалит зубы, приставит ладони к оттопыренным ушам и как залает — надорвешься от смеха. Барбос, да и только. Настоящий Рыжий.

Я никак не могу понять, чего он все пялится на меня сегодня.

— Не мешай, Рыжий, — говорю я беззвучно, одними губами.

Он понимает и, состроив собачью мину, отворачивается.

— Не сердись на меня, — сказал Янек.

Это было вчера.

— Не сердись, — сказал мне Янек, — что я мешаю тебе и Эстер. Я знаю, вам хочется побыть одним на своем дворе. А я прихожу сюда, сажусь на бревно и мешаю.

— Не выдумывай, — ответил я.

— Я не выдумываю. Но после того как зарыли Мейку, я никак не могу его найти. Здесь много хороших ребят, и ты теперь мой друг. Но не обижайся, даже ты не можешь заменить Мейку. Мне все время не хватает его. А Эстер так похожа на Мейку, как одно лицо, только он парень, а она — девушка. Я не нижу Эстер весь день, поэтому вечером сажусь на бревно, смотрю на нее и вспоминаю Мейку.

— Ты совсем не мешаешь нам, что ты выдумываешь.

— Я знаю, что говорю. Я прошу только, не обижайся. Потому что я все равно буду приходить.

То ли не понимает он, то ли не хочет понимать, но нам еще лучше, когда рядом Янек. Мы тогда ничуть не стесняемся друг друга, можем говорить все, что взбредет на ум, и ждать, пока Янек тоже вставит слово.

Просто не знаю, как его убедить.

Только Янека вряд ли переубедишь, уж если что-то втемяшилось ему в голову.

— Был бы Мейка, — сказал Янек, — он бы что-нибудь придумал. Мы не сидели бы сложа руки. Мы бы знали, что нам делать.

Мне было обидно.

— Не сердись, — закончил Янек, — ты хороший товарищ, но мне все равно не хватает Мейки.

Я мечтаю, что наступит такой день, когда Янек обнимет меня и скажет на ухо: «Ты совсем как Мейка…»

Что мне сделать, чтобы это случилось на самом деле? Сегодня вечером я расскажу ему про Хаима. Скажу, что и я мог бы поступить, как Хаим. Может быть, Янек поверит, и тогда… Я не хочу врать, но Янеку тяжело, он не может найти Мейку.

Сегодня вечером расскажу о моем друге Хаиме. Хаим старше меня на два года. Коренастый, широкоплечий, с орлиным носом, он как живой стоит у меня перед глазами.

Хаим не может жить спокойно, он всюду должен быть первым — и смеяться, и драться. Он вбил себе в голову, что надо взорвать гетто. Ему говорили, что надо все обдумать, хорошенько подготовиться и действовать сообща, выбрав удобный момент. Но Хаим только смеялся.

— Ждать? — говорил он. — Спасибо на добром слове. Я только и делаю, что жду. Я жду всю жизнь. Мне надоело ждать.

Однажды, когда мы работали за городом на складах, пригнали состав с боеприпасами. Хаим подкрался к последнему вагону, откусил пломбу и забрался внутрь. Он вылез оттуда, весь разбухший от напиханных под одежду толовых шашек. Думал, что никто ничего не видит, и хотел снова прицепить пломбу.

Но немцы увидели и стали окружать Хаима. Он заметил их слишком поздно и заскакал по рельсам, по кочкам, а потом пустился бежать по голому полю.

Тогда немцы начали стрелять.

Они не убили Хаима.

Его взяли живьем, привезли в тюремный лазарет. Шогер навещал Хаима каждый день. Лучшие врачи старались, чтобы Хаим поправился. И он действительно шел на поправку, а Шогер гладил его влажные волосы и просил об одном:

— Скажи, Хаим, кому нес взрывчатку?

Хаим все молчал и молчал.

Шогер был терпелив, он приходил изо дня в день.

— Скажи, Хаим, кому нес, и тут же вернешься в гетто.

Однажды Хаим не выдержал и сказал.

— Вам нес, — сказал он. — Неужели вы такие дураки, что не можете понять? И если я вернусь в гетто, я опять понесу. И опять вам. Я хочу вас всех взорвать, Шогер… Наступит день, мы разнесем ограду гетто, а тебя вздернем на перекладине ворот.

Все это рассказала нам сестра, литовка. Она заходила вчера в больницу гетто.

Да, вечером я непременно расскажу Янеку про моего друга Хаима. Я скажу, что мог бы сделать то же самое. Янек должен поверить, потому что ему очень трудно, он до сих пор не может найти своего Мейку.

Я хочу, чтобы Янек нашел друга.

Рыжий снова мешает мне. Он опять оборачивается и оглядывает меня с головы до ног. Что ему нужно, этому Рыжему, никак не могу понять. Раньше он почти не разговаривал со мной, разве что иногда. Теперь обращается ко мне довольно часто. С того дня, как принесли в гетто цветы. Чего он хочет?

Я думаю об Эстер.

Как только вернусь домой, сразу умоюсь, надену голубую свою рубашку и побегу к каменному порогу, большому, гладкому. Сидя на том пороге, слышишь все, что творится в доме, малейший звук. Стукнет дверь, скрипнут старые деревянные ступеньки, зашуршат шаги…

Мы пойдем на наш двор.

Там, на дворе, мы натаскали земли в большой деревянный ящик и полили ее. Эстер взяла горстку ромашек, воткнула в землю. И вырос чудесный сад — белые лепестки, желтые крапинки. Неужели Эстер думает, что сорванные ромашки могут прижиться в этом ящике?.. Я ничего не говорил, хоть и знал, что назавтра мы придем и найдем здесь только вялые стебли.

Я не мог спорить с Эстер, если ей захотелось сад в ящике.

Даже когда цветы увянут, все равно еще можно обрывать лепестки. Да — нет, да — нет, да.

Все ромашки должны сказать одно и то же.

Иначе быть не может.

Рыжий смотрит на меня.

Теперь это мне уже не мешает. Мы в гетто, только что миновали ворота. Сейчас забегу домой, умоюсь, надену хорошую рубашку и отправлюсь к каменному порогу.

— Изя, — тихо зовет меня Рыжий и крепко берет за руку. — Идем со мной, — говорит он.

Говорит очень таинственно, я не понимаю, какие важные дела могут быть у Рыжего со мной. Он гораздо старше меня, и мы с ним вовсе не друзья-приятели. Мы останавливаемся за тем самым домом, где мужчины давали мне цветы, каждый по цветку. Рыжий прислоняется к стене, вытягивает свою длинную руку и принимается вертеть пуговицу своей куртки.

Я жду.

— Я говорил с твоим отцом, а теперь хочу потолковать с тобой.

Так говорит Рыжий, и по его непривычно серьезному виду я начинаю догадываться, о чем речь.

— Изя, ты знаешь, что в гетто есть организация?

— Знаю.

— Ты знаешь, Изя, что нам нужно?

— Не знаю… Наверно, оружие.

— Это само собой. Но прежде всего нужны бойцы.

Сердце подскакивает к горлу, я чувствую, как холодеют кончики моих пальцев. Я давно ждал, что со мной заговорят об этом, но не думал, что это сделает Рыжий.

— Слушай, Рыжий, — отвечаю я, глубоко вздохнув. — Неужели ты думаешь, я не понимаю таких простых вещей.

Я замолкаю и жду, что будет дальше.

Рыжий чуть улыбается.

Ужасно смешной он, этот Рыжий. Когда улыбается вот так, ему остается только усы приделать, и будет вылитый кот. Вот-вот, кажется, приоткроет пасть и мяукнет.

— Я так и думал, что ты все понимаешь, — говорит Рыжий и добавляет: — Организация разбита на тройки. Надо полагать, что и вас будет не меньше.

— Да… Да! Нас как раз трое. Янек, Эстер ия.

— Видишь, как все удачно! — радуется Рыжий. — Один из вас будет старший, командир, так сказать. Подумай. Кто будет командир?

Я думаю. Наверно, думаю слишком долго, потому что Рыжий, который стоит, прислонясь к стене и по-петушиному поджав ногу, успевает переступить раз, потом еще раз. Я понимаю, что больше тянуть нельзя, и говорю:

— Командиром будет Янек. Хорошо?

— Хорошо.

— Ты знаешь Янека?

— Знаю. Хорошо.

Рыжий провожает меня до самого дома.

— Ты знаешь, где я живу? — спрашивает он.

— Знаю.

— Приходите все трое через полчаса. Приступим к занятиям.

Рыжий уходит.

Я подбегаю к двери. Сегодня надо особенно торопиться. Я только умоюсь, надену голубую рубашку и помчусь к каменному порогу. Я схвачу Эстер за руку, позову Янека. Я расскажу им, и они запляшут от радости. Ой, как они будут радоваться!

Я не стану рассказывать Янеку про моего друга Хаима.

Зачем? Все равно ведь Хаим — это не я.

Разве я бы решился на такое, как Хаим?

Не знаю…

Я не буду рассказывать о Хаиме. Зачем?

Теперь мы — тройка.

Тройка!

— Изя… Изя! — слышу я голос, который вот уж не думал услышать здесь.

— Эстер? Бузя? Откуда ты взялась?

Мы стоим в коридоре, на лестнице.

Оказывается, Эстер ждала меня.

Свет здесь тусклый, но я вижу, что глаза у нее красные. Она припала ко мне, прижала голову к моей груди. Ее пепельные волосы щекочут мне щеки, и я боюсь шевельнуться.

Эстер плачет и говорит очень тихо:

— Изя… Янека увезли. Сегодня похватали много мужчин, и Янека тоже.

Я стою окаменев; холодные, темные ступени прыгают у меня перед глазами.

Я трясу Эстер за плечи.

До крови закусываю губы.

Нет!

Этого не может быть!

Янека не увезли…

Могли увезти меня, могли увезти Эстер, но только не Янека. Янека нельзя увезти, потому что он — Янек. Он искал Мейку. Он говорил, что город — то же гетто, только без ограды. Он…

— Увезли… Нет больше Янека. Я давно уже здесь, все никак не дождусь тебя.

— Не плачь, Эстер. Янека не могли увезти.

Так говорю я ей, хоть и сам начинаю понимать, что говорю ерунду, что Янека вправду увезли и мне нечем утешить ни ее, ни себя.

— Вот увидишь, мы найдем Янека.

Так говорю я ей и себе.

— Правда? Мы будем искать?

— Будем искать. А как же иначе? Янек сам нашил желтую звезду… Он мог остаться на той стороне, но он пришел, чтобы найти своего друга. Мы не можем сидеть и ждать… Мы должны найти Янека.

— Мы вместе пойдем искать, да, Изя?

— Да, вместе.

— И найдем его, правда, Изя? Мы обязаны найти.

— Мы найдем.

— Изя… А если… если их завезли в Понары?

— Нет… Янека нельзя завезти в Понары. Он сбежит, мужчины выбросят его, люди не позволят увезти Янека в Понары. Ведь он же Янек!

— Почему вас двое? — спрашивает Рыжий.

Он ждал нас.

Мы молчим.

— Где третий? — спрашивает Рыжий.

— Нас трое. Это только кажется, что нас двое, — говорю я ему.

Рыжий моргает. Ресницы у него белые, и глаза от этого кажутся удивленными.

— Я не вижу Янека, — говорит Рыжий. Тогда Эстер не выдерживает.

— Его увезли сегодня… — говорит она, опустив голову.

— Плохо дело, — опускает голову и Рыжий. — Но тройка есть тройка. Нужен еще один, и придется вам поискать себе третьего.

— Нет, — твержу я Рыжему, — нас трое, это только кажется, что нас двое. Янек с нами и сейчас, и всегда.

— Все равно нужен третий, — стоит он на своем. — Тройка есть тройка…

— Нет! — в один голос кричим мы с Эстер. — Нас трое!

— Я сказал тебе, что Янек наш командир, так и будет, — со злостью говорю я и сверлю Рыжего глазами.

Если бы я умел, то приставил бы ладони к ушам, скривил рот, оскалил зубы и залаял, как это делает Рыжий. Только не смешно, а злобно, чтобы взбесить его.

Рыжий стоит, о чем-то думает.

— Ладно, — говорит он. — Мне показалось, что вас двое.

Он ведет нас в подвалы, вглубь. Мы протискиваемся в какие-то щели, пробираемся через развалины домов и, наконец, попадаем в тесную каморку. Здесь стоит невысокий столик, на стене — грифельная доска.

Рыжий достает откуда-то два немецких автомата.

— Начнем… — медленно говорит он. — Вы трое — Янек, Эстер и Изя — боевая тройка, — говорит Рыжий.

И мне в самом деле кажется, что нас трое, что Янек с нами.

— Наша задача — в случае необходимости защищать гетто и вывести в лес как можно больше людей. Каждая тройка имеет свой пост в гетто. Слушайте и хорошенько запомните: если услышите пароль «начало», немедленно занимайте свой пост. Где он находится, я скажу потом. «Начало»… Запомнили?

Мы слушаем и конечно же запоминаем.

Эстер берет меня за руку, но не сводит глаз с Рыжего.

— Вы теперь — боевая тройка, — повторяет Рыжий.

Он хочет, чтобы мы запомнили, кто мы.

— Вы — боевая тройка.

Мы помним.

Рыжий называет каждого из нас по имени, и мне вправду кажется, что мы все здесь — Янек, Эстер и я.

### Глава восьмая

### После семнадцатого хода

#### 1

— Можно и отдохнуть теперь, — сказал Шогер. — Сделаем перерыв.

Борьба на шахматном поле ненадолго замерла. Исаак остался сидеть на своем месте, а Шогер встал и зашагал по кругу, заложив руки за спину и глядя себе под ноги.

Шаги были крупными, пожалуй, даже слишком крупными, но по-солдатски уверенными.

Толпа, со всех сторон обступившая игроков, раздалась, круг расширился и стал похож на арену унылого цирка с неведомым злым фокусником посередине. Смотришь, следишь за ним, не спуская глаз, но так и не можешь угадать, когда махнет он своей черной блестящей палочкой. То ли ворон, каркнув, выпорхнет из его рукава, то ли человек повиснет в воздухе, не касаясь земли, то ли столб огня — настоящее пламя — пыхнет из его открытого рта, шевелящихся ушей и ноздрей.

«Мне тоже можно отдохнуть? — спрашивал себя Исаак. — Вспомнить что-либо, подумать о чем-то другом… Наверное, нет. Отдохну потом. Придет же когда-нибудь конец этой игре. Наступит ночь, часы пробьют двенадцать… Я должен все забыть. Нет ни домов, ни людей вокруг, передо мной — шахматная доска и фигуры. Я должен выиграть, чтобы свести вничью…»

Шогер расхаживал по кругу слишком крупными, по-солдатски твердыми шагами.

— Достаточно? — вскоре спросил он.

Исаак молчал.

— Продолжим.

Исаак смотрел на Шогера и думал:

«Его кованые сапоги бьют по мостовой. Если б уже стемнело, наверняка бы можно было увидеть, как летят искры. Их пришлось бы гасить. Мне хочется стать индейцем и содрать с него скальп, с этого злого фокусника с волшебной палочкой… Он не может победить… Я не должен дать ему выиграть».

#### 2

— Я родил сына Касриэла, — сказал Авраам Липман.

#### 3

Ночь как ночь — темно. Правда, зимой по ночам еще темнее. Вернее, не зимой, а осенью, когда все вокруг черно. Черные крыши, черная земля, черное небо, набрякшее чернилами. Интересно, каково тогда человеку, у которого и душа черна, как ночь?

Я, кажется, знаю, каково в такую ночь человеку с черной, как ночь, душой. Он может не моргнув глазом пройти весь мир, ему все нипочем: человек сольется с темной краской мира и не увидит ни мира, ни себя. Нет разницы. Все одним цветом. И ничего не различить: ни души, ни неба, ни черных крыш. Браво!

Но сейчас летняя ночь. Она смутно просвечивает, как синевато-серое стекло. Если хочешь, чтобы стало темнее, достаточно прищуриться. Человеческий глаз замечательный прибор. Его можно прикрыть или приоткрыть, а можно и вовсе закрыть. Ах, какой размах — от пиано-пианиссимо до форте-фортиссимо! Такой диапазон! Разве этого мало?

Светит месяц и масса звезд. Месяц ворочается с боку на бок, ложится поудобнее. Что ему — вечная игра: с одного бока убыло, с другого прибыло; кувыркайся на здоровье, не поморщив своего широкого азиатского носа. Собственно говоря, что ему морщиться: насморк не страшен, платок не требуется.

А звезды — звезды, будто иглы, так и колют глаза. Хоть убей, не светят одним цветом: красные, зеленые, синие, золотые, а есть такие, что и вовсе не разберешь, какого цвета.

Но можно и с ними разделаться. Надо просто закрыть глаза. Раз! — и готово: ни звезд, ни месяца. Ни фига!

Со мной не очень-то поспоришь, хотя мне так и не довелось закончить университет. Ядаже сам с собой не в силах спорить.

Вот я зажмурился, и все исчезло, и теперь я могу сказать: ничего на свете нет, весь мир — иллюзия. Что хочу, то и вижу. Кто сказал, что ночь черна, что светит месяц? Я говорю вам, что ночь бела как день, а месяца и вовсе нет — просто какое-то никчемное пятно. Но если черная ночь — это белый день и месяц — банальный желтый блин, то и я не живое существо по имени человек, а животное, именующее себя сверхчеловеком.

Да, я, Касриэл Липман, сверхчеловек.

В гетто тихо. Люди спят, отдыхают, стонут или кричат во сне — они знают, что со светом снова потянутся пыльной дорогой в рабочий лагерь, и не знают, что сулит им завтрашний день: ведь гетто могут взорвать, могут всех увезти в Понары… Может быть, люди стонут или кричат во сне, а может, судорожно обнимают друг друга, желая продолжить род. Я не слышу, не вижу их. Это серая пыль, скотинка, а я — сверхчеловек, и что хочу, то и делаю.

Я медленно иду по тихим улицам гетто. Иду к железной калитке, запершей узкий проход между домами. Я постучу в нее пять раз, потом — шестой. Часовой откроет и проводит меня к Шогеру. Шогер ждет не дождется, когда я пожалую к нему. Как равному предложит мне сбросить куртку с желтыми звездами, пригласит за стол. Шогер дружески потреплет меня по плечу и скажет:

— Садись, Касриэл, ешь! О делах потом — куда спешить?

На круглом низком столике — французский коньяк, чешское пиво и русская водка. В соседней комнате — красавица полька с клеймом на бедре (чтоб не сбежала), красотка из дома «Nur fur deutsche Offiziere».

Шогер удовлетворенно потрет ладони, и глаза его — серые, с красными прожилками — блеснут, как дорогие камни, два грубо подделанных, фальшивых камня.

Понурив голову, я бреду по спящим улицам к узкой калитке. Я — сверхчеловек, ибо черная ночь белее дня и луна — кривляющийся блин. Я, сверхчеловек, должен подойти к железной калитке и постучать, чтобы она открылась.

Со мной не очень-то поспоришь, хоть я так и не кончил университет.

Я знаю не только Ницше. Я знаю Шопенгауэра и Спинозу, писания апостолов и Фрейда, читал Ветхий Завет и Карла Маркса. Маркс говорил: нам нечего терять, кроме своих цепей! Оно, конечно, у кого нет ничего, тот потерять уже не может. Я мог бы дополнить этого спинозу Карла: можно потерять жизнь. Но я дополню его иначе. Мои друзья, мои братья и сестры готовят восстание, готовятся уйти в партизаны — люди на все готовы. Каждый день возвращаясь с работы, они проносят в гетто оружие, патроны. Сам Шогер не может их накрыть, не может добраться до тайников. Тут-то я и дополню Карла Маркса. Я иду к Шогеру, он ждет не дождется меня. Я знаю, кто приносит оружие, знаю, где его прячут.

Черная ночь для меня бела как день. В один из таких черных дней Шогер выгребет оружие из всех тайников и поставит к стенке тех, кто норовит пристать к Христовым апостолам. Мне что? Я ничего не увижу, ничего не услышу. Значит, ничего и не было.

Буду сидеть за круглым столиком, дуть русскую водку, потягивать французский коньяк, хлебать чешское пиво и лапать польскую красотку с клейменым бедром.

Шогер не идиот. Ха! Он знал, кого ему выбрать. Он прочел мои мысли, как раскрытую книгу. Выбери он моего отца, выбери кого-нибудь из сестер или даже мальчишку Исаака, он получил бы фигу. Он может рубить их на мелкие кусочки, как рубит мясник убоину, и все равно ответом будет молчание, только молчание, которое ни я и никто другой не назовет иначе. Шогер умный человек. Он выбрал меня.

Я иду по тихим, сонным улочкам гетто, тем самым улочкам, по которым шел ровно неделю назад. Круглый столик был накрыт. И Шогер был сама любезность.

— Садись, Касриэл, ешь, — сказал он дружески.

— Я сыт, спасибо, — ответил я.

— Садись, Касриэл, пей.

— Спасибо, не пью.

— Не будь дураком, Касриэл, и подойди сюда. Положи-ка руку на стол. Вот так, ладонью вниз. Теперь смотри на меня.

Он вынул из кобуры вороненый браунинг.

— Не бойся, не убью.

Он взял браунинг за ствол и больно ударил тупой рукояткой по моему мизинцу, по самому ногтю. Снова поднял браунинг и ударил по другому пальцу, потом еще и еще. Бил только по ногтям. Он мастерски делал свое дело: не содрал ни кусочка кожи с пальцев.

— Садись, Касриэл, ешь, чего уж там, — сказал он дружески.

И я сел и начал есть.

Я ел долго, с трудом запихивая в себя каждый кусок.

Шогер сидел напротив и меланхолически качал головой.

— Видишь, я знал, что ты голоден.

Когда я вытер руки, он тихо сказал:

— Теперь выпей. Для начала, пожалуй, водки, а? Люблю русскую водку.

— Спасибо, я не пью.

Шогер был обижен:

— Что же ты так? Ну ладно, давай руку.

Я протянул другую руку и положил на стол, ладонью вниз.

Шогер был удивлен.

— Касриэл! — воскликнул он. — Ты хочешь искалечить себе вторую руку? Нет, я этого не допущу. Давай первую, ту, что уже была. Ей все равно.

Я поднял другую руку, ту, что уже была, и положил на стол. Шогер стукнул браунингом. Удар пришелся по столу; жалобно зазвенели тарелки, бутылки, рюмки, но Шогер не рассердился, что я отдернул руку с посиневшими ногтями. Я держал в ней рюмку русской водки.

— Видишь, Касриэл, я знал, что ты хочешь пить, — сказал он.

Потом я прихлебывал коньяк, завезенный из Шампани, цедил пиво, доставленное из Пльзеня.

— Ядзя! — крикнул Шогер. — Ядзя!..

Из соседней комнаты вышла Ядзя, стройная красавица полька с распущенными волосами.

— Ты видишь? — сказал мне Шогер. — Это Ядзя. Чудная девушка. Правда, Ядзя?

Она улыбнулась, показав ровные перламутровые зубы.

— А теперь выйди, Ядзя.

Она вышла.

— Оставим ее на следующий раз. Хорошо, Касриэл?

— Хорошо, — ответил я.

— Ну что ж, по рукам! — сказал Шогер. — Между прочим, могу показать тебе снимки. Хочешь? Ты увидишь руки с отрубленными пальцами. Ты увидишь там…

— Не надо снимков, — ответил я и выпил залпом еще три стопки русской.

Шогер был доволен:

— Я знал, что мы договоримся.

Да, мы договорились встретиться через неделю.

И вот я иду.

Медленно, понурив голову, иду я по тихим, спящим улочкам. Я подойду к железной калитке, зажатой между двумя домами, постучу пять раз, потом — шестой, мне откроют, и часовой проводит меня к Шогеру.

Шогер ждет. Он ждет не дождется. На круглом столике — русская водка, французский коньяк и чешское пиво, красотка Ядзя с клеймом на бедре, чудная девушка.

Я знаю все. Знаю, кто приносит оружие и где его прячут. Я все узнал за эту неделю. Мне и раньше было известно кое-что. Шогер назначил слишком долгий срок. Ха! Глупец! Зачем он дал мне столько времени? Он мог тогда еще, в первый раз, не кормить, не поить меня, а просто-напросто отрубить мне пару пальцев, и я бы выложил все. Болван! Думает, если он ничего не знает, то и другим неизвестно. Впрочем, вряд ли дошло бы до второго пальца, пожалуй, и одного бы хватило.

Тогда, в первый раз, он сглупил, Адольф Шогер. Но теперь он спокоен. Он, правда, ждет не дождется, хотя абсолютно уверен, что я приду, постучу пять раз, потом шестой и предстану перед ним.

Шогер умен.

Я действительно иду.

Я иду так долго, что мне давно уже опостылел месяц, кособокий желтый блин, и мириады колючих звезд, пестрых иголок, отливающих всеми цветами радуги. Я устал и хотел бы отдохнуть.

Там, за домом, есть заросший крапивой ход, заваленный старым барахлом, — мое тихое пристанище. Никто еще не набрел на него. Можно сидеть там целый день или ночь напролет, можно думать об иллюзорности мира и о всяких Спинозах.

Нигде в мире не отдохнешь лучше, чем в том сводчатом погребе, в который ведет заваленный рухлядью ход.

Там можно поразмыслить о чем угодно — о скотине, именуемой человеком, и о человеке, чье имя — скот.

Мне надо отдохнуть. К железной калитке все равно не пройти. Где-то там, прижавшись к стене, стоит Авраам Липман, стоит и ждет сына. Он стоит, не смыкая глаз, его старые уши ловят каждый шорох. Он стоит как статуя и ждет меня, Касриэла.

Что скажет отец своему сыну? Что может сказать своему сыну Авраам Липман, если сын его — сверхчеловек и боится, что ему отрубят палец.

Отец знает, что я иду, и знает куда.

Совсем недавно был у нас разговор, короткий разговор, который можно передать в двух словах. Было так…

Но сперва — отдохнуть, я должен присесть, закурить. Там, в погребе, есть сигарета, есть свеча и спички, есть подходящий чурбан.

Я пробираюсь в свой погреб, зажигаю свечу; я сажусь и закуриваю. Да, теперь мне хорошо, я отдыхаю. Ни месяца, ни звезд. Мерцает огонек свечи, тусклый огонек, и отбрасывает на стены мою тень, гигантскую, непомерную тень сверхчеловека.

Я не засижусь. Докурю свою сигарету — и дальше.

— Отец, — сказал я моему Аврааму Липману. — Отец, скажи ребятам, чтобы перепрятали оружие. И пусть сами спрячутся, все, кто проносит оружие. Через шесть ночей я пойду к Шогеру, он станет рубить мне пальцы, и я все расскажу.

— Касриэл, — сказал отец, — сын мой, ты понимаешь, что ты говоришь?

— Я понимаю, что говорю. Если хочешь, могу повторить.

— Ты же знаешь, что оружие спрятано в самых надежных тайниках и других таких не найти, а людей, которые проносили его, столько, что им некуда спрятаться.

— Я знаю, но меня будут пытать, и я все скажу. Смотри сам, отец.

— Ведь я тоже проносил оружие, проносили твой брат и сестры.

— Я знаю, отец, но я все скажу.

— Я — Авраам Липман! — сказал он.

— Хорошо, я могу повторить. Я все скажу, Авраам Липман. Я ничего не могу сделать.

— Слушай, Касриэл, — сказал Авраам Липман. — Ты можешь сделать. Я родил тебя, я мог бы тебя и убить. Но я уже стар, и ты должен мне помочь. Ты понял?

Я усмехнулся. Да и как тут было не засмеяться?

— Конечно, понял, Авраам Липман, — сказал я.

Вот и весь разговор.

Ну как не смеяться? Я и сейчас смеюсь. Авраам Липман, бедный многодетный портной с Калварийского рынка, чьи пальцы исколоты иглой, как небо звездами, который каждую субботу, накинув талес, не спеша идет в синагогу, этот самый Авраам Липман одним махом разделался со всеми Ницше и Спинозами, сказав последнее слово.

Хватит отдыхать. Окурок жжет пальцы, губы. Пора. Не забыть погасить свечу.

Шогер заждался. Он ведь знает, что я приду. Наверно, с вечера приготовил круглый столик с русской водкой, французским коньяком, чешским пивом и польской Ядзей. Шогер — умник. Он догадался выбрать меня, а не моего отца, брата или сестру.

Сейчас-сейчас, до железной калитки рукой подать. Я оттолкну с дороги отца. Постучу пять раз, потом шестой, часовой откроет калитку, проводит меня к Шогеру и откроет мир, в котором черная ночь белее дня. Прихватить бы с собой еще этот косой блин и мириады пестрых игл.

Как ни умен Адольф Шогер, а свалял дурака, дав мне столько времени. Неделя — это семь дней. За семь дней Господь сотворил мир. А Касриэл отыскал себе погреб, о котором никто не знает, вделал крюк в потолок и свил из тонких бечевок толстую веревку. Веревка прикреплена надежно, петля висит над головой. Я подставляю чурбан. Петля в самый раз, и веревка не трет шею — своя работа.

Окурок затоптан.

Свеча…

Я гашу свечу.

Будьте здоровы, люди, которых называют скотиной.

Будь здоров, Авраам Липман, мой старый отец.

Я отдохнул, задул свечу. Пора. Меня ждет настоящая жизнь, ждет целый мир — русская водка, французский коньяк, чешское пиво и красотка Я…

### Глава девятая

### Ход двадцать восьмой

#### 1

Белые отдали фигуру за лишнюю пешку.

Шогер молчал.

Он пытался сдержать натиск белых и сам подготовиться к атаке.

Белые с трудом прикрывали королевский фланг, но продолжали упорно атаковать.

Круг снова стал уже. Люди придвинулись к столу.

Теперь их взгляды не мешали, не кололи, как иглы.

«Я не боюсь смотреть на людей. Они уже не мешают мне. Почему?

Хорошо, что я не один, что вокруг много людей.

Хорошо, когда вокруг люди».

#### 2

Мы стоим перед моим отцом. Эстер и я. Мы долго упрашиваем его, но он и слышать не хочет.

— Я не могу отпустить вас, — говорит он.

— Можешь.

Это говорю я.

— Вы еще дети, сгинете в два счета.

— Ты просто не хочешь…

— Сын мой, как же я могу хотеть этого?

Эстер молчит, она не смеет спорить с Авраамом Липманом.

— Ты ведь знаешь, что мы составили новую тройку, знаешь?

— Знаю.

— Для тройки мы не дети? Нет?

— Для тройки — не дети.

— Видишь… — говорю я. — Но третьего нет.

— Мне очень жаль, что его нет.

Так говорит отец. Я знаю, ему действительно жаль. И не только Янека. Но он все равно не хочет нас отпустить: кто знает, удалось ли мужчинам вызволить Янека? Жив ли он?.. А ее ли и жив, кто знает, где его искать. Попробуй найди Янека.

— Да, — говорит отец. И добавляет: — Их повезли в сторону Понар.

— Значит, Янек жив, — отвечаю я. — Подумай, папа… Разве мужчины допустят, чтобы Янека увезли в Понары? Он убежит, его сбросят… Даже раненого, даже мертвого. Люди не дадут увезти его в Понары. Ты сам понимаешь, его нельзя увезти, он — Янек!

Отец молчит, нагнувши голову. Он понимает, но молчит.

— Ты же знаешь… — говорю я ему. — Ты все понимаешь… Мы должны искать Янека.

— Хорошо…

Так говорит отец и задумчиво гладит волосы Эстер. Глаза у него глубокие, поблекшие и множество мелких складок вокруг. Я уже сам не знаю, стар ли, нет ли мой отец, но морщин вокруг его глаз очень много.

Я знал, что только мой отец может нам помочь. Ему известны разные способы выбраться из гетто так, чтобы никто не заметил, спрятаться так, чтоб никто не нашел тебя. Он знает все гетто как свои пять пальцев, исколотых портновской иглой, я даже удивляюсь, что человек может знать так много. Наверное, лишь тогда начинаешь столько знать, когда к глазам сбегаются строчки морщин.

— Хорошо… — повторяет отец. — Один день ты не выйдешь на работу. Я скажу, что ты болен. Но договорились — только день.

— Достаточно, — говорю я отцу, — нам хватит даже полдня, увидишь.

Отец печально улыбается.

— Будет ли кто счастливее меня, когда я снова увижу вас всех? Как вы думаете?

Он смотрит попеременно на нас обоих, то на Эстер, то на меня. Я знаю, о чем он думает, и опускаю глаза. Зачем это, отец? Зачем объяснять, Авраам Липман…

— Завтра утром, — говорит отец, — в гетто придет военный грузовик за дровами. Шофер вывезет вас за город, а там — ищите. Обратно будете добираться своим ходом. Не забудьте спороть звезды. И иголку с ниткой не забудьте. Только берегите себя, ради Бога…

Отец еще долго объясняет, как нам держаться, где искать и когда идти обратно.

Мы знаем, где искать. Я только одного не понимаю.

— Грузовик действительно военный? — спрашиваю я.

— Военный.

— А шофер?

— Тоже военный.

— Немец?

— Немец, а что?

— Не понимаю, почему он должен нас везти…

— Хм! — усмехается отец. — Разве немец не может водить машину?

— Н-н-не-е…

— Видишь ли, — говорит отец, — немец-то он немец, только иной немножко. Теперь ты доволен?

— Гм… Доволен.

Наконец и утро.

Приезжает крытый армейский грузовик.

Его нагружают сухими дровами и оставляют для нас крохотную щель. Мы забиваемся туда. Немец, злой и хмурый, с лязгом захлопывает дверцы. Даже не разговаривает с нами.

В кузове темно. Тихо, мотор еще не заработал. Мы слышим собственное дыхание, поленья пахнут смолой и давят со всех сторон, а по временам откуда-то издалека доносится сквозь тонкий борт чей-то голос.

Включается мотор, машину начинает трясти.

Едем!

Мы всем телом ощущаем неровные булыжники мостовой и дрова, которые напирают со всех сторон. Мы не замечаем, что сидим прижавшись, плечо к плечу, щека к щеке.

О чем сейчас думает Эстер?

Я думаю о том, что страшно ехать в полной тьме, сидя в немецком грузовике, ощущая всем телом булыжники мостовой, когда шофер-немец и поленья давят со всех сторон, летят на голову, а дверцы машины заперты снаружи. Мы едем и молчим. Молчим, вероятно, потому, что нету Янека и надо его найти. Если бы не это, я ни за что на свете не полез бы в темный, наглухо закрытый немецкий автомобиль, где своими ушами слышишь, как снаружи с лязгом запирают дверцы, скрещивая металл с металлом.

— Эстер, о чем ты думаешь?

— Я рада… Мы едем, а Янек и знать не знает, что мы на пути к нему.

Мне стыдно.

Эстер думает о Янеке.

Почему же я прежде всего подумал о кромешной тьме, а потом уже о нем?

Янек был прав, когда сказал мне:

«Не сердись, Изя… Ты не сердишься? Не сердись, но я никак не могу найти Мейку. Ты — хороший товарищ, но Мейки все равно нет…»

Машина останавливается.

Скрежещет железный засов.

— Выходите, — говорит солдат по-немецки.

Мы вылезаем. Немец ждет. Он мог бы захлопнуть дверцы, сесть в машину и ехать дальше.

Что он стоит? Чего он ждет?

— Мы уже за городом, — продолжает немец. — В городе точно нету вашего Янека. Если найдется, то здесь. Видите тот лес? Дальше не заходить ни в коем случае. Там Янека тоже нет. Там начинаются Понары.

— Хорошо, — отвечаю я. — Мы не пойдем туда. Янека там нет, он должен быть где-то здесь, поблизости.

Солдат все еще стоит.

— Обратно пойдете той же дорогой, — говорит он, — а потом прямо по улице. У костела свернете вправо, затем четвертая улица налево. Спуститесь вниз и ждите в подворотне. Этой улицей ваши возвращаются с работы, и там уже близко гетто.

— Я знаю.

Немец удовлетворенно кивает.

Он все еще стоит, не спешит захлопнуть дверцы, сесть в кабину и уехать.

Мне как-то неловко разговаривать с ним. Со мною говорит только один немец, Шогер, когда мы играем в шахматы. Мне трудно освоиться с тем, что передо мной совсем иной немец и разговор иной.

Он уже немолод, этот немец. Большие руки, грубые пальцы. Он небрит, на щеках, подбородке и под носом редкая желтая щетина. Глаза серые, усталые и множество морщинок вокруг, только его морщины не такие, как у моего отца. Он, конечно, моложе моего Авраама Липмана.

Немец еще долго разглядывает Эстер, а я — тяжелую руку и зеленый, выгоревший на солнце обшлаг солдатского кителя, лежащий на моем плече.

— Она еще девочка, а ты — мужчина, — улыбается шофер. — И ты в первую голову должен помнить, что осторожность — не позор.

Последние слова он произносит по-литовски, забавно путая ударения. Мне становится смешно, и я улыбаюсь.

Он прикладывает руку к фуражке, захлопывает дверцы кузова, садится за руль и разворачивается обратно в город.

Он приоткрывает дверцу кабины и кричит, стараясь перекрыть шум мотора:

— Я приехал бы вечером за вами, но не могу. Никак не могу!

Мы с Эстер машем ему вслед, сами не понимая, почему мы желаем доброго пути немецкому солдату.

По обе стороны шоссе тянутся домики с огородами, луга. Людей не видно.

Эстер идет по одной обочине, я — по другой. Мы уверены, что Янек лежит где-нибудь в кювете или поблизости от шоссе. Пройдя немного, расходимся: я в одну сторону, она — в другую. Мы обходим все лужайки, огороды, бредем по картофельной ботве. Мне кажется, будто Эстер осмотрела не все, а ей — будто я что-то пропустил. Мы меняемся местами и снова ищем: она идет по моей половине, я — по ее.

— Изя, — спрашивает Эстер, — хорошо, что мы пошли искать, правда?

— Да, — говорю я, — мы не могли иначе.

— Ты представляешь, — спрашивает Эстер, — вот мы с тобой идем, идем и вдруг видим Янека? Страшно, правда?

— Ничего страшного, что ты!..

— Страшно… Ты представляешь, что тогда будет? Ой, скорей бы уже…

Мы заходим в каждый дом на пути, расспрашиваем людей, работающих в поле. Когда объясняться надо по-польски, говорит Эстер, когда по-литовски — я. Но большей частью мы говорим вместе, перебивая друг друга, и люди смотрят на нас, удивляясь, сочувствуя.

Мы робко стучимся.

Чаще всего дверь открывает женщина.

— Вы случайно не видели вчера две машины с людьми?

— Этих машин такая прорва, детки, такая пропасть…

— Там был парнишка, светлый такой.

— Как же я могла видеть, детки?

— Молодой парень, зовут его Янек.

— Проходили машины давеча. Видать, и те две прошли. Только нет, не видела я вашего Янека.

— Может быть, не в машине? Может, где-нибудь поблизости? Может, мимо проходил?

— Нет, не проходил, не видели…

Мы хотим идти дальше.

Тогда нам предлагают поесть. Я не знаю, почему нам в каждой избе предлагают поесть. Женщина начинает хлопотать, несет хлеб, обернутый рушником. Бежит в чулан и приносит молоко в глиняной кринке.

В каждом доме нас хотят накормить.

Мы уже сыты, мы ели уже три раза. Но ведь женщина не знает, она бежит в чулан, тащит хлеб, завернутый в рушник, несет кринку молока и просит, чтоб мы сели за стол, отдохнули и закусили.

Нам еще идти и идти.

Снова закусываем и идем дальше.

Хозяйка, накинув белый платочек, провожает нас.

Солнце уже перевалило за полнеба, надо поторапливаться, но торопиться нам неохота. Остались только два дома: большая усадьба под железной крышей да покосившаяся избенка на самой опушке леса. Оттуда придется возвращаться. Дальше идти нельзя, там наверняка уж не будет Янека.

Эстер поглядывает на солнце, озирается.

— Смотри, — говорит она, — Изя, смотри, цветы…

В самом деле, под окошком цветы. Высокие стебли, большие головки, зеленые листья.

— Цветы? Да, — говорит женщина, — пионы. Я ухаживаю за ними, и они каждый год хорошо цветут, даже нынче.

Эстер смотрит на красные головки пионов пристально, будто в первый раз увидела.

Женщина засуетилась, захлопотала.

Вот так хлопотала она и раньше, когда подавала на стол хлеб, обернутый рушником, и кринку молока. Теперь у нее в руках короткий нож с деревянной ручкой. Вот она уже под окном, выбирает пион — самый большой, красивый, с ровными пурпурными лепестками.

— Не надо! — кричит Эстер. — Пусть цветет, не надо!

— Не надо, — говорю и я. — Нам еще далеко, все равно завянет.

Женщина не слушает нас. Она срезает самый красивый свой пион и подает Эстер. Эстер берет цветок, прижимается к нему щекой, потом гладит им мою щеку и возвращает пион женщине.

— Поставьте в воду, — просит она. — В какую-нибудь вазочку или банку. У нас впереди дальняя дорога, и цветок обязательно увянет. Мы заглянем еще в ту усадьбу, потом в избушку у леса, тогда уж в обратный путь.

Женщина берет цветок. Она молчит и смотрит на нас, слегка прищурясь.

— Не ходить бы вам к тем… под железной крышей. Лучше сразу туда, к лесу.

Мы все понимаем.

— Спасибо… Спасибо вам… — говорит Эстер.

Женщина кивает нам на прощание.

Мы идем дальше.

— Две машины? С людьми? — переспрашивает старушка хозяйка.

Мы только киваем в ответ.

Это последний дом, что на самой опушке леса.

— Были, были… — говорит старушка. — Видела, как не видеть…

— И такой светлый парень…

— Светлый? Был, был, — подтверждает она.

Мы ждем. Ждем…

— Тут, совсем рядом дело было, — рассказывает старушка. — Светлый парнишка выскочил из машины, за ним еще один, темный мужчина. Машины быстро мчали, очень уж быстро. Те двое на большак упали, а немцы стрелять затеяли, убили обоих. Машины малость проехали и остановились; солдаты подошли, скинули их в кювет и покатили дальше. Было дело… Может, брат он вам, этот светлый парнишка, или кто? Сразу-то поглядеть боялись мы. Такие времена теперь. А ночью пошли мужики, да не нашли там никого. Видать, увезли их куда-то. Не нашли мы. Было такое, детки.

Что мы можем ответить? Что спросить можем?

— Заходите в дом, — приглашает старушка. — Садитесь за стол, отдохните, закусите. Что нам Бог послал, тем и путник подкрепится. Заходите, заходите.

Старушка суетится, поправляет платочек. У нее все время дрожит подбородок, должно быть, от старости.

— Заходите, не побрезгуйте, детки…

Мы не можем зайти, не можем сесть за стол. Мы не можем отдыхать, запивая черный хлеб белым молоком.

Нам пора.

Время возвращаться обратно в гетто.

Дальше — лес, некуда идти. Наш путь окончен. Да и незачем больше туда ходить. Теперь мы все знаем.

Пора домой. Время возвращаться.

Мы шагаем в город по пыльному шоссе. Дорога долгая, однообразная.

О чем думает Эстер?

Не знаю…

Не знаю, о чем и сам думаю.

Начинается улица. Тоже длинная, долгая. Нас нагоняют трое парней и две девушки. Все с торбами, мешочками, корзинами. Видно, ходили в деревню за продуктами. Они спешат, обгоняют нас, но одна из девушек оборачивается, потом говорит что-то своим спутникам. Они останавливаются и ждут, пока мы подойдем.

— Из деревни? — спрашивает девушка.

— Нет, не из деревни.

— Откуда путь держите?

— Мы искали нашего друга Янека.

Она больше не спрашивает, видит и так, что нас двое и что Янека мы не нашли.

— Его вчера увезли, — глухо говорит Эстер.

Я понимаю, ей трудно молчать, она объясняет им только потому, что ей необходимо хоть пару слов произнести вслух, услышать собственный голос.

— Идемте с нами. Вместе веселей, — говорит девушка.

— Нет, нам еще далеко, — говорю я.

И рассказываю, где нам нужно свернуть направо, где — налево, а где снова прямо.

— О! — говорит девушка. — Нам как раз по пути! До той узкой улочки.

Она смотрит на своих спутников, и те молча соглашаются: да, как раз до той самой улочки.

Мы идем посередине, идем все вместе.

Нам и впрямь лучше, когда вокруг голоса людей.

Подворотня.

Здесь нам придется ждать.

Попутчики проводили нас до самого места и повернули обратно. Вряд ли им было по пути с нами.

Мы прячемся за створку ворот. Тут нас никто не увидит. Достаем нитку с иголкой и пришиваем на место наши желтые звезды.

Скоро пойдут колонны, мы смешаемся с людьми и вернемся в гетто.

Время тянется медленно-медленно, но все же было бы легче ждать, если б не чей-то стон рядом. Кто-то стонет, и нам кажется, что это Янек.

### Глава десятая

### Ход тридцать девятый

#### 1

Шогер закрепился на королевском фланге.

— Романтика…

Он вздохнул и, не дождавшись ответа, продолжал:

— Да, романтика… Вокруг темно, только наша доска освещена. Словно костер. Представляешь, мы с тобой пастухи в Тироле, и фигуры — наше стадо. Мы пасем свое стадо, греемся у костра. Где-то наигрывает свирель, а я пою тирольские песни. Эх и жизнь! Правда?

Шогер расправил плечи, откинулся на спинку стула и, задрав голову, раскинув руки, затянул гортанным тирольским тремоло:

— Ла-ло-ли-лиууу… Ла-ло-ли-ли-лиууу…

Затем навалился грудью на шахматный столик, победно глянул на противника и усмехнулся.

Вечер опускался ясный, тихий, как синевато просвечивающее стекло. Солнце удлинило, вытянуло тени и село за горизонт. Вот-вот должны были выступить звезды — миллионы разноцветных далеких светляков. Под ногами лежали камни, твердые и вечные; легкий ветер хлопал ставней где-то поблизости.

От всего этого и впрямь веяло чем-то таинственным.

Но в этой укромной вечерней тишине были люди. Были карбидные фонари, был шахматный столик и фигуры — мертвые, деревянные, и две живые, сидящие друг против друга, Исаак Липман и Адольф Шогер.

Мертвые фигуры были просто деревяшками.

Живые боролись.

#### 2

— Я родил дочь Риву, — сказал Авраам Липман.

#### 3

Ровно месяц, тридцать дней, прожили они вдвоем в этом домике на крутом берегу быстрой речки, там, где кончались огороды. Домик совсем крохотный — сени да комнатушка. Зато на отшибе. Сюда никто не заглядывал, не совал любопытный нос. В комнатке было все, что надо: стол, тумбочка и две кровати. Спали не раздеваясь, как на фронте. Оба делали вид, будто не замечают, а может, и впрямь не замечали, что он — мужчина, а она — женщина.

Антанас шел по высоким травам, матовым от предрассветной росы, радуясь тому, что впереди петляет узкая тропка. Он улыбался, глядя на свежие следы на чистых, словно вымытых стеблях и листьях травы; примятые, без бусинок росы, они оставили знак, что Рива прошла совсем недавно.

Он тихо ступал, высоко поднимая ноги и оглядываясь по сторонам.

Осторожно перешагнул порог сеней, запер дверь на старый деревянный засов.

Тут же, в сенях, стянул сапоги, повесил на перекладину сырые портянки и на цыпочках вошел в комнату. Рива действительно уже спала. Спала, как всегда, подложив руки под голову и выпятив губы. И, как всегда, Антанасу было смешно смотреть на нее спящую.

Он потянулся, отвернул край тонкого одеяла и уже хотел было лечь на свою кровать, но Рива спала так крепко, так по-детски сладко, что ему вдруг стало не по себе.

В комнате было два окна: одно выходило на речку, другое — на огороды. Он приоткрыл ставни, запиравшиеся изнутри, и тут же увидел немцев. Они шли пригнувшись, широким кольцом окружая дом. Он затворил ставни и подбежал к другому окну, но и там увидел смыкавшееся кольцо — пригнувшихся солдат.

— Рива! Рива! — окликнул он.

Она проснулась и сразу поняла.

Она знала, что это может случиться. Оба знали и были всегда готовы к этому. Ни она, ни он не удивились, что в конце концов это произошло, хотя в глубине души надеялись: авось обойдется, не всегда же должно быть так. Они не думали, что это наступит так быстро. Хотя, правду сказать, не так уж быстро — они прожили в домике на берегу целый месяц, тридцать дней, и все это время им никто не мешал.

Они присели, каждый у своего окна, возле давно проделанных в ставнях прорезей, и стали ждать.

У каждого был автомат с семью дисками, пистолет и одна граната. Еще вчера гранат было много, но прошлой ночью их передали товарищам из гетто. Там, в гетто, требовались боеприпасы, и они не могли себе оставить больше.

Они дождались, когда немцы подойдут достаточно близко, и одновременно открыли огонь.

«Лишь бы не зашли сбоку, где нет окон, — думала Рива, — лишь бы не догадались влезть на крышу».

Антанас бросил взгляд на Риву, приникшую к щели, и подумал: «Если они залезут на крышу и разберут потолок, то ничего не поделаешь — все кончится быстро. Слишком быстро».

Немцы поднялись, и теперь можно было стрелять.

Они снова стреляли и радовались, что все-таки положение удачное: немцы их не видят, а сами как на ладони.

Бой длился долго.

Когда немцы снова пошли в атаку, оба на миг отдернули ставни, бросили по гранате и тут же снова захлопнули.

Немцы откатились. Собственно, спешить им было нечего. Они даже не пытались влезть на крышу. Отступили подальше и сели покурить. Как бы там ни было, домик окружен, и никому не уйти оттуда.

Рива и Антанас тоже сели. Им тоже требовалось отдохнуть. Они сидели на полу, прислонившись к стене, молча смотрели друг на друга и время от времени поглядывали в прорези ставен: не крадутся ли немцы. Но немцы не торопились. Они лишь изредка постреливали, целясь в окна. Пули давно уже выбили стекла и теперь вгрызались в дерево, лениво потроша ставни. Но это было не опасно. Немцы развлекались. И им, двоим, можно было отдыхать.

«Ты знаешь, о чем я думаю? — мысленно спрашивала Рива, глядя на человека, сидящего перед ней. — Я думаю о том, что мы ведь даже не знакомы. Я не знаю твоей фамилии, а ты — моей».

«Я хочу, чтобы ты думала обо мне, — говорил Антанас про себя, не спуская глаз с сидящей перед ним женщины. — Если бы ты знала, как я хочу этого, то, наверное, думала бы обо мне. Ведь трудно представить себе такое, просто смешно — прожили бок о бок целый месяц, тридцать дней, а ты не знаешь моей фамилии и я не знаю твоей. Ты даже не знаешь, действительно ли меня зовут Антанасом, а я не знаю — ты Рива на самом деле или нет…»

— Моя фамилия Липман. Рива Липман, — сказала она вслух.

Он улыбнулся и ответил:

— Янкаускас. Антанас Янкаускас.

В ее окно со свистом влетела пуля, прожужжала пчелой и швырнула ему в лицо горсть щепок. Оба вздрогнули. Антанас, улыбнувшись, отряхнулся, но улыбка получилась грустной, и Рива подумала: «Мы делаем ошибки, хоть не имеем права ошибаться. Надо было уйти в другое место. Мы же знали, что рано или поздно это случится. Мы сделали большую ошибку. И видно, ошиблись еще где-то, раз они пронюхали, что мы здесь. Пройдет время, и другие узнают об этом, а пока что мы сидим друг перед другом и сами не знаем, где, когда и как совершили еще одну ошибку».

«Задержись они на три дня, — думал Антанас, — им бы уже не найти нас: мы бы спокойно жили на другом конце города и опять вместе с Ривой и другими ребятами ходили на операции».

— Как ты думаешь, наши скоро сумеют уйти в лес? — спросила она.

— Аба предлагает первым делом вывести молодежь.

— В гетто много оружия.

— Все равно всех сразу не уведешь. Лес еще надо завоевать. В трех землянках не больно-то по-партизанишь. Понимаешь? Да и гетто тоже надо охранять. Им там трудно. Им слишком трудно. Если бы Митенберг был жив…

Да, если бы Митенберг был жив…

Она вспомнила Гирша Митенберга и вся сжалась.

Думать не хотелось, а все-таки она думала…

Гирша схватили в гетто, но ему удалось бежать. Его искали на всех улочках, по всем домам, но не нашли.

Тогда Шогер вызвал войска, оцепил гетто и сказал:

— Если Митенберг не явится, я сровняю гетто с землей.

Подпольный комитет во главе с самим Гиршем заседал пять часов подряд, и было решено, что он должен пожертвовать собой.

Гирш вышел к воротам гетто и сдался.

Его замучили в застенках гестапо.

— Антанас, почему я вспоминаю только наши ошибки?

— Мы не хотим, чтобы другие повторяли их, — ответил он.

— Да… Конечно… Никто не имеет права так ошибаться.

— Да… Конечно…

Рива застонала.

Он посмотрел на Риву. Ее рука была в крови.

— Сиди, — сказала она, — я не от этого, просто царапина, это было раньше.

Он снова сел.

«Если сдаться живьем, может, посчастливится бежать. Пускай не обоим, важно, чтобы ей удалось. Ей надо бежать… Она должна остаться в живых. Она обязательно убежит… Может быть, оставаться здесь — тоже ошибка?»

Рива посмотрела в потемневшие глаза Антанаса и покачала головой.

«Их много. Нам не убежать. Сейчас не время думать об этом. Мы будем сражаться долго, до последнего. Правда, Антанас? Мы отдыхаем, нам совсем не плохо сейчас. Ты лучше послушай: я вижу лицо моего отца. Он как старое, могучее дерево — стоит, крепко упершись корнями в землю. Нет больше Ины, нет уже Рахили, Баси, Касриэла — это мои сестры и брат. А он стоит. Теперь не станет меня… Нет, не в этом дело. Дерево будет стоять. Только еще одной ветвью меньше. Видишь, Антанас. Он стар, а мы молоды. Ему труднее. Мы сейчас отдыхаем, разговариваем друг с другом. И нам не так уж плохо. А ты думаешь о том, о чем не нужно, совсем не нужно думать…»

Антанас улыбнулся.

— Я не знаком с твоим отцом, — сказал он.

— Он уже немолод. У него борода, как у тебя, только побольше и седая.

Они снова замолчали.

Ему вдруг пришло в голову, что надо спросить Риву, успела ли она сообщить Гите про новый немецкий пулемет, который они зарыли на берегу Вилки, спрятав обернутый тряпкой замок в дупло старой липы. Он должен был спросить, но боялся. Если не успела, все равно ведь уже ничего не исправишь, и лучше не напоминать.

По ее лицу блуждала улыбка.

«Может быть, она все-таки сказала Гите? Хотя кто знает, где сейчас ее мысли…»

Антанас молчал. Ему было достаточно того, что ее лицо просияло.

Теперь в его окно, прожужжав пчелой, влетела пуля и осыпала Риву серой пылью, но стоило ли обращать внимание на пыль?!

«Ты понимаешь, чему я радуюсь? Вижу, что не понимаешь. А я думаю о тебе, мне хорошо оттого, что я знаю тебя так давно, уже целый месяц, тридцать дней. Оттого что в тот раз, когда мы встретились, ты открыл какую-то калитку и вывел меня со двора электростанции, потом пошел со мной, мы шли вместе и вместе видели с Трехкрестовой горы, как взлетела на воздух электростанция, видели первое пламя, зажженное мстителями гетто, и ты сказал:

— За Гирша Митенберга…

И снял шапку.

А я взяла и поцеловала твою руку.

Потом мы шли куда-то, ты долго вел меня задами, пока не привел в этот домик на берегу быстрой речки, которая день и ночь журчит, все гонит и гонит свои воды, слышно даже сейчас, когда мы сидим и смотрим друг на друга». Антанас отвернулся к окну.

«Хорошо, что ты не знаешь, кто я, Рива. Ты не знаешь, что совсем близко, в нашем городе, еще один человек носит эту фамилию, мой брат. Ты не знаешь, что он служит немцам и расстреливает людей в Понарах. Я очень рад, что ты не знаешь. Но мне страшно, что мы с тобой сидим здесь, а вокруг нас немцы, и я не увижу, как ты, твой брат или я своими руками убьем моего брата, того, что носит ту же фамилию. Я знаю, ты не видишь моих мыслей, Рива, и рад тому, но мне обидно, что я не увижу того, о чем мечтаю».

Антанас сидел, по-прежнему отвернувшись.

«Почему он вдруг снова помрачнел? Надо сказать ему что-нибудь… Такое, чтобы он обрадовался… Господи, должна ведь я вспомнить что-нибудь… Сейчас…»

Она вспомнила и улыбнулась.

— Антанас, ты слышишь, Антанас? — сказала она. — Вчера мне рассказали, что ребята в гетто разделались с двумя полицаями и палачом. Те шлялись по ночам, врывались в дома и требовали у людей деньги. Их сбросили в колодец. Мне даже фамилии назвали: Баркус, Янкаускас и Филер. Ты доволен?

Он вздрогнул и обернулся. Теперь его лицо прояснилось.

«Видишь, — думала Рива, — я нашла, о чем сказать, и теперь ты счастлив. Разве важно, что белопо-вязочника звали Янкаускасом, так же, как и тебя? Он твой родственник? Не важно, это совсем не важно. Ведь Филер мог оказаться моим родичем. Разве это важно теперь, когда мы прожили вместе целый месяц, тридцать дней, здесь, на берегу быстрой речки, где все время слышно, как журчит и журчит вода, которой нет ни конца ни края».

Он повернулся к окну, чтобы скрыть свое бородатое лицо, но тут же привстал, схватил автомат, и Рива поняла, что немцы снова пошли в атаку и теперь уже не отступят.

Она прильнула к своему окну и увидела, что они действительно идут. По-прежнему пригнувшись, только на этот раз почти бегом.

Они опять подпустили солдат поближе и одновременно открыли огонь. Немцы залегли. Рива с Антанасом ждали, пока они встанут, но те поднимались не все сразу, а перебегали по одному, и все равно приходилось стрелять, хотя патроны были на исходе и вскоре у них останутся лишь пистолеты.

Они метались теперь от одного края окна к другому и стреляли короткими очередями, чтобы казалось, будто их не двое, будто их здесь много. Потом он упал.

Она услышала грохот и еще, ей показалось, услышала жужжание пчелы — той самой пули, что свалила Антанаса. Ей показалось, и она не могла избавиться от этой мысли, хотя пуль было много, они визжали, жужжали, вгрызались в дерево, уже совсем изгрызли, распотрошили обе ставни, которые и сами были похожи теперь на растерзанные соты. Однако Антанаса сразила не одна пуля, а сразу несколько кусочков свинца, впившихся в грудь.

Рива бросилась к нему, но он, превозмогая боль, нахмурил брови, и она разрядила последний диск Антанаса, стреляя из его окна.

Хотела было снова склониться над ним, но он показал в другую сторону, и она подползла к своему окну и там докончила свой последний, седьмой диск.

Теперь уже было все равно.

Тогда она опустилась на колени посреди комнаты и стреляла из пистолета Антанаса через его окно, а потом из своего пистолета — через свое.

Когда кончилась обойма в пистолете Антанаса, она, крепко сжимая рубчатую рукоять своего оружия, думала лишь об одном, все время думала: не выпустить бы все патроны, оставить один для себя.

И наконец пришла минута, когда остался всего один патрон.

Тогда она наклонилась к Антанасу.

Он улыбнулся краем губ. Видно, все это время, пока Рива отстреливалась, он напрягал последние силы, всю свою волю и ждал, когда она нагнется к нему и посмотрит в глаза.

Антанас шевельнул губами. Почувствовал, что они шевелятся, проговорил:

— Я люблю тебя, Рива… Я тебя любил…

— Я знаю…

Тут силы оставили его, и Рива закрыла ему глаза. Немцы были совсем близко, а она никак не могла решиться: уже пора или подождать еще? Она сама не знала, чего ей ждать, но в голове вертелось одно и то же: «Уже? Пора? Или подождать еще?»

Вдруг она увидела солдата — совсем рядом, за ее окном. Он поднял голову и тут же спрятал, снова поднял и снова скрылся. Рива вся подобралась и стала ждать затаив дыхание. Этого фашиста не могла оставить в живых. Она не могла видеть, как он подымает голову и прячется под ее окном, затем вновь проделывает то же самое. Вся жизнь казалась бессмысленной, нестоящей, если она оставит жить эту ищейку, которая спустя какое-то время опять найдет на каком-то берегу такой же домик и снова будет стрелять, стрелять, стрелять, а потом заглядывать в окно, прятать голову и совать в окно, ставни которого будут дырчатыми, как соты.

Она вся собралась, стараясь успокоиться, чтобы не дрожала рука. Когда остался один патрон, рука не имеет права дрожать. Она должна быть стальной, каменной. Рука должна быть высеченной из гранита и ждать.

Рива ждала, и голова снова вынырнула за окном. Она спокойно нажала курок — рука действительно была как из гранита, и ни один каменный мускул не дрогнул.

Тогда Рива схватила автомат, вышибла остатки оконной рамы и, вскочив на подоконник, принялась водить из стороны в сторону автоматом — пустым, без патронов, но ей было все равно. Ей казалось, он заряжен, и она водила автоматом, целясь в зеленые шинели до тех пор, пока ей не ответил десяток очередей.

Теперь все было хорошо.

Рива упала навзничь и удивилась, что в комнате тихо. Снова было слышно, как бормочет за стеной речушка, только вокруг стояла ночь. Рива нащупала стынущую руку Антанаса и сказала уже не ему, а самой себе: «Знаешь, Антанас… Я любила Гирша Митенберга. Очень любила».

И снова журчала за стеной вода, бурная, стремительная и прозрачная, которой нет ни конца ни края.

### Глава одиннадцатая

### Ход сороковой

#### 1

………………………………………

………………………………………

………………………………………

#### 2

Я лежу в кювете. Мне трудно встать; наверное, надо полежать еще хоть немного и собраться с силами.

Я лежу в кювете, никто и ничто не мешает мне думать. Да, я — Янек.

Я — поляк, Янек, а не Янкель, но на груди и на спине у меня пришиты желтые звезды, а по-еврейски я шпарю не хуже, чем «Отче наш» в детстве, так же, как мой друг Мейка тараторил по-польски. Мейка зарыт в гетто, но я ищу Мейку и знаю, что найду его. Если бы поляков загнали в гетто и меня не было в живых, Мейка тоже пошел бы вместе со всеми и долго разыскивал Янека. Я — Янек.

Я лежу в кювете у шоссе. Никто не мешает мне смотреть в небо и думать.

Все произошло моментально.

В гетто въехали два грузовика. Солдаты выскочили и стали ловить мужчин, кто попадется под руку. Меня тоже загнали в машину. Грузовики были тут же набиты битком и умчались за ворота гетто, на улицу.

Мне трудно встать, но помню все очень хорошо, до последней мелочи. Я смотрю в синее небо и там, как на экране, вижу все — от начала до конца. Мы в машинах.

Наш грузовик идет вторым и старается не отставать от первого. В кузове много людей, все прижаты друг к другу, большинство — пожилые, из тех, что работают в гетто и не ходят в лагерь. Мы сдавлены как сельди в бочке, а по бортам, на откидных лавках, разместились солдаты.

Я сижу впереди, у самой кабины, кто-то прижал мне ногу, но какое это имеет значение. Вижу, как разматывается за машиной узкое шоссе и столбом вздымается пыль. Я понимаю, что это конец. Жил-был Янек, как все люди, и вот пришел его час.

Когда приходит последний час, надо продумать всю жизнь. Я тоже хочу заняться этим, но мне не удается. Вижу столб пыли за машиной, а в голову лезут всякие ненужные мысли: если хотели вывезти стариков, то почему же схватили меня — из молодых в нашей машине только я один. Если хотели выловить молодых, то почему в нашей машине так много стариков и только я один молодой?

Я не обижаюсь, что люди толкают меня. Может быть, им неудобно сидеть, а может, не нравится, что я, самый молодой, попал в переднюю часть кузова. Машину трясет, всех подбрасывает. Почему-то я медленно перемещаюсь среди пожилых мужчин. Мне странно, что все остаются на месте и лишь я один съезжаю куда-то назад. Я уже не вижу, что делается за машиной. Зато мне теперь видно, что впереди. Там гудит мотор передней машины и видна зубчатая полоска леса.

Что там, в лесу? Зачем нас везут в лес?

Снова ненужные мысли лезут в голову. И я не могу сосредоточиться, продумать всю свою жизнь, как положено каждому порядочному человеку, когда близится его час.

Меня оттеснили в самый конец. Чувствую спиной доски. Это задний борт кузова. Чье-то бородатое лицо прижимается ко мне, подмигивает. Я видел этого человека в гетто, но не знаю, кто он и как его звать.

Чего он подмигивает? Хочет развлечь меня? Да мне совсем не скучно.

Он что-то говорит. Не могу разобрать. А! Говорит по-польски. Конечно, по-польски солдаты не понимают. Скажет несколько слов и замолчит, потом снова шепчет, потому что разговаривать запрещено. Я улавливаю эти разрозненные слова и связываю в полные фразы:

— Когда подъедем к лесу, начнется спуск. Машины разгонятся и не смогут остановиться сразу. Тогда выскакивай на дорогу. Я за тобой. Не бойся, только прыгай мягко, чтоб не разбиться.

Опять молчание, а полоса леса тяжело надвигается громадной волной: кажется, вот-вот навалится, подомнет тебя.

Бородатый будто заворожил меня. Я знаю, надо делать, что он велит. Я подчиняюсь этому человеку и ни о чем больше не думаю — ни о жизни, ни о смерти.

— Пора?

— Нет еще.

— Уже?

Он толкает меня.

— Давай!

Я подскакиваю, лечу на дорогу лицом к машине и вижу широкую спину, которая заслонила весь горизонт. Слышу выстрелы, чувствую, как рядом падает человек, и снова слышу выстрелы.

Хочу встать, но в голове туман, все плывет и кружится перед глазами. Кто-то останавливается над нами, нас катят куда-то по земле. Я падаю в какую-то темную бездну. Что это — последний мой час? Мой последний миг? Куда я лечу?

Я лежу в придорожном кювете. Никто не мешает мне смотреть в небо и думать.

Наверное, хватит так лежать.

Я приподнимаюсь и вижу рядом с собой человека с бородой, того, что подмигивал мне, а я все не мог догадаться, в чем дело, который шептал по-польски, чтобы солдаты не поняли.

Кровь запеклась на его лице и одежде.

Он мертв, этот бородач.

Надо уходить, но я не могу бросить его здесь. Он лежит, неловко подвернув руку.

Я стягиваю с себя пиджак. Желтые звезды. Сорвать их? Скомкать в ладони и выкинуть? Они больше не нужны, но и не мешают. Я расстилаю пиджак, взваливаю на него тело бородатого и осторожно волоку по кювету. Голова еще кружится, но надо спешить.

Мы тащимся по кювету до самого леса. Там, на опушке, попадается длинный, еще не обрушившийся окоп. Подползаем к окопу. Я опускаю туда бородатого, складываю ему руки на груди. Накрываю лицо и руки своим пиджаком. Он словно спит.

Мне страшно.

Хоронить спящего…

Впервые в жизни мне страшно.

Собираю еловые ветви, тащу пригоршни зеленых листьев, бросаю в окоп. Набрасываю все больше и больше, бороды уже не видно, но мне страшно.

Очень страшно закапывать человека.

Рядом — горка песка. Из того же окопа.

Горстями швыряю песок и боюсь смотреть вниз. Потом ложусь, упираюсь ногами в кусты и грудью, лицом, руками сталкиваю песчаную гору в окоп.

Все.

Похоронил.

Совсем недавно человек подмигивал мне, потом своей широкой спиной заслонил горизонт, а я приволок его в окоп, завалил листьями, ветками и засыпал песком.

Схоронил человека.

Я лежу возле окопа. Почему я здесь? Что сейчас — сегодня или вчера?

Не знаю.

Но теперь я один и совсем свободен. Вместе с пиджаком в окопе погребены мои желтые звезды. Можно выйти на дорогу и шагать по ней без опаски. Меня зовут Янек, я иду к своему дяде. Могу зайти в любую избу и попросить воды.

Очень хочется пить.

Здесь мне дадут воды, а дядя будет ужасно рад. Мы с ним давно не виделись. Он примет меня с распростертыми объятиями. Чего доброго, всплакнет и скажет сквозь слезы:

— Ты вырос, Янек, и понял, что самое главное — сберечь свою шкуру. Верно, сынок? Ты исхудал, но это не беда. Наконец ты вернулся, Янек…

У дяди хорошо. Не надо каждую минуту дрожать за себя и за других. Я говорил Изе, что гетто — не только в гетто, оно везде. Может быть. Но на самом-то деле гетто отгорожено, а вокруг города нет никаких оград.

Дядя… Я хочу к дяде. Но еще больше хочу пить. Можно зайти в избушку, и мне дадут воды, хоть целый колодец. Я напьюсь, перестанет кружиться голова, и можно будет идти прямой дорогой в город, никого не боясь.

Я почти свободен.

Пойду к дяде, останусь у него, и тогда всю свою жизнь, сколько суждено мне ходить по земле, не сумею найти Мейку. Никогда не найду своего друга. Не увижу больше лица Эстер. Они с Мейкой похожи как две капли воды.

Не увижу Эстер.

Изя чудак. Думает, я влюблен в Эстер, мою сестру. Он не понимает. А может быть… Нет, не знаю. Я охраняю Эстер, потому что нет Мейки. И ищу своего друга. Если бы он был, он сказал, как уберечь Эстер.

Пить!..

Можно подойти к колодцу. Вода, наверное, не только холодная, но прозрачная и живая. Она окатит все тело, разольется по жилам, поставит меня на ноги и направит прямой дорогой в город, к дяде.

«Самое главное — сберечь свою шкуру…»

Почему так тяжело и так хочется пить?

Лучше бы не ходить к колодцу.

Вернуться туда, откуда меня привезли.

Но если завтра приедут новые машины… Если солдаты снова станут ловить всех подряд, схватят Эстер, поймают Изю… И меня. Мы будем сидеть на дне кузова, а на лавках по бортам — солдаты. Мы будем видеть узкое шоссе и столб пыли. Нам захочется продумать всю свою жизнь, как всем честным людям, когда близится их последний час.

Меня снова оттеснят в конец кузова?

Мне будут отрывисто шептать польские слова, потом прикажут:

— Давай!

И я соскочу на землю и снова увижу широкую спину, заслонившую горизонт.

Почему чьи-то спины должны заслонять меня?

А Эстер?

Изю?

Всех людей?

Я не хочу, чтобы бородатые люди закрывали меня своими широкими спинами.

Страшно.

Наверно, правду говорил Рыжий:

— Нельзя уберечь одного человека. Можно сберечь только всех…

Он, должно быть, знает.

Слушай, Рыжий! Я отдам тебе патроны, которые долго копил для себя. Пусть они будут для всех. Хорошо?

Мне одному не сберечь Эстер.

Я вернусь, отдам ему все патроны и получу свою долю. Мы трое — Эстер, Изя и я — пойдем вместе с другими. Рыжий сведет нас в лес, к партизанам. Вместе с ними мы перекроем дороги, и машины не смогут увозить бородатых людей, им не придется смотреть на клубы пыли и думать про свой последний час.

Очень хочется пить.

По-прежнему манит колодец с кланяющимся перед избушкой журавлем. Но дорога там идет слишком прямо.

Надо обогнуть избушку и высокий журавль дальними полями. Потом выйти на городскую улицу и шагать по ней до костела. У костела — направо, потом четвертая улица налево. Спуститься вниз. Там, внизу, большая подворотня на тесной уличке. Там можно ждать. Если забиться за створку вечно распахнутых ворот, никто тебя не увидит, не заметит. Можно сидеть там в углу хоть всю жизнь. Но так долго не нужно. Вечером, около шести, по этой уличке возвращаются колонны с работы. Из подворотни нетрудно затесаться в любую колонну и, ковыляя со всеми вместе, пройти в ворота гетто, у которых всегда стоят часовые.

Нет, я не хочу пить.

Я, должно быть, шагаю страшно медленно. Ничего, у меня есть время. Почти целый день еще впереди. Можно не спешить, все равно не успею. А дорога обычная, любому городскому пацану известна. Прямо до костела, потом направо, четвертая улица налево, вниз, а там узкая уличка с большой подворотней.

Я иду, иду не останавливаясь.

Время идет.

Я иду вместе с временем.

Солнце движется.

Я двигаюсь вместе с солнцем.

Мы идем все вместе.

Время.

Солнце.

я.

Ничего, что скоро шесть.

Я лежу за воротами, прижимаясь к холодной кирпичной стене. Ужасно хочется спать, и у меня вырывается невольный стон. Стонать нельзя, я знаю. Могут услышать, заметить. Никто не должен заметить меня. Я жду колонну, бредущую с работы. Я не хочу просидеть в углу за воротами всю жизнь. Даже сквозь сон я услышу шаги колонны. Медленные, тяжелые, одинаковые изо дня в день.

Шаги людей, идущих с тяжелой работы.

Сотен людей.

Надо сидеть, ждать и не стонать.

Почему стон прорывается даже сквозь крепко стиснутые зубы? Никогда бы не поверил, что так бывает. Может, это мне только кажется? Может, кто-то стонет у меня внутри, а кругом не слышно?

Мои это стоны или нет? Сам не знаю.

Знаю только, что очень хочу пить.

Глоток воды — и я больше не буду стонать.

### Глава двенадцатая

### Ход сорок девятый

#### 1

……………………………………….

……………………………………….

……………………………………….

#### 2

— Я родил дочь Тайбеле, — сказал Авраам Липман.

#### 3

Это был хороший тайник. Чтобы попасть в него, нужно было пройти через подвал, вынуть угловую плиту, затем, согнувшись, спуститься в тесный овальный лаз, который вел направо, а потом — прямо, открыть обмазанную глиной дверцу и лишь после этого ступить в тайник. Там была настоящая комната, только без окон. Горела электрическая лампочка. Монотонно жужжал вентилятор. На столике стоял приемник.

Этот тайник выкопали два брата. Они спрятали здесь свою больную мать и приемник, который все время передавал известия из Лондона и Москвы. Ноги старой женщины были парализованы, но руки работали. Она лежала в постели и записывала известия.

Вчера в этот тайник доставили Лизу. Она кричала, не хотела идти, тогда ей зажали рот и привели сюда. Она будет жить здесь со старой женщиной и вместе с ней записывать радиосводки.

Конечно, ни вчера, ни сегодня Лиза не притронулась к бумаге и карандашу. Она совсем не слышала, что говорит радио, не видела, что творится вокруг. Она то и дело задумывалась, забывая, что не одна здесь. Перед глазами маячил единственный источник света — электрическая лампочка, в ушах жужжал вентилятор.

Лиза была очень молода, совсем еще девочка, ребенок. Только грудь уже не детская. Грудь у Лизы разбухла и рвалась из рубашки, налитая, как спелый плод.

Там, в палате, навалившись всем телом на подушку, Рахиль сказала Лизе: «Ты смотришь во все глаза и ничего не можешь взять в толк. Дай мне твоего ребенка. Быстро!»

И Лиза дала Рахили запеленутый живой комок.

«Теперь уходи, — сказала Рахиль. — Обойдешь мою койку и вылезай в окно. Только тихо, чтобы никто не видел. Потом беги в соседний дом, там тебя спрячут. Ты должна скрыться».

Лиза, не думая, делала то, что велено, и не спрашивала себя, что будет делать Рахиль, когда останется одна.

Она вылезла в окно, забежала в соседний дом. Она что-то рассказывала, теперь уж не помнит что, и ее отвели в тайник. Ее вели, зажав рот, чтоб она не кричала.

В тайнике поставили еще один лежак.

Лиза сидела на нем и видела ровный свет лампочки, слышала равномерное гудение вентилятора.

— Я не могу… — говорила она, обхватив руками грудь, которая набрякла молоком и распирала рубашку. — Я не могу жить. Всю ночь мне снилось, что он сосет. Молоко течет и течет, вся одежда мокрая, и я вся мокрая.

— Подойди ко мне, — сказала старая женщина, — и дай полотенце. Я стяну тебе грудь, и станет легче.

— Нет, нет. Я боюсь… — говорила Лиза. — Мне все равно будет казаться, что он сосет, и молоко будет течь еще сильней.

— Подойди, я помогу тебе, — сказала старая женщина.

Но Лиза не шла. Она сидела на своих нарах, обхватив грудь руками.

Старая женщина замолчала. Ее ноги отнялись, и она могла только записывать сводки, потому что руки были свободны, и руками она могла делать что угодно.

— Я не хочу больше видеть детей, ни чужих, ни своих, — говорила Лиза. — Мне противно, я не могу даже думать о них. Хоть бы молоко не бежало… Не распирало грудь…

Старая женщина качала головой и ничего не говорила.

В городе, там, где было гетто, висели на широкой площади трое — двое взрослых и девочка. Адвокат Йонас Климас, его жена Она Климене и Тайбеле Липман. Тайбеле, последняя дочь Авраама Липмана. Самая младшая из детей, ей было девять лет.

Они висели уже второй день, и никому не разрешалось снять. К одежде Климасов были косо прицеплены доски, похожие на перекладины православного креста. На досках по-немецки и по-литовски было написано: «ОНИ УКРЫВАЛИ ЕВРЕЯ».

Тайбеле долго жила у Климасов. Еще не было гетто, еще только говорили о нем, когда Ионас Климас пришел к Аврааму Липману.

— Послушай, Абрам, — сказал Ионас, — неизвестно, что будет. Во всяком случае, хорошего ждать не приходится. Пусть твоя Тайбеле поживет у нас. Детей у тебя много, нелегко с ними сейчас. Она — твоя младшая, Тайбеле. Пускай поживет у нас. Зачем ей ходить с желтыми звездами? У нас нет детей, и Тайбеле будет нам как дочь, пока все не переменится.

Липман подумал-подумал и согласился.

Когда здесь, в гетто, было очень худо, Липман радовался, что его меньшая живет в городе, что она у Климасов как дома, Тайбеле, единственная его утеха.

Тайбеле никогда не выходила из дома, зато в доме была полной хозяйкой. Она Климене, придя с работы, каждый день задавала ей уроки, те же самые, что и в школе. А изредка, если была возможность, навещал свою младшую дочь Авраам Липман.

Тайбеле баловали, и она плохо кушала.

Климасы сидели по обе стороны от нее, считая, сколько ложек она съела, и, сколько бы ни было этих ложек, всегда говорили, что вот еще одну, а потом — еще и еще. И так без конца. Если что-то еще оставалось на тарелке, Климас напускал на себя грозный вид и повышал голос:

— А гущу? Гущу?! Тебе бы только жижу хлебать, да? Чтобы глотать полегче? А кто будет гущу есть? Нет, ты скажи мне, кто?! Скажи!

Старая Бронислава, которая на своих руках вырастила Ону Климене и была в доме второй хозяйкой, поначалу только бормотала что-то себе под нос, никто не мог понять, что она там бурчит; да, пожалуй, она и сама не понимала.

В кухне, когда рядом никого не было, она ворчала:

— Ишь, балуют, балуют. Пятнадцать лет, как семьей живут. За все годы своих не дождались, так теперь вот и балуют. Бог весть, к добру ли…

Она была строга с Тайбеле.

Шли дни, бежали недели, месяцы. И однажды Она Климене почувствовала, что готовится прийти на свет еще один человек, тот самый, которого они с Йонасом ждали все эти пятнадцать лет.

Климасы были удивлены, испуганы и обрадованы.

Но больше всех была поражена старая Бронислава. Она надела лучшее платье, повязала выходную косынку и два дня стояла на коленях в костеле.

— Я знаю, почему Ты явил Твою великую милость, — объяснялась Бронислава с Христом. — Эта девочка, Тайбеле, принесла благословение нашему дому. Столько лет жила я на свете, а теперь вот увидела чудо и на смертном одре буду поминать величие Твое, Господи.

Бронислава забыла, что не следует баловать Тайбеле.

Когда Климасы усаживались возле девочки, считая ложки, которых всегда было слишком мало, старая Бронислава, стоя в стороне, вдруг выкрикивала:

— А гущу?! Может, мне оставила?

Пришел срок, и Она Климене родила дочь.

И были в доме две девочки — одна большая, а другая — маленькая, как живая кукла.

А через семь дней пришли немцы и еще какие-то, свои, и увели Климаса, Климене и Тайбеле.

Бронислава своим широким телом заслоняла колыбель и бормотала, глядя на пришельцев страшными глазами:

— Не подходи, злой дух… Отступись, нечистая сила… Опустится могучая длань Господня и в прах обратит вас… Не подходите, исчадья преисподней…

И осталась Бронислава с младенцем на руках. Девочка плакала и хотела материнского молока, а мать висела на широкой площади, там, где не было гетто, и к материнской груди была косо прицеплена доска, похожая на перекладину православного креста.

Не знала, что делать, старая Бронислава. Дождалась вечера, подкараулила на узкой улочке Авраама Липмана, когда он вместе со всеми возвращался с работы, и выложила все как есть.

Липман опустил голову.

Когда Липман опустил голову, козырек его старого поношенного картуза закрыл глаза, и старая Бронислава, которая думала только о новорожденной, совсем забыла, что Авраам Липман — отец, что Тайбеле была его младшей дочерью, единственной его утехой в тяжкую минуту. Она думала только о маленькой девочке Климасов, которая плачет и требует материнского молока.

— Мы придем, Бронислава, — сказал Липман.

В ту ночь Авраам Липман вышел в город с одной из троек. Они пробирались через подвалы и тоннели, по трубам канализации, где очень трудно идти против течения, где тебя все время тащит назад, и кажется, что не продвигаешься ни на шаг и что так будет вечно, сколько бы ты ни шел — день, месяц, год…

Бронислава ждала их и передала им дочку Климасов.

Маленькая живая кукла была запеленута, завернута, старая Бронислава трижды перекрестила ее, а заодно и четырех мужчин, пришедших за ней. Но девочка все равно кричала, она хотела есть, хотела материнского молока.

Авраам Липман прижимал ее к груди, но боялся слишком сильно прижать, и громкий детский крик звенел на узкой улочке. Не успели четверо подбежать к открытому люку со ступеньками, ведущими в тоннель, как нагрянули полицаи. Командир тройки велел всем спускаться, а сам принял бой. И когда двое бойцов и Липман с девочкой были уже внизу, где было легко идти, потому что шли по течению, командир тройки рухнул вниз, закрыв своим мертвым телом вход в тоннель. Вышли из гетто четверо, а вернулись трое, но все равно их было четверо, потому что на руках у Липмана плакал младенец, который хотел молока. И они все четверо отправились в самый лучший, самый сохранный тайник гетто, туда, где лежала парализованная женщина, где радио передавало сообщения Информбюро и где томилась Лиза, видевшая лишь ровный свет лампочки и слышавшая равномерный гул вентилятора.

Лиза закричала от ужаса.

Она увидела Липмана, который смотрел ей прямо в глаза и приближался с плачущим свертком на руках. Старый Липман приближался к ней, не обращая внимания на крик. Лиза вытянула руки, чтобы оттолкнуть их всех. Двум другим мужчинам здесь и впрямь было нечего делать. Но они потеряли своего командира в бою за маленького орущего человека и теперь хотели своими глазами увидеть, как этот человечек перестанет кричать, почуяв на губах материнское молоко.

Лиза вскочила.

— Унесите его, я ненавижу детей, — просила она.

Она взглянула на пеленки и увидела морщинистое личико, светлые волосы младенца.

— Унесите! — вскричала Лиза. — Мне страшно, я умру, если дотронусь до него…

Тогда Липман позвал мужчин. Они усадили Лизу и держали легко обняв. Липман расстегнул Лизе рубаху и положил ребенка ей на колени. Она задрожала, застонала.

— Зажмурься, Лиза. Я расскажу тебе сказку, — сказал Липман. — Я буду рассказывать, а ты слушай, и тогда тебе не захочется больше плакать и будет совсем не страшно.

Лиза зажмурилась, замолчала.

Младенец жадно схватил грудь, набухшую, набрякшую, налитую, как спелый плод. Он жевал своим беззубым ротиком, он торопился, он громко чмокал. И все, на минуту притихнув, слушали, как насыщается маленький, недавно рожденный человек.

Авраам Липман рассказывал Лизе.

Он рассказывал, как жил-был отец и как была у него девочка Тайбеле, и была эта Тайбеле самой младшей из всех его сыновей и дочерей. И как двое бездетных людей взяли Тайбеле к себе и хотели, чтобы она ела как можно больше ложек супа и ни в коем случае не оставляла гущу. Так шли дни, недели, месяцы, и Бог явил чудо: у той бездетной пары народилось дитя. И этот новый человек хочет есть, и ему нужно дать материнского молока, потому что каждому человеку материнское молоко — как земные соки дереву. И надо сберечь его, этого маленького человека, прижать к сердцу и гладить, потому что его матери больше нет, отца нет и Тайбеле тоже нет.

Лиза медленно высвободила руки.

Она все еще боялась смотреть, поэтому лишь чуть-чуть приоткрыла глаза.

Лиза прикоснулась к ребенку и снова задрожала. Она крепко зажмурилась, но потом открыла свои большие черные глаза. Она неловко подоткнула пеленки, в которых барахталась маленькая жизнь, и подала вторую грудь.

После этого она заплакала.

Лиза плакала молча, совсем тихо. Снова было слышно, как спешит насытиться малыш. Слезы катились и падали без звука. Крупные, точно капли росы.

Мужчины, увидев слезы, вздохнули. Они сидели, слушали, как ест маленький, недавно родившийся на свет человек, и радовались, что Лиза плачет.

Хорошо, когда женщина плачет. Ей нужно плакать.

Плохо, когда у женщины нет слез.

### Глава тринадцатая

### Ход пятидесятый

#### 1

— Что?! — вскрикнул Шогер. — Ты соображаешь, что делаешь?!

«Ничья приближается… — думал Исаак. — Я знал, если буду стараться выиграть, то сумею свести вничью… Я знал… Но… что будет, если я выиграю?»

— Что?! — снова крикнул Шогер.

#### 2

— Изя… — шепчет мне на ухо Эстер… — Кто-то стонет здесь, рядом, совсем близко.

— Да, близко.

Мне тоже кажется, что рядом кто-то стонет.

— Сиди тихо, я посмотрю.

Она держит меня за руку, не хочет отпускать, но вот ее рука медленно выскальзывает из моей, и я могу идти.

— Не бойся, — говорю я.

Подворотня глубокая, как тоннель. Я осматриваю все закоулки — никого. Снова стон. Он доносится из угла, прикрытого створкой ворот. Я подхожу, осторожно тяну к себе тяжелую, скрипучую створку. У стены лежит человек. Он, должно быть, спит. Но человек этот мне знаком, я не верю своим глазам.

— Эстер… — тихо зову я.

Она подходит, становится рядом и вскрикивает. Нам страшно.

— Янек? — спрашиваю я.

— Янек? — спрашивает она.

— Янек!

Эстер бросается к лежащему, к Янеку, а я беру его руки, черные от въевшейся земли.

Он вздрагивает и хочет встать на ноги, но я не даю.

— Я заснул? — спрашивает он. — Проспал?

Он еще не понимает, что мы — это мы, Эстер и Изя.

Он протирает глаза. Сначала его лицо встревожено. Потом он пытается улыбнуться.

— Вы… — говорит Янек. — Оба тут… Выискали?

Мы киваем в ответ.

— Я знал… Я все время знал… — с трудом улыбается Янек. — Только я боялся думать об этом.

Пусть говорит что хочет, мы с Эстер переглядываемся.

— Где твои звезды?

— Звезды? Далеко. Они очень далеко, на опушке леса. А что?

— Без них нельзя. Ты ведь знаешь, что будет, если попадешься без звезд?

— Да, да, я помню.

— Что теперь делать? — спрашивает Эстер.

Она забыла все беды, она думает лишь о звездах для Янека. Забыла, что только что его не было. Забыла, что мы сами без звезд шли по городу и любой полицай мог нас пристрелить. Забыла, что еще надо затесаться в проходящую колонну, так чтобы конвоиры не заметили. Она забыла все на свете, сейчас ее волнуют только звезды.

Я, недолго думая, спарываю звезду со своей груди.

— Ты можешь идти? — спрашиваю Янека.

— Медленно, но могу. Могу, конечно! — заканчивает он.

Я пришиваю свою звезду ему на грудь и объясняю:

— Ты, — говорю ему, — пойдешь впереди и обопрешься на меня. Одна звезда будет у тебя на груди, другая — у меня на спине.

— А что, если заметят? — спрашивает Янек.

Да, видно, Янек и вправду плох. Иначе не задавал бы таких вопросов.

— Ни за что не заметят. Ни в коем случае, — успокаиваю я его, а заодно и Эстер. — Ты будешь идти, прижимаясь ко мне…

Он понимает. Он снова улыбается.

— Очередная комбинация. Очень сложная, прямо с шахматной доски, — пытается острить Янек и снова стонет.

Я смотрю на его запекшиеся губы.

— Это ничего, — объясняет Янек. — Это просто так…

Шаги…

Шаги!

Женщины.

Первой выходит Эстер.

Мы приникаем к щели.

Она уже в колонне. Ее нет, затерялась среди своих.

Снова шаги.

Тяжелые шаги мужчин.

Теперь наш черед.

Пора!

Это моя колонна. Рядом со мной шагает Рыжий. Он смотрит сверху вниз на меня и Янека, на Янека и меня. Его глаза широко раскрыты, белесые ресницы повисли в воздухе, удивленные больше, чем всегда.

Он подталкивает своего соседа, тот — другого, другой — третьего. Множество людей, подталкивая друг друга, оттесняют нас в середину колонны, окружают со всех сторон.

Какие звезды? Где звезды?

Не хватает звезд, что ли?

Да их даже слишком много. На каждого человека по две. Разве этого мало?

Звезд уже так много, что могло бы и вовсе их не быть. Разве мало звезд на небе? Миллионы. И не только желтых. Они искрятся, отливая всеми цветами, играют, словно радуга.

Их очень много.

Неужели кому-то не хватает звезд?

Мы проходим ворота.

Мы уже в гетто.

— Пить, — просит Янек. — Теперь ты можешь принести мне воды.

Рыжий ждет нас. Он, наверно, хочет что-то сказать, но Янек повис на нем, и я бегу за водой.

Я приношу много, целое ведро.

Янек опускается на колени и припадает к воде.

Он пьет, пьет, пьет.

Потом переводит дух.

— Вода… — говорит Янек. — Что может быть вкуснее?

И снова пьет, и пьет, и пьет.

— Знаешь, что я хочу сказать? — говорит мне Рыжий.

Он, наверно, забыл, что недавно нас было двое, что наша тройка была неполной и он сам предложил мне найти кого-нибудь еще. Он все забыл. Ему важно только дело. Он непременно должен что-то сказать, этот Рыжий, надо или не надо.

— Знаешь, что я хочу сказать? — повторяет Рыжий. Он смотрит на меня, смотрит на Янека, смотрит на Эстер, стоящую рядом с нами, и продолжает: — Вы должны готовиться очень быстро. Через пять дней, ночью, пойдете в лес.

Чудак этот Рыжий. Он умеет лаять, как собачонка, и мяукать по-кошачьи.

— Ты просто так говоришь, ты шутишь, да, Рыжий? — спрашиваю я.

Рыжий сердится.

Если Рыжий сердится, значит, это правда.

Мы?

В лес?

Это еле укладывается у меня в голове. С большим трудом.

Рыжий мог объяснить, не брякать так сразу… А он выпалил: надо, и будь здоров.

Мы?

В лес?

Да.

Через пять дней, ночью.

Я понимаю, Янеку трудно говорить. Он кривит губы. Улыбается, хочет что-то сказать.

— Я знал, что это будет.

Вот что Янек хочет сказать.

Все-то он знает…

Пусть уж лучше молчит, не разговаривает и поскорей приходит в себя.

— На, — Рыжий, уходя, сует мне в ладонь бумажку.

Я осторожно разворачиваю. Бумажка смята. Но я легко читаю, что на ней написано.

«…Русские, успешно форсировав Днепр, заняли плацдармы в трех пунктах: севернее Киева, южнее Переяславля и юго-восточнее Кременчуга.

Части Красной армии, развивая наступление на Витебском, Могилевском и Гомельском направлениях, широким фронтом вступили в Белоруссию».

### Глава четырнадцатая

### Ход пятьдесят первый

#### 1

— Слушай… Ты! — недобро проговорил Шогер, перекидывая фигуру с ладони на ладонь.

Исаак чуть заметно улыбался.

— Слушай… Ты! Не забудь, на что мы играем. Ты можешь проиграть не кружку пива и не вонючую селедку. Ты поставил на кон все, что у тебя есть: свою голову.

Шогер сжал в кулаке фигуру. Дерево хрустнуло, и круглая головка покатилась по доске.

— Сегодня будет ничья, — сказал Исаак.

Шогер наклонился к самому столику. Вытянув шею, он заглянул Исааку в глаза и тихо проговорил:

— Думай… Как бы не проиграть… Сегодня — мой день.

#### 2

— Я родил сына Исаака, — сказал Авраам Липман.

#### 3

Они шли вдвоем.

По середине мостовой, заложив руки за спину, семенил Авраам Липман.

За ним, по тротуару, тащился конвоир.

Они шли вдвоем, Липман все время спешил: конвоиру тоже приходилось поторапливаться, он не мог отстать. Ему было жарко. Тяжелая винтовка оттягивала плечо. Конвоир то и дело смахивал пот и ругался:

— Куда тебя несет, куда, старый хрен?

Липман делал вид, что не слышит. Ему надо было спешить. Был, наверно, конец погожего осеннего дня, наверно, солнце, перевалив за половину небосвода, удлиняло тени деревьев, домов и людей, наверно, где-нибудь на окраине в маленьких палисадниках или просто под окнами красовались душистые осенние цветы, а над рекой собирался вечерний туман, еще и не туман даже, а теплая кисея, вбиравшая капельки влаги.

Липман не оглядывался по сторонам, он ничего не видел и думал совсем не об осени с ее цветами. Он шел, сгорбившись от бремени лет, и не только от этого, шел, все ускоряя шаг, вскинув подбородок, заросший черно-белой седеющей бородой, высоко задрав голову, покрытую старым потертым картузом, так что козырек не закрывал его выцветших, окруженных сбежавшимися морщинами глаз.

Совет гетто выяснил, что Шогер не получил никаких инструкций о проведении детской акции, он ее сам придумал, и поэтому к коменданту гетто послали Авраама Липмана. Времени было в обрез. Завтра утром всех детей до десяти лет приказано собрать у ворот гетто, откуда их увезут. Куда — все знали.

«Коли я взопрел, то каково ж ему, старому хрену?» — думал конвоир, поспевая за Липманом.

— Не беги, не беги, успеется, — проворчал он. — Думаешь, Шогер больно жалует незваных гостей? Га! Смотри, как бы тебя оттуда вперед ногами не вынесли. Га!

А про себя добавил: «Чудной народ, бестолковый. Сам на смерть бежит. Га!»

— А что, как я сейчас возьму и шлепну тебя? — сказал конвоир, поправляя сползавшую винтовку. — Вам запрещается ходить по улицам после шести вечера.

Авраам Липман по-прежнему делал вид, что не слышит, но потом обернулся и сказал чуть осипшим, задыхающимся голосом:

— Я не могу тебе ответить, потому что нам запрещено разговаривать с неевреями на улице.

— Га! Старый черт, — ругнулся конвоир и вытер пот рукавом зеленого кителя.

Они шли вдвоем, часто спотыкаясь. Лимпан все спешил и спешил, а конвоир старался не отставать и плелся за ним то быстрей, то медленней, время от времени ругаясь.

Возможно, был конец славного осеннего дня, возможно, где-то душисто пахли цветы, быстро текла река, собирая вечернюю мглу на своей спине, но все это было далеко, а тут, здесь, по мостовой семенил Авраам Липман, плелся по тротуару полицай, и перед ними за высоким забором красовался дом Шогера — небольшая двухэтажная вилла со свежевыкрашенными стенами и черепичной крышей.

У калитки Липман остановился перевести дух.

Наконец-то и конвоир смог отдышаться.

Они позвонили, но никто не отозвался. Толкнули калитку и пошли, теперь уже не спеша, по выложенной цементными плитками дорожке, обсаженной прямоугольной живой изгородью.

Дверь открыл часовой.

— Меня прислал юденрат, — сказал Липман.

Часовой ушел, потом вернулся и показал комнату, где, по-видимому, находился Шогер. Липман был здесь однажды, он знал эту комнату и, не раздумывая, уверенно шагнул к высокой двустворчатой двери с блестящей бронзовой ручкой.

Полицай остался в коридоре, предпочитая не соваться Шогеру на глаза, а Липман вошел и притворил за собой тяжелую дверь.

Высокая просторная комната была обставлена мебелью орехового дерева.

Мебель Шогеру делали лучшие мастера гетто.

«За что мы поднесли ему эту мебель? — напряженно думал Липман. — Мы много дарили ему но мебель…»

Он поморщил лоб и наконец вспомнил.

«За Эстонию… Да, да, за Эстонию. Он хотел отправить часть работоспособных мужчин в какой-то эстонский лагерь. Мы поднесли ему ореховый гарнитур, и он никого не тронул. Да, за Эстонию…»

Вдоль стены с тремя высокими окнами стоял длинный стол, инкрустированный светлыми и темными клетками. Десять шахматных досок. Светлая клеточка из бука, темная — красного дерева, светлая — из бука, темная — красного дерева.

«Этот стол мы подарили ему позже, — вспомнил Липман. — Да, позже, когда он решил уменьшить рацион. Он хотел срезать чуть ли не половину, а урезал не так уж много».

За столом сидели пятеро офицеров при штабе Розенберга. Нагнувшись, они напряженно вглядывались в расставленные перед ними фигуры. Шогер расхаживал по другую сторону стола, переходил от одного офицера к другому и, улыбаясь, переставлял фигуры. Он давал сеанс одновременной игры на пяти досках.

Когда дверь открылась и снова закрылась, Шогер повернул голову.

Он смотрел не на Липмана, а на его старый, замусоленный картуз.

Липман мгновение поколебался, но картуза не снял.

Первый раз, когда Липман не снял шапку, Шогер приказал дать ему десять плетей. Плеть — кожаный кнут со стальной проволокой внутри.

— Таков наш обычай, — ответил Липман. — Я не могу иначе.

Когда Липман не обнажил голову во второй раз, Шогер велел всыпать пятнадцать горячих. Той же плетью.

— Таков наш… обычай, — ответил Липман. — Не могу иначе.

В третий раз Шогер назначил двадцать и сам отсчитывал удары.

Когда Липман поднялся со скамьи, он ответил Шогеру:

— Такой… у нас… обычай… Иначе не могу.

Тогда Шогер отсчитал еще пять плетей, хмыкнул и ушел.

Да, теперь он снова смотрел на картуз Липмана. Липман на миг поколебался, но картуза не снял, и Шогер ничего не сказал.

Шогер переставил фигуры, словно это были не шахматы, а детские игрушки. Он с улыбкой шагал от партнера к партнеру, делал ходы, почти не думая, и тем не менее его противники сдавались один за другим.

Шогер поблагодарил офицеров, они щелкнули каблуками и вышли.

Тогда он сел на стол, на одну из шахматных досок, первую или десятую, на маленькие квадратики, светлые — из бука, темные — красного дерева, и посмотрел на Липмана.

— Можешь подойти ближе, — сказал он.

Липман подошел.

— Вот ведь сукины дети, — продолжал Шогер. — Ни один не выиграл.

— Ни один, — повторил за ним Липман.

— Ты видел, как я их разделал? Видел, как они сдавались? Майн готт! А ведь один мог даже выиграть, тот, что сидел посередине. Ты его знаешь?

— Нет, не знаю.

— Он мог выиграть, но надо было жертвовать королеву, а он струсил. Ха-ха-ха!.. Ты знаешь, что я тебе скажу, Липман? Тот, кто хочет играть в шахматы, должен иметь еврейскую голову.

Он захохотал еще громче.

— У меня, как видно, еврейская голова. А, Липман? Как ты думаешь?

Липман молча отвел глаза.

Шогер посмотрел на старый, поношенный картуз, козырек которого не закрывал сбежавшихся возле глаз морщинок, и сказал:

— Я знал, что вы явитесь сегодня. Ты пришел сам или тебя прислал юденрат?

— Меня прислал юденрат.

— Господин комендант! — прикрикнул Шогер.

— …господин комендант.

— Чего же ты хочешь от меня?

— Я хочу просить вас, чтобы не увозили детей, господин комендант.

— Мы отвезем их неподалеку, в детский дом, — ответил Шогер. — Там им будет лучше. Там они будут сыты, одеты, так что вы можете не беспокоиться.

— Совет хочет, чтобы дети остались в гетто. Совет просит вас не увозить детей, пусть живут с родителями, господин комендант.

Шогер молчал, и Липман добавил:

— Люди верят, что вы оставите нам детей, господин комендант. И мы для вас что-нибудь сделаем…

— Что вы сделаете? — перебил Шогер. — Что еще вы можете сделать? У меня есть все, мне ничего не надо.

— Мы сделаем…

— Липман… Ты уж лучше помалкивай, не проси. Я все равно увезу детей. Ты знаешь, о чем я думаю? Я сейчас думаю совсем о другом. Я знал, что вы явитесь сегодня, но не думал, что пришлют тебя. Я рассчитывал, что ко мне пожалует Мирский. Очень люблю смешить его, этого вашего Мирского. Борода у него совсем седая, лишь там и сям черные клочья. Стоит выдернуть несколько черных волосков, и он начинает смеяться прямо в глаза, этот Мирский.

Липман молчал.

— Так почему же они прислали тебя? Ведь у тебя нет ни малых детей, ни внуков. Я не понимаю, почему пришел ты, Липман.

Липман молчал.

— Почему ты пришел? Ведь у тебя нет маленьких детей, скажи?

Тогда Авраам Липман сказал:

— Все дети — наши, и мои тоже. У меня много детей.

— Господин…

— Да, господин комендант…

— Все равно, ты напрасно просишь.

— Мы вам…

— Постой, постой. Знаешь сказку о золотой рыбке? Так вот, если бы я поймал сейчас золотую рыбку, я не знал бы, чего у нее просить. Разве что сыграть со мной в шахматы. Ха-ха-ха…

— Я вас очень прошу, господин комендант. Не увозите детей. Это последние наши дети, господин комендант.

Шогер стоял, прислонясь к столу и скрестив ноги, его руки были сложены на груди, лицо застыло.

И тогда Липман снял картуз.

Он медленно содрал его с головы и мял в руках. Он низко нагнул голову и проговорил:

— Господин комендант, оставьте нам последних детей.

— Ладно. — Шогер улыбнулся. — Я готов согласиться, Липман. Но я не рыбак, а ты не золотая рыбка. Дети, дети, дети!.. Я соглашусь, если твой Исак сыграет на них со мной. Мы будем играть всего одну партию. И если…

Липман вздрогнул, но не отвел глаза.

— Давай договоримся так, Липман. Слушай внимательно. Как следует слушай. Если он выиграет — дети останутся в гетто, но я убью твоего сына. Сам. Если проиграет, то он останется в живых, но я завтра же велю увезти детей. Ты понял?

— Я понял, но Исаак… Он теперь у меня единственный…

— Я тут ни при чем, Липман, — сказал Шогер. — Разве я виноват, что сегодня ко мне явился ты, а не этот шут Мирский? И чего тебе расстраиваться, Липман? Исак может проиграть, и все останется по-прежнему, как есть. Я тебя не принуждаю, ты волен не согласиться, можешь подумать. Я ведь не приказываю тебе, я только ставлю свои условия.

Липман думал.

— И как ты родил такого сына, Абрам, а? Он мог бы вырасти большим шахматистом, мог бы потягаться с самим Капабланкой, знаешь… Ну?.. Ты решил, Липман?

Липман решал.

Он все еще смотрел на Шогера, на застывшее его лицо, а потом надел картуз.

— Хорошо, — сказал он. — Я согласен. Но вы, господин комендант, забыли еще одну возможность: что, если будет ничья?

— Ты ничего не смыслишь в шахматах, Липман. Твой сын не задал бы такого вопроса. Сделать ничью труднее, чем выиграть или проиграть. Нет, ничьей не будет. Впрочем, ладно, я готов пойти на уступку, Липман. Если будет ничья… Если твой сын сумеет сделать ничью — он останется в живых, а дети — в гетто. Ты доволен?

— Да, — ответил Липман.

— Можешь идти.

— Исаак должен прийти сюда?

— Нет, на этот раз — як нему. Пусть все гетто видит, как мы играем.

— Хорошо, господин комендант.

Липман пошел к выходу.

Он был уже у двери, взялся за блестящую бронзовую ручку.

Шогер догнал его и хлопнул по плечу.

— Слушай, Липман, я скажу тебе прямо: если ты держишься за свою шапку, так постарайся и сына удержать. Удержи на нем шапку вместе с головой. Понял, Липман?

Авраам Липман молчал.

Неровная, щербатая мостовая снова плыла перед глазами.

Липман возвращался в гетто медленно, еле переставляя ноги.

— Эй ты, старая кляча! — кричал конвоир. — Пошевеливайся. Моя смена кончилась, и я не собираюсь гулять с тобой, как с барышней.

Липман делал вид, что не слышит.

Полицай стянул винтовку и саданул Липмана по спине прикладом. Но Липман по-прежнему не торопился.

Надвигался, должно быть, добрый осенний вечер, солнце, должно быть, уже спускалось к горизонту, все удлиняя тени деревьев, домов и человека, где-то на окраине в маленьких палисадниках красовались под окнами пестрые осенние цветы, а над рекой сгущался вечерний туман — скопление серых капелек…

Вернувшись в гетто, Авраам Липман позвал сына.

Исаак слушал молча.

— Ты все понял, сын? — спросил Авраам.

— Да, — ответил Исаак.

— Ты, наверное, плохо слышал. Я повторю…

— Не надо.

— Ты не сердишься, сын?

— Разве я могу сердиться на моего отца?

— Подойди ближе, — сказал отец, — я хочу посмотреть тебе в глаза.

Исаак подошел.

Сын и отец не дыша смотрели друг на друга.

— Отец, — сказал Исаак. — Помнишь, как ты щекотал меня в детстве?

— Я помню.

— В те дни твоя борода еще не была седой.

— Люди старятся, сынок.

— Она и сейчас не совсем седая. Только с проседью.

— Я знаю, какой я сейчас. Ну, подними-ка голову.

Отец захватил в горсть свою поседевшую бороду и провел по шее сына.

— Щекочет… щекочет твоя борода. Совсем как раньше, — сказал Исаак, но только теперь он не хохотал и не смеялся, как раньше.

Тогда Авраам крепко обнял сына и сказал:

— Помни, ты должен беречь себя. Ведь ты можешь сделать ничью, правда?

— Не бойся, отец, я сделаю так, как лучше.

— Я знаю, — сказал Авраам Липман.

Он привстал на цыпочки и, обняв сына, поцеловал его лоб и глаза.

— Я знаю, ты сделаешь как лучше, — повторил он.

### Глава пятнадцатая

### Ход пятьдесят второй

#### 1

Исаак не слушал Шогера. Тот двинул пешку.

Исааку оставалось сделать последний ход. Но какой?

В этот момент можно было сделать вечный шах и свести вничью.

Можно было пойти конем — и выиграть.

У белых было два варианта.

#### 2

Я долго ждал отца. Когда он отправляется в совет гетто или к Шогеру, мне всегда надо сидеть и терпеливо ждать.

Вот и дождался, поговорили. Я еще чувствую у себя на лбу его сухие губы, обрамленные усами и бородой, но мне надо спешить, меня ждет гладкий каменный порог. Меня ждет Эстер. Нас обоих ждет двор, ждет бревно, деревянный ящик. Я умылся и надел свою голубую рубашку. Все неправда. Нет никого кругом. Я — Шимек. Эстер — Бузя.

Шимек летит на свидание к своей Бузе.

Сегодня мы сидим рядом. Я на бревне, и она — тоже. Руки кажутся мне длинными и ненужными. Они мешают, их некуда деть. Бузя сидит рядом, ее голова лежит у меня на плече, густые пепельные волосы волнами текут по моей груди.

— Я не хочу… — говорит она. — Не хочу, чтоб ты был Шимек, а я — Бузя. У той сказки печальный конец. Ты помнишь?

— Помню. «…Не принуждайте меня рассказывать конец моего романа. Конец — пусть самый наилучший — это печальный аккорд. Начало, самое грустное начало, лучше самого радостного конца. Мне поэтому легче и приятнее снова рассказать вам эту историю с самого начала… У меня был брат Беня, он…»

— Хватит! — Эстер трясет меня за руку. — Хватит, Изя…

— Хорошо.

— Ты больше не Шимек, нет?

— Нет.

— И я не Бузя?

— Нет.

— Ты Изя, мой Изя, а я — Эстер…

— Моя Эстер.

Она еще крепче прижимается ко мне. Она гладит мою коротко стриженную голову. Она припадает лицом к моему плечу, и ей, наверное, больно, потому что плечи у меня острые.

Почему руки все время кажутся мне такими ненужными, такими длинными? Они мешают, мне некуда их девать.

— Эстер, — говорю я.

— Ты хочешь что-то сказать мне?

— Хочу.

— Говори, говори, что же ты молчишь?

И я решаюсь.

Я охватываю ладонями ее голову. Мои ладони большие, грубые, а ее личико маленькое, и в глазах сейчас нету никаких чертиков, ни веселых, ни печальных.

Ее губы сами приближаются ко мне, и я шепчу дрожащим голосом:

— Эстер… Я обещал Янеку, что не обижу тебя.

— Разве ты меня обижаешь?

Так спрашивает Эстер, а ее губы рядом. Яркие, как алые ленты, и такие близкие, что я чувствую их запах.

— Эстер… — еще раз говорю я. И мы вновь умолкаем. Больше не надо говорить. Губы Эстер сладки как мед. Щеки Эстер нежны как бархат.

Глаза у Эстер влажны, и слеза ее солона. Мои руки крепко обнимают Эстер. Они очень нужны сейчас, мои руки, и я не могу их оторвать. Но надо. Надо, надо… Я слышу тихий голос, который зовет меня.

Да, это Янек.

— Изя, — тихо повторяет Янек. — Пора… Ты должен идти.

— Почему? — так же тихо спрашиваю я.

Я знаю почему. Я спрашиваю просто так, лишь бы еще не вставать, не уходить отсюда.

— Там приготовлен столик, люди ждут, и Шогер приехал. Тебя всюду ищут, не могут найти.

— Идем, Янек, — говорю я. — Идем, друг.

Мы идем.

Я не оборачиваюсь, чтобы не видеть бревно и одинокую Эстер. Я боюсь взглянуть на нее, чтобы снова не чувствовать ее влажных глаз и слез.

— Идем, идем, — говорит Янек.

Я иду, чего он торопит?

Мы шагаем молча, и я вижу, как Янек опускает голову. Видно, хочет что-то сказать, но не решается.

— Говори, Янек, — помогаю я ему.

Он смотрит на меня серьезными глазами старика.

— Не забудь, Изя, — говорит он, — что сегодня ночью, ровно в двенадцать, мы уходим в лес.

— Не бойся, не забуду.

Янек снова опускает голову, и я чувствую, что он не это хотел сказать.

— Ну, говори, говори, Янек.

— Изя, — медленно продолжает Янек. — Я тебе потом скажу, сейчас уже некогда… Я скажу тебе в лесу. Только я хочу попросить… Не делай так, чтобы мне пришлось искать и тебя.

— Не бойся. Ты хочешь, чтобы была ничья, Янек?

— Да, я хочу, чтобы ты сделал ничью.

— Я постараюсь. Я буду очень стараться, не бойся.

— Хорошо, — говорит Янек.

Он доволен.

Конечно, я должен сыграть вничью, и сегодня в полночь мы уйдем в лес. Ничья!

Да здравствует ничья!

### Глава шестнадцатая

### Последний ход

#### 1

У белых был выбор.

«Если бы я зажмурился и кто-то другой, какой-нибудь невидимый ангел-хранитель, поднял именно ту фигуру, которой надо пойти… Сегодня я не имею права ошибиться. Я должен спокойно подумать и выбрать: ничья или выигрыш. Я не хочу спешить. До Шогера только сейчас дошло, что я готов выиграть…»

Шогер посмотрел в глаза противнику, вскочил со стула и крикнул тем, что толпились вокруг:

— Поставить лампы и отойти! Подальше! Еще, еще!

Люди не шелохнулись, и кольцо вокруг светлого карбидного пятна не стало шире. Люди молчали и не сводили глаз с двух живых фигур.

Шогер резко придвинул стул и, навалившись на столик, проговорил тихо, так, чтобы слышал только Исаак:

— Это уже не лотерея… Тут все ясно, и у тебя нет выбора, делай вечный шах. Ничья!

Бледная кожа на лбу и под редкими волосами Шогера вздрагивала, уши подергивались.

«Теперь я могу встать и плюнуть, — думал Исаак Липман. — Я могу плюнуть в твою арийскую рожу, плюнуть на эти рыжеватые шевелящиеся волосы. Но плюнуть легко. Я хотел бы быть индейцем и срезать твой скользкий скальп, вот тогда бы я был доволен. Не бойся, я не плюну. Важно, что и сегодня, как всегда, я хозяин положения. У меня есть два хода, и я могу выбрать что захочу. Я только не могу ошибиться — на этот раз не имею права».

Шогер сидел, навалившись на столик.

Лицо его до линии бровей было спокойным, застывшим. Не вздрагивали углы рта, не подергивались щеки, не моргали ресницы, глаза смотрели холодно, как две могильные ямы. Только ерзала кожа головы, заставляя двигаться непрестанно вверх-вниз рыжеватые, гладко причесанные волосы.

«Я не знал, что так трудно выбрать один ход из двух возможных…» — думал Исаак.

Он видел перед собой дергающиеся уши Шогера.

Он отвернулся. Но по-прежнему видел подрагивающую кожу его лба.

— Я скажу тебе правду… — медленно, с расстановкой проговорил Шогер, не думая, что кругом люди. — Детей ты все равно не спасешь. Можешь спасти только самого себя.

Исаак зажмурился.

Перед закрытыми глазами отдельно двигались уши, волосы, кожа лба.

Он открыл глаза: снова скользкие рыжие волосы, напротив, а вокруг — мужчины; они ждали, медленно подступая к игрокам.

Он понял, что есть только один верный ход.

Рука, которая колебалась между двумя фигурами, взяла коня — белую лошадь, мертвую деревянную фигуру, сжала в пальцах и поставила на пустую клетку. Надо было сказать: «Шах и мат», — но у него перехватило горло, там застряли другие слова, которые было необходимо выговорить.

Исаак Липман встал, выпрямился и спокойно сказал:

— Ты проиграл.

Шогер вскочил и долго не мог нащупать кобуру.

Когда он наконец расстегнул ее, страшная тишина навалилась на город и на весь мир.

Шогер чувствовал, что он в кольце. Вокруг была стена. Живая, человек к человеку. Никому не пройти сквозь такую стену.

Он зажмурился, и снова открыл глаза, и увидел, что кольцо сжимается. Цирковая арена вдруг ушла из-под ног. Пропал и фокусник, и волшебная палочка. Людская стена придвигалась, близилась, ничто не могло ее отвратить, и была она уже не кольцом, а готовой захлестнуться петлей.

В центре по-прежнему были шахматы, ярко горели фонари…

Шогер успел еще схватиться руками за шею.

Не осталось ни столика, ни фонарей — живая стена сомкнулась.

Кольцо исчезло.

Конец — печальный аккорд?

Начало, самое грустное начало лучше самого радостного конца?

Иногда и начало может быть концом, а конец — только началом…

Вы знаете, как светит весеннее солнце? Вряд ли вы знаете, как оно светит. Вы не видели, как улыбается Эстер.

Весеннее солнце светит, как улыбка Эстер, а ее улыбка светла, как весеннее солнце.

## Под лунным фонарем

## *Детский роман*

## TIES GATVES ZIBINTU

Посвящается

девочкам и мальчикам — всем,

которые были и есть на свете

— Папа, почему есть люди?

— Что значит — почему?

— Зачем они?

Молчание.

— А луна — с глазами. Она живая?

Из разговора

В полнолуние отчетливо видны все пятна.

Из наблюдений

Переводчик благодарит Софью Шегель

за участие в подготовке романа

к печати

В романе «Под лунным фонарем» цитируются: Дж. Свифт, «Путешествия Лемюэля Гулливера» в переводе Б. Энгельгардта; Р. Распе, «Приключения барона Мюнхгаузена» в пересказе К. Чуковского; А. де Сент-Экзюпери, «Маленький принц» в переводе Норы Галь.

### 1

— Ну что, начнем? — спросил он, положив книгу на колени.

— Подожди немножко, — сказала она, устраиваясь поудобнее.

Он ждал.

— Читай!..

— Ладно.

И он открыл первую попавшуюся страницу:

— «Только через час я достиг конца этого поля, обнесенного изгородью не менее чем в сто двадцать футов вышины. Деревья были так велики, что я не мог определить их высоту. Чтобы попасть с этого поля на соседнее, нужно было подняться на четыре ступени да еще перешагнуть через огромный камень. Мне не по силам было взобраться на эту лестницу. Каждая ступень имела шесть футов высоты, а верхний камень — больше двадцати. Я принялся искать какую-нибудь щель в изгороди, как вдруг увидел, что с соседнего поля к лестнице подходит такой же исполин, как тот, который гнался за нашим баркасом. Ростом он был с колокольню, а каждый его шаг, насколько я мог прикинуть, равнялся десяти ярдам. Охваченный ужасом и изумлением, я кинулся в сторону и спрятался в ячмене. Притаившись, я наблюдал, как великан взобрался по ступенькам на верхний камень, огляделся кругом и стал звать кого-то голосом, звучавшим во много раз громче, чем наш голос в рупор. Он раздавался с такой высоты, что сначала я принял его за раскаты грома. На зов тотчас появились семь таких же чудовищ с серпами величиной в шесть наших кос в руках. Эти люди были одеты беднее первого; по-видимому, они были его слугами или работниками. Хозяин что-то сказал им, и они отправились жать на то поле, где я спрятался. Я старался убраться подальше от них, но мог передвигаться только с большим трудом: ячмень был так густ, что местами я едва мог протиснуться между стеблями… Разбитый усталостью, в глубоком отчаянии, я лег в борозду и от всего сердца возжаждал смерти. Я оплакивал мою овдовевшую жену, детей-сирот и горько сетовал…»

— Хватит, — сказала она и закрыла покрасневшие глаза.

Он замолчал, потому что самому было жаль человека, да и великанов этих тоже побаивался.

— Не хочу, чтобы он был маленький. Пусть он будет большой-большой…

— Ладно, — сказал он, перелистывая книгу, и снова стал читать: — «Мои руки и ноги — а я лежал на спине — были прочно прикреплены к земле. Точно так же были притянуты к земле мои длинные и густые волосы. Вместе с тем я чувствовал, что все мое тело от подмышек до бедер перетянуто множеством тонких шнурков. Я мог смотреть только вверх; солнце начинало жечь, и свет его слепил мне глаза… Вскоре я почувствовал, как что-то живое задвигалось у меня на левой ноге, осторожно пробралось мне на грудь и приблизилось к подбородку. Опустив глаза, я различил перед собой человека ростом не более шести дюймов…

По-видимому, дело обстояло так: едва император получил донесение обо мне, он по согласию с советом отдал распоряжение, чтобы меня немедленно связали (это было исполнено ночью, пока я спал). Он повелел также накормить меня, когда я проснусь, и приготовить машину для перевозки меня в столицу. На первый взгляд такое решение может показаться чересчур смелым и опасным. Я уверен, что ни один европейский монарх не рискнул бы поступить таким образом. Однако, по моему мнению, распоряжение императора было столь же благоразумным, как и великодушным…»

— Тут вырваны страницы, — сказал он. — Читать дальше?

— Читай, читай, — сказала она.

— «…императору пришла мысль развлечь меня акробатическим представлением. В устройстве таких представлений лилипуты своею ловкостью и великолепием превосходят все народы, какие я только знаю. Больше всего поразили меня упражнения канатных плясунов, которые выполняются на тонких белых нитках длиною в два фута, натянутых на высоте двенадцати дюймов от земли…

Исполнять упражнения на канате могут только те лица, которые состоят в кандидатах на высокие должности и ищут благоволения двора. Они с молодых лет обучаются этому искусству и не всегда отличаются благородным происхождением или широким образованием. Когда открывается вакансия на важную должность вследствие смерти или опалы (что случается часто) какого-нибудь вельможи, пять или шесть таких соискателей подают прошение императору разрешить им развлечь его императорское величество и двор танцами на канате. Тот, кто прыгнет выше всех, не сорвавшись с каната, получает вакантную должность. Даже министры нередко получают приказ от императора показать свою ловкость и тем доказать, что они не утратили своих способностей. Канцлер казначейства Флимнап пользуется особой славой за свои прыжки. Ему удалось подпрыгнуть на туго натянутом канате по крайней мере на дюйм выше, чем всем другим сановникам империи. Мне довелось видеть, как он несколько раз подряд перекувырнулся через голову на небольшой доске, прикрепленной к канату толщиной не более английской бечевки. Остальные сановники по своей ловкости мало отличаются друг от друга…

Я подал императору столько прошений и докладных записок о даровании мне свободы, что его величество поставил наконец вопрос на обсуждение министров, а потом государственного совета… Когда мне были прочитаны условия, на которых я мог получить свободу, с меня взяли клятву в том, что я не нарушу их. Вот часть этого документа в переводе с языка лилипутов:

„Гольбасто Момарен Эвлен Гердайло Шефин Молли Олли Гу, могущественнейший император Лилипутии, отрада и ужас Вселенной, чьи владения, занимая пять тысяч блестрегов (около двенадцати миль в окружности), распространяются до крайних пределов земного шара; монарх над монархами, величайший из сынов человеческих, ногами своими упирающийся в центр земли, а головой касающийся солнца, при одном мановении руки которого трясутся колени у земных царей; приятный, как весна, благодетельный, как лето, обильный, как осень, и суровый, как зима. Его высочайшее величество предлагает недавно прибывшему в наши небесные владения Человеку-Горе следующие условия, которые Человек-Гора под торжественной присягой обязуется исполнять:

1. Человек-Гора не имеет права покинуть наше государство без нашей разрешительной грамоты с приложением большой печати.

2. Он не имеет права входить в столицу…

3. Названный Человек-Гора должен ограничивать свои прогулки…“»

— Хватит, — сказала она. — Не надо больше. Мне все равно его жалко. И этих глупых маленьких человечков тоже.

— И мне, — сказал он, закрывая книгу.

Они сидели рядом и молчали.

### 2

Он выглянул из отверстия в стене и увидел, что она, съежившись, сидит совсем рядом. Видно, давно тут ждет.

— Тише… — шепнула она, когда он задел плечом край пролома и ей под ноги скатился камушек.

Он спрятал голову, затем высунулся опять и, не сходя с места, огляделся по сторонам. Ведь она сказала: «Тише!»

Вытянув руку, она коснулась его плеча.

— Пошли…

Он выбрался наружу, на этот раз ссадив локоть. Узкий лаз в стене разбитого дома был слишком тесный, неудобный, и он каждый раз обдирался до крови, как ни старался пролезть аккуратно, осторожно. А ведь так старался! Не потому, что потом, дома, мать с отцом будут укоризненно смотреть, а то и отругают или даже ремня всыплют — не столько за ссадины, сколько за порванную одежу. И не потому, что больно. А это очень больно, особенно когда кромкой кирпича свезешь тонкую кожицу, такую тонкую, что даже крови нет, только частичка тела без кожи и сверху прозрачные капельки, и жжет как пламя, которое ни задуть, ни затоптать.

Нет, не потому.

Он боялся часовых. Часовые, казалось, если даже и не увидят их обоих, то почуют запах крови или этих светлых капелек. А почуяв, оглянутся и тогда уж наверняка увидят, как они с девочкой, взявшись за руки, крадутся под стеной разбитого дома, отсчитывая двенадцать шагов, которые надо проделать, чтобы добраться до укромного тайника в развалинах.

Да, эти двенадцать шагов были очень опасны. И не только потому, что их могли заметить. Если их заметят и схватят, то еще неизвестно, что с ними будет. А вот если часовые увидят дыру, через которую он лазит туда и обратно, то ее замуруют или зашьют досками и ему уже не удастся приходить сюда рано утром или, чаще, под вечер.

И останется она одна по эту сторону разбитого дома, а он — по другую. Не важно, что кроме нее здесь живут еще люди. Много разных людей. У него ведь тоже есть мать, отец и друзья, и людей на той стороне живет еще больше. Все равно она будет одна, как и он.

Он крепче стиснул ее худенькую ладонь.

— Не бойся, — прошептала она, — не увидят… Осталось всего четыре.

Верно, осталось всего четыре шага, восемь шагов уже позади, все равно это было опасное место, которое нужно пройти, прежде чем попадешь в тайник, где их уже никто не найдет, там можно даже кричать: никто не услышит, потому что ни единому звуку не пробиться сквозь толстые стены бывшего монастыря — приглушенный, он уходит вверх и пропадает в небе, под большим фонарем, который раскачивается в вышине и светит им по вечерам, когда стемнеет.

Они могли бы даже кричать и хохотать во все горло, но они не кричали и не смеялись громко — ведь поблизости ходят часовые, которые могут почуять запах крови или светлых капелек, выступавших там, где ссажена кожа.

— Три…

Она всегда отсчитывала шаги.

Сперва говорила:

— Двенадцать…

И ему казалось, что пройти надо сотни километров и дороге этой нет и не будет конца.

А она была спокойна, будто получала особое удовольствие от этой считалки. Может быть, и так. Ведь, начиная с двенадцати, число шагов все время уменьшалось. Когда они наконец ныряли в свой тайник и садились, вернее, падали, тяжело дыша, будто и впрямь отмахали сотни километров, усталые, запыхавшиеся, тогда она, поблескивая острыми нижними зубами (вверху было только два передних, остальные все никак не росли) и широко раскрытыми серыми глазами, со вздохом говорила:

— Все!

Иногда, устав сидеть, они вытягивались на цементном полу. Их убежище было такое тесное, что ее левый бок прижимался к одной стене, а его правый — к другой. И потом, когда он уходил отсюда и тем же путем пробирался к себе во двор, на нем всегда оставались пятна кирпичной пыли. Хотя тайник был узенький и лежали они всегда в одном и том же месте, стены не переставали краситься, каждый раз оставляя следы на коже и на одежде. Очутившись у себя на дворе, он стряхивал, неторопливо стирал рыжеватую пыль, — наверно, ему казалось, что он все еще рядом с ней и упирается боком в стену, а стена оставляет свой оранжевый добрый след. И наверно, она, когда расставалась с ним, думала о том же. И тоже не торопилась. На другое утро — если он являлся утром, — а иной раз даже и вечером он видел, пробираясь вдоль стены или потом, в тайнике, ее плечо, подрумяненное кирпичной пылью.

Но ничего, что тайник был такой узкий и они прижимались друг к другу и к стенам, когда лежали рядом. Лежа, они видели над собой, вверху, большой уличный фонарь в похожем на шляпу колпаке, а еще дальше, еще выше — небо. Хмурое, подернутое облаками, или голубое, темно-синее и черное небо, усеянное звездами, звездочками. Луну еще ни разу не видели, но им и звезд хватало.

— Один… — тихо сказала девочка.

Сначала исчезла она, потому что шла первой, а за ней — и он. У стены было пусто, никто ничего не мог заметить, и было уже не страшно.

Они, скорчившись, сидели друг против друга.

— Ты не боялась? — спросил он.

— Нет, я спешила. Всегда, когда мы с тобой идем куда-нибудь, надо спешить.

Ему было смешно, что она сказала: «идем куда-нибудь».

Как будто они и впрямь могут куда-нибудь идти, как будто их путь каждый раз не один и тот же — двенадцать шагов вперед или назад.

Но он ничего не сказал и не засмеялся.

Он протянул ей две сливы — еще зеленые, едва тронутые желтизной посередке, она не видела этого, потому что здесь было темнее, чем снаружи, а фонарь не светил, но если б и видела, так должна ведь знать, что сливы об эту пору не поспевают, им рано. И еще могла бы спросить, откуда эти сливы, где он их достал, а ему не хотелось, чтобы она знала. Тогда бы и есть не стала. А ей надо было есть. Сливы, не сливы — все, что он принесет.

— А ты? — спросила она. — Одна мне, другая тебе, хорошо? На, бери.

Он проглотил слюну.

— Фу, — сказал он. — Смотреть не могу на эти сливы. Объелся. Но раз ты так уж просишь, кусну, пожалуй.

Она протянула ему сливу, он вонзил в нее зубы до самой косточки, почувствовал на губах сок — горьковато-кислый, вкусный-вкусный — и разжал зубы.

— Кислятина. Не хочу. Сама ешь.

Она ела, медленно высасывая кисловатый, горчащий сок, наверно, ей тоже было вкусно. Ела и смотрела, как он молча сидит напротив. Надкусывала сливу до самой косточки, так же как он, и высасывала сок. Ему славно было глядеть на нее, и он молчал.

— Почему ты не девочка? — спросила она, съев первую сливу и обсасывая косточку.

— Чего?

— Почему ты не девочка?

— Я? Не знаю.

— Был бы девочкой, я бы тебя причесывала.

Ему бы в голову не пришло такое. Он провел рукой по волосам, которые мать недавно стригла простыми портновскими ножницами. Нет, он до этого никогда бы не додумался.

— А ты хочешь? — спросил он. — Хочешь, чтобы я тебя причесывал, если был бы девочкой?

Она опустила голову, а потом кивнула.

— Но у меня гребешка нет.

Она подняла на него большие серые глаза.

— Я нашла сегодня… У меня есть.

Она вынула из рукава длинный костяной гребень, на котором оставалось всего четыре зубца. Он сосчитал. Сначала хотел присчитать пятый, но пятый был совсем коротенький, еле нащупать пальцем, и в конце концов он решил, что зубцов только четыре.

Но все равно то был гребешок.

Она опять наклонила голову и придвинулась близко-близко.

Он стал причесывать ее — медленно, старательно.

Расчесывал ее волосы, а думал совсем о другом. Недавно ему попалась книжка про чудесные вещи, что зовут талисманом. Медленно поднимая и опуская гребень, он думал:

«Ее волосы такие тонкие, мягкие и блестящие. Просто шелковые. Они такие тонкие, что в одной горсти их, наверное, тысячи. Они такие нежные, гладкие и шелковые, что, наверно, могут быть талисманом. Подумать только, тысячи талисманов! Он стоял бы где-нибудь на углу и всем людям, каждому человеку давал по волоску. По одному! И осталось бы еще много-много, целые тысячи. Каждый сшил бы себе по маленькой ладанке, повесил ее на шею, а в той ладанке — нежный, шелковый волос, талисман. И с ним можно никого больше не бояться, никого и ничего. Человек уже не подорвется на мине, не угодит в него ни бомба, ни снаряд, не зацепит осколок и не убьет никакая пуля. И если кто-то поставит людей у ямы и будет стрелять в них, то все пули отскочат от талисмана, вернутся и убьют того, кто стрелял. Вот это да! А ее волосы такие тоненькие, в одной горсти — тысячи, их бы хватило на весь город, а может, еще и на другие города».

Он очень красиво причесал ее. Ничего, что гребень был всего из четырех зубьев, пятый — еле нащупаешь. Ее худые, острые плечи утонули в длинных волосах, а волосы блестели, переливались.

Он спросил:

— Ты знаешь, что такое талисман?

— Нет, не знаю.

— Если у человека есть талисман, с ним ничего не случится, ничего плохого.

— Правда?

— Ага. Ему нечего бояться, все нипочем ему. Здорово?

— А они у кого? У немцев?

— Да что ты! У всяких негров, индейцев.

— А-а…

— Если б твои волосы были талисманами… Они такие блестящие, такие тонкие, мягкие и гладкие… Ты бы остригла волосы?

Она обернулась, посмотрела ему в глаза.

— А ты взял бы себе?

— Один.

— А моей маме дал бы?

— Обязательно!

— И всем-всем, кто здесь?

— Ну конечно.

— А мне бы тоже осталось?

— А как же! Смотри, какие тонкие. Их тысячи!

— Хорошо… Стриги.

Он испугался. Сам не понимая чего. Понурил голову.

— У меня нет ножниц.

— А без ножниц? Можно рвать по одному волоску, чтоб не так больно.

Он представил, как сидит с ней рядом и вырывает по волоску. Его передернуло.

— Нет, нет! Нельзя так! Только стричь. Иначе не годится.

— Плохо… — сказала она. — У нас нету ножниц.

— Плохо… Но мы ведь не виноваты, что у нас нет ножниц и мы не можем делать все, что хотим.

— Можно достать ножницы. Я достала бы, только не знаю, где их искать. Ты лучше знаешь, чем я.

Он снова опустил голову.

— Ладно… достану.

Он гладил ее руку — тонкую, худую, прозрачную.

— Ты не жалей моих волос.

Он повторил, не подымая глаз:

— Ладно… — А потом добавил: — Теперь ты меня причеши!

Она тут же взяла гребень — тот самый, с четырьмя зубьями. Осторожно провела по коротко стриженной голове.

— Если б еще и твои волосы были талисманами, — сказала она, — тогда бы уж точно на всех хватило. Ничего, что они короткие. Верно?

Он кивнул.

Больше руками, чем гребнем, приглаживала она его короткие жесткие волосы и видела, как они блестят.

Потом, когда совсем стемнело, а уличный фонарь почему-то не светил — может, кто-то решил, что еще рано, а может, просто забыл включить, — они вытянулись на цементном полу, плотно прижавшись друг к другу: он уперся в кирпичную стену правым боком, а она — левым.

Высоко вверху, должно быть в небе, они увидели тонкий серп.

— Смотри! — сказал он. — Это молодой месяц. Он целую неделю будет расти, расти, пока не вырастет в полную луну — с носом, ртом и глазами. Через неделю, понимаешь?

Он уже не помнил точно, за сколько времени превращается месяц в полную луну, но почему-то решил, что за неделю. Так и сказал.

— Правда? За неделю он вырастет такой большой? За семь дней?

— Ага. Сама увидишь.

Они помолчали, глядя на молодой месяц.

И почему-то обоим хотелось, чтобы он рос помедленней, пускай не неделю, а гораздо дольше — много дней, много недель и месяцев. Как ни приятно видеть полную луну, смеяться над ее кривым носом, пятнами глаз и разинутым ртом, все же куда приятнее глядеть на тоненький серп и ждать, ждать, пока он вырастет, и знать, что он будет понемножку расти, расти и только потом уже станет круглой, смеющейся луной.

Они лежали, глядя в небо и плотно прижавшись друг к другу, и две старые кирпичные стены, которые все никак не перестанут краситься, осыпали их рыжеватой пылью.

### 3

В этот раз высоко над ними горел уличный фонарь.

Он принес за пазухой книжку — тоже захватанную, зачитанную, с обтрепанными углами, без начала и без конца. Но сегодня он не хотел читать и книжку взял просто так, на всякий случай.

Они лежали рядом и, щурясь, глядели на свет фонаря, а там, под его широкой шляпой, плясали мириады пылинок.

И в ярком свете фонаря рисовались не только острые огненные спицы, но и невиданные миры, которые то ли были когда-то, то ли еще будут когда-нибудь, то ли не будут никогда. Эти миры были светлые, как лампа, и радужно-пестрые, как пыльная шляпа фонаря.

Она зажмурилась.

Перед ее закрытыми глазами кружились, сталкивались сотни светлых ламп и мерцали невиданные миры, которые то ли были, то ли еще только будут, то ли не будут никогда. И миры эти были пестрые, как птицы.

Она еще крепче зажмурилась и спросила:

— Что бы мы стали делать, если мы были бы дети после войны?

Он тоже зажмурился, но молчал, не зная, что ответить.

Да, он не знал, что ответить. Знал только, что она спросит это.

Они часто сидели так друг перед другом и подолгу молчали, а потом она чуть слышно говорила:

— Я хочу, чтобы нам с тобой было весело.

— Разве тебе не весело со мной?

— Нет! Нет! Мне очень весело.

— Так чего же ты?

— Я хочу, чтобы еще веселее.

И снова долго сидели молча.

Не важно, что молчали. Все равно он знал, что она скажет.

— Давай будем дети после войны, — тихо шептала она, опустив голову и закрыв лицо худыми, прозрачными руками.

А он все молчал, не зная, что сказать в ответ.

— ДАВАЙ БУДЕМ ДЕТИ ПОСЛЕ ВОЙНЫ.

Легко сказать — давай. А попробуй вот! Разве получится?

Легко сказать…

Она снова спросила, но теперь уже по-другому:

— Что бы мы стали делать — дети после войны?

Он мог достать из-за пазухи книжку — зачитанную, с обтрепанными углами, без начала и без конца. Но сегодня ему не хотелось читать. Он смотрел выше фонаря — в небо, на лунный серп, слегка раздавшийся, и, так же как она, видел невиданные миры. Радужно-пестрые, как птицы. Как пестрокрылые дятлы.

Почему так бывает, когда смотришь, прищурясь, на фонарь или на молодой месяц?

Они еще маленькие. Совсем крохотные, гораздо меньше, чем на самом деле, просто два карапуза. Они брат и сестра. И даже трудно сказать, кто из них младше, кто старше, такие они малявки.

Зато оба на редкость умные и хитрые.

Лето жаркое, с неба печет, они все живут в лесу, на большой зеленой даче, а кругом тоже зелень, и сосны высокие шумят.

По верхушкам скачут белки. Сядет рыжая на ветку, оглядится — и давай шишки лущить, шелухой плеваться. А глаза — ну точно пуговки, зубки острые — блик, блик — поблескивают. А по крыше скачет — будто гром средь ясного дня, настоящая гроза, только молнии не хватает.

Брат и сестра как услышат, враз притворятся, будто страшно им — очень уж грозная гроза. А сами хохочут.

До того они оба умные и хитрые.

Вот папа закурит, а сестра подойдет и скажет:

— Папа, зачем ты куришь?

— Курю, и все, а в чем дело?

— Не кури, пап…

— Это еще почему?

— Когда ты куришь, у тебя дым из носа…

Брат, он тоже за словом в карман не лезет.

Однажды пришла к ним в гости тетя — красивая, лицо белое такое, а губы красные. Тетя очень ему понравилась, он сразу к ней подошел и спрашивает:

— Теть, зачем ты губы красишь?

Тетя улыбнулась, взяла его на колени и тихонько шепчет на ушко:

— Потому что красиво… Разве тебе не нравится?

— Нет, — громко говорит он. — Мне нравится молочный суп. Только не рисовый, а с макаронами.

Все смеялись и потом еще долго вспоминали этот случай.

Вот тогда-то брат с сестрой и узнали про себя, что они очень умные и хитрые.

А не узнай от других, так сами, может, и не догадались бы. Зато как узнали, ужасно радовались, носились по двору, взявшись за руки и задрав головы, как две лошадки.

Вот захотелось им птицу в красивой клетке. Что толку с этих белок? Скачут, скачут по веткам, не погладишь. Или, скажем, что проку в зайцах, если их никогда не видишь. Вот соседским ребятам, тем, конечно, хорошо. Нашли зайчонка, привязали за лапку и пасут день-деньской на клеверной поляне.

Только что им тот зайчонок, ведь он чужой?

Им нужна была своя птица, чтобы держать ее в красивой клетке, кормить всем, что под руку попадется, слушать, как она поет, как хлопает крыльями. Они были умные и хитрые — дети после войны, а кругом цвело лето, зеленела их зеленая дача, и сосны шумели зеленые, и зеленые поляны душисто пахли, усеянные цветами, и рыжие белки летали по деревьям и громыхали по крышам, как настоящая гроза без молний, и вокруг было ясно, солнечно, и они хотели свою птичку в своей собственной красивой клетке.

Как-то раз пошли они с папой гулять.

Они, может, и не вспомнили бы про птичку, если б не услышали, как пищит кто-то за молодыми сосенками. Пищит и пищит, будто кого зовет, будто хвастает чем-то, точь-в-точь цыпленок, отбившийся от дома, только громче.

— Ладно, — сказал папа. — Вы тут ждите, я попытаю счастья.

Перешел дорогу, перепрыгнул через канаву и, поглядывая по сторонам, двинулся на тот писк.

А они, брат и сестра, стояли, затаив дыхание, чтобы не спугнуть птичку. Они сразу поняли: это их птица, та самая, что будет петь, клевать корм и хлопать крыльями в красивой клетке.

Папа осторожно наклонил сосенку, но опоздал: пискунишка порх на другое деревце! Папа снова подкрался — и снова не успел. Гнался за птичкой от деревца к деревцу, а писк то пропадет, то снова слышится. Брат с сестрой очень хотели, чтобы папа скорее поймал птичку, и все-таки радовались, что никак ее не поймать.

Так и стояли, рты разинув и дышать не смея, — ждали.

И разом взвизгнули, когда папа наконец поймал; теперь из его рук доносилось:

— Пип-пип-пии… Пип…

И увидели свою птицу.

Она была пестрая-препестрая!

Ноги серые, с кривыми пальцами, когти острые, как иголки, — дети их сами трогали. Клюв длинный, с желтым языком.

Острыми своими когтями птичка вцепилась в папин палец и время от времени махала крыльями, но не могла взлететь, потому что папа не пускал. Она злилась, опять махала крыльями, хоть была еще птенцом и далеко бы не улетела, разве что на несколько шагов. Птичка злилась, кричала и била крыльями.

Кричала. И кричала.

Было жаль, что она так кричит.

И голос у птички был совсем не красивый.

Но они — брат и сестра — все равно радовались. Ой, как радовались!

Прыгали вокруг, совали пальцы ей прямо в клюв, а она кусалась, и больно. Тогда они ойкали, визжали и ловили для своей птицы кузнечиков. Не важно, что это был птенец, еще и не оперившийся как следует — только пух смешной да крохотные перышки.

Они совали птенцу кузнечиков, а он не клевал, хотя кузнечики небось самая птичья еда. Только он не ел их, выплевывал и кричал, орал, все так же тоскливо и неприятно:

— Пип! Пип! Пип-карк!

И все-таки они радовались, потому что знали: птичка привыкнет, перестанет орать и будет есть, когда проголодается.

— Пап, ты сделаешь клетку?

— Сделаю.

— Пап! Красивую?

— Красивую.

— И она привыкнет?

— Привыкнет.

— И не будет так противно кричать?

— Не знаю.

Ну как это папа не знает?! Он ведь должен понимать: если птичка привыкнет в клетке, станет есть, когда проголодается, то и кричать не будет. Птичка петь должна. Неужели этот птенец не птичка?

А папа свое:

— Не знаю.

Это он понарошку. Ну конечно же понарошку!

Дети будут любить этого птенца, а потом уже не птенца, а птицу. И будут вкусно кормить и гладить перышки, а потом — перья. Хорошо ей будет с ребятами. Вот только летать не сможет. Ведь из клетки не выпустишь. А выпустишь — улетит, и поминай как звали. Выпускать нельзя ни в коем случае! Ну, так не будет летать, подумаешь. Можно просто крыльями махать — клетку сделают большую, красивую, чтобы места много было.

— Почему она так орет?

— Не знаю, — снова говорит папа.

Стоят они, брат с сестрой, и что еще спросить, не знают.

А все равно довольны.

Все вместе бегут домой.

Вот уже и клетка есть. Красивая, большая. И птица в клетке. Их птица в их красивой клетке. Что там белки — скачут по соснам, не погладишь, что зайчонок — пасется на веревочке, да чужой. То ли дело птица! Их птица в их клетке!

…Высоко вверху горит под колпаком фонарь. Еще выше — молодой месяц, тоненький, узкий — настоящий серп. А когда зажмуришься, рябит в глазах и кружат невиданные миры — пестрые, как птица, разноцветная птица-дятел, и дятлы — пестрые, как мир.

— Нет… — говорит она, толкая его локтем. — Папа отпустил птичку.

— Ну конечно, отпустил, — соглашается он. — Я знаю, почему она так кричала.

— И я знаю.

— Как же мы сразу не догадались?

— А чего нам догадываться? Все равно мы были умные и хитрые.

— Ну да, а она все кричала и кричала.

— Не важно, мы хотели, чтобы у нас была своя птичка в своей красивой клетке.

Но папа все равно отпустил птенца, и брат с сестрой знали, что именно так и было.

Потом они играли, ловили бабочек и стали забывать о пестрой птичке, хоть и жалели, что ее уже нет и не будет с ними. Они бы и вовсе о ней забыли, не чирикни она снова в кустах. И хоть чирикала то же самое «пип-пип», но голос был приятнее, нисколько даже не противный, видно, теперь она кричала что-то другое и не унималась до тех пор, пока ребята не откликнулись. Тогда смолкла. Улетела небось.

Высоко вверху горел большой фонарь и вращались невиданные пестрые миры.

### 4

— «По пути мы не встретили ничего удивительного, кроме нескольких летающих женщин, которые порхали по воздуху, как мотыльки».

— Тети с крыльями? — удивилась она и засмеялась впервые за все время.

— «Шесть недель носились мы над самыми высокими тучами. Наконец увидели круглый сверкающий остров. Это, конечно, была Луна».

— Луна?! — со смехом переспросила она.

— «На Луне все гораздо больше, чем у нас на Земле. Мухи там величиной с овец, каждое яблоко не меньше арбуза».

— Врет! — закричала она, забыв, где находится.

Он отложил книжку, хотел было одернуть ее, но не вымолвил ни слова. Удивленно посмотрел на ее сияющее лицо — посветлевшие глаза, поблескивающие в сумраке зубы — и забыл про часовых. Ходят где-то! А может, их и вовсе нет!

Он стал читать дальше:

— «Тратить время на еду лунным жителям никогда не приходится. В левой стороне живота есть у них особая дверца: они открывают ее и кладут туда пищу. Потом закрывают дверцу до другого обеда, который у них бывает раз в месяц. Они обедают всего двенадцать раз в году!

Это очень удобно, но вряд ли земные обжоры и лакомки согласились бы обедать так редко».

Он глотнул слюну, потому что сам здорово проголодался, и подумал: было б совсем не худо обедать раз в месяц.

— Я бы согласилась! — воскликнула она, будто угадав его мысли. — Но… и сливы тоже пришлось бы класть в эту дверцу? И хлеб?

— Ну и что? Очень даже удобно! — поспешно ответил он.

— Конечно, я ж не спорю…

— «Лунные жители вырастают прямо на деревьях. Эти деревья очень красивые, у них ярко-пунцовые ветви. На ветвях растут огромные орехи с необыкновенно крепкой скорлупой.

Когда орехи созревают, их осторожно снимают с деревьев и кладут на хранение в погреб.

Чуть только царю Луны понадобятся новые люди, он приказывает бросить эти орехи в кипящую воду…»

— У них там нет аистов! — снова засмеялась она. — Понимаешь, люди есть, а аистов нет! Поэтому они странные и смешные, эти лунные жители.

— «Глаза свои они могут вынимать и вставлять. Держа глаз в руке, они видят им так же хорошо, как будто он у них в голове. Если глаз испортится или потеряется, они идут на базар и покупают себе новый. Поэтому на Луне очень много людей, которые торгуют глазами. Там то и дело читаешь на вывесках: „Дешево продаются глаза. Большой выбор оранжевых, красных, лиловых и синих“.

Каждый год у лунных жителей новая мода на цвет глаз.

В тот год, когда я был на Луне, в моде считались зеленые и желтые глаза».

— Врет! Врет! — громко хохоча, перебила она. — Игрушечные глаза?! Как стеклышки?!

— Верно, — согласился он, — вот уж врун так врун!

И оба хохотали до слез, забыв, где они.

Хохотали, взявшись за руки и радуясь, что видят друг друга смеющимися.

— «Но почему вы смеетесь? Неужели вы думаете, что я говорю вам неправду? Нет, каждое мое слово есть чистейшая истина, а если вы не верите мне, отправляйтесь сами на Луну. Там вы увидите, что я ничего не выдумываю и рассказываю вам одну только правду».

### 5

Может, надо было сказать про сливы? Про те две сливы, что принес ей в прошлый раз? Он тогда не мог сказать ей правду и готов был даже соврать, если б она спросила, потому что иначе, чего доброго, и не дотронулась бы до этих слив.

Сливы вывалились из прохудившегося кулька, и солдат подпихнул их сапогом. Сапог был на толстой подметке, подбитой железом. Этот сапог мог подпихнуть не только сливы. Там, где убивают людей, такие сапоги, наверно, пихают мертвых в яму, потому что мертвые никому не нужны.

Он сидел на тротуаре возле своего ящика с тремя облезлыми щетками и все видел.

Как только солдат ушел, он тут же цапнул сливы и в карман. А старый горбун, что сидел по другую сторону двери, смотрел на него и ржал.

Старику, конечно, хорошо смеяться. У него четыре новые щетки, причем две большущие, хоть пол мети. К тому же у горбуна есть вакса: черная, коричневая и белая. От этой ваксы щипало в носу — такой сильный запах стоял вокруг. Старый горбун первым облюбовал это место у солдатской лавки и так лихо орудовал щетками и бархоткой, что рук не видно. Собственно, не будь старика, он сам никогда бы не додумался чистить немецкие сапоги.

Не один день простоял он за углом, наблюдая, как горбун жонглирует щетками и бархоткой, как до земли склоняется перед солдатами, точно хочет лизнуть сапог, чтобы лучше блестел. Можно подумать, старик не сам гнется, а тяжеленный горб давит его к земле.

Он долго искал, пока не раздобыл себе три облезлые щетки, потом смастерил из досок ящик и пришел сюда рано утром.

Старик был уже на месте.

Вроде даже не смотрел в его сторону, но вдруг обернулся и гаркнул:

— Пшел вон!

Он молчал, будто не слышит.

— Проваливай, пока цел!

Он молчал. Как ни боялся горбуна, все равно ничего не говорил.

— Ну погоди у меня, — пробормотал старик, понизив голос, — я живо переломаю все твои щетки, ящик, а заодно и кости.

Он продолжал делать вид, что не слышит.

Тогда старик нагнулся за камнем.

Он не глядел на горбуна. Но видел, как тот нагнулся, взял камень, перекинул с руки на руку. И размахнулся. Замах был широкий, просто непонятно было, как старик, изувеченный тяжеленным горбом, изловчился так размахнуться. Потом он не увидел, а лишь услышал, как трещат, ломаются доски ящика и с грохотом разлетаются по тротуару щетки.

Старику хорошо. Еще бы!

Но он все же встал, дрожа от страха, подобрал щетки, составил ящик и снова сел.

Горбун посмотрел на него и загоготал:

— Черта лысого ты теперь заработаешь, сиди!..

Он еще слышал треск ломающихся дощечек и по-прежнему молчал.

Он и не думал заработать.

Он готов был чистить эти ужасные, кованные железом сапоги, чтобы хоть разок-другой попросить еды. Денег ему не надо.

Место выбрал что надо. Здесь была солдатская лавка с вывеской «Только для немцев», и в этой лавке все было. Почему же не почистить несколько пар этих поганых сапог? Ему должны будут заплатить за труд. Тут-то он и попросит у солдат еды: они всегда покидают лавку со свертками.

Старику, конечно, хорошо. Хоть бы хны ему!

У горбуна ведь не только добротный сундучок со специальной подставкой для сапог. Не только четыре новые щетки, из них две большущие, с длинным волосом, как половые. И не только вакса — черная, коричневая и белая. Старый горбун умеет низко кланяться, будто хочет лизнуть сапог, чтобы лучше блестел.

И не только кланяться — впрочем, может, это горб виноват: гнет к земле.

Еще он шпрехает по-немецки, да, этот старый горбун так и шпарит:

— Айн момент, герр офицер.

— Позвольте другую ножку, битте шён.

— Не думайте, что я для заработка. О майн готт! Исключительно из преклонения перед вашей великой нацией я сижу здесь с утра до вечера.

— Может быть, светло-коричневый крем, если позволите? Яволь! Мой брат — чистокровный ариец. Он присылает мне крем из самого Лейпцига.

— Майн либер герр, ваши сапоги будут совсем как новые в ваших новых походах. Извольте лишь на минутку присесть.

Но лучше всего старику даже не потому, что шпарит по-немецки. У горбуна есть кресло. Настоящее кресло, сидя в котором можно удобно откинуться на спинку и положить руки на подлокотники. Замечательное кресло.

По вечерам железные шторы с лязгом опускались на дверь и окна лавки. Значит, можно вставать и уходить. Никого не дождешься больше, хоть сиди всю ночь.

Горбун посматривал на него и гоготал. Затем аккуратно укладывал в большую сумку хлеб — буханку, а то и две, конфеты, сахар, маргарин и Бог знает что еще, звякал пфеннигами, похрустывал марками.

Правда, третьего дня и ему улыбнулось счастье — впервые. У солдата прохудился бумажный кулек, и страшный сапог отпихнул две сливы.

А сегодня он, как обычно, зря просидел весь день и теперь исподлобья косился на старика, который прятал в сумку свою добычу и гоготал, довольный. Он косился и думал, что горбун этот на самом деле очень стар, хоть и широко размахивается, бросая камень, и что можно подкрасться к нему сзади, когда будет идти домой, бац его щеткой по затылку, сумку хвать — и ходу!

В сумке у старика сегодня полторы буханки. Полторы буханки хлеба!

Пожалуй, даже больше, чем полторы.

Почти две.

Он дрожал, но все равно косился на горбуна и поглаживал самую увесистую из своих щеток.

В это время из лавки вышел последний покупатель. И двинулся к нему.

Он учуял в ранце солдата хлеб. Ранец был набит до отказа и оттягивал солдату плечи. Топорщился нашитый на ранец мех, серый, с рыжими подпалинами — наверное, волчий. Он втянул в легкие побольше воздуха, набрал полный нос и рот сладковатого хлебного запаха, и все тело наполнил этот вкусный дух. У него жмурились глаза, трепетали ноздри, дрожали пальцы.

Солдат поставил тяжелый сапог на шаткий ящик, придавив его к земле.

— Чист!

Он схватил щетки и высоко занес их.

Громадный сапог с толстой подошвой стоял на приплюснутом ящике.

Он поднял глаза, потер щеткой о щетку, и они снова застыли в воздухе.

Перед ним впервые стоял грязный сапог на толстой подошве, окованной железом. Он зажмурился.

— Чист!

Он, по-прежнему не глядя, еще раз потер щеткой о щетку.

И открыл глаза.

На его сломанном ящике, который все больше и больше оседал, продавливался, стоял подбитый железом тупорылый сапог на толстой подметке, забрызганный чем-то коричневым или красным, весь в бурых подсохших пятнах.

— Чист, зукин сын! Чист, шченок!

Он все еще держал щетки в руках, но руки, как на крючьях, повисли в воздухе, словно привязанные, — ни с места.

Он подумал, что надо стереть хоть одно бурое пятно — пусть будет хоть одним пятном меньше на этом грязном сапоге и на других сапогах, всегда и везде, во всем мире. Но сухой щеткой не возьмешь, тут нужна вакса. А ваксы у него нет. И все равно он должен стереть хоть одно бурое пятно.

Он принялся жевать свои губы, щеки, язык и жевал, жевал, пока не набралось немножко слюны, и тогда, все еще с поднятыми вверх руками, плюнул на этот громадный, кованый сапог, на котором то ли красная глина, то ли коричневая трава оставила свой след, или бурая уличная грязь засохла, а может, солдат измазал этот сапог не здесь, а там, где такими сапогами пихают в яму мертвых, потому что мертвые никому не нужны, а даже если еще и живы — все равно.

Он почувствовал удар по голове и услышал, как с треском ломаются дощечки и грохочут, разлетаясь по тротуару, щетки.

И старый горбун гоготал.

А он думал: Господи, как хорошо, что я не сказал ей, откуда сливы. Она бы не стала есть, ни за что бы не стала.

Лежа на тротуаре, он смотрел на солдата, который расселся в кресле горбуна, откинувшись на спинку и положив руки на подлокотники, потом перевел взгляд на старика, щетки которого мелькали так, что рук не видно, и снова уставился на немца, на его сапоги в бурых пятнах и его обшитый мехом ранец, туго набитый хлебом. Конечно, там был хлеб: чувствовалось, что рюкзак тяжелый, плотный.

И он снова потянул носом и ртом, чуя вкусный запах, от которого сладко ныло под ложечкой, и кружилась голова, и по всему телу расходилась истома, трепетали ноздри, щурились глаза, и дрожали руки.

В этой сладкой истоме он вспомнил, что и у старого горбуна есть хлеб — продолговатый кирпичик, полторы буханки.

Полторы буханки.

Пожалуй, даже больше, чем полторы. Почти две.

Две буханки хлеба.

Куда ему столько?

Надо только немного переждать.

Дождаться, когда тяжелые шторы с лязгом опустятся на дверь и окна лавки и станет тихо, спокойно, ни души кругом. А когда старый горбун двинется домой, подкрасться сзади, бац его щеткой по затылку, сумку хвать — и ходу!

Он снова посмотрел на солдата и вдруг узнал его.

Это был тот самый солдат, который всегда последним выходил из лавки с туго набитым ранцем, обшитым волчьим мехом. Он выходил из лавки с тяжелым ранцем за спиной и, насвистывая, шагал по тротуару. Плевать, конечно, что насвистывая. Дело нехитрое, каждый может свистеть, только не каждому охота.

А солдат насвистывал.

Конечно, ему лучше, чем старому горбуну.

Еще бы!

Сапоги на толстой подошве — топчи все что попало.

Ранец набит битком — жри сколько влезет.

И свистеть он не только может, но и хочет.

Что ему, солдату? Дорога не близкая, но ему некуда спешить. Дойдет до конца улицы и свернет у развалин в узкий проулок, где еле-еле разминуться двоим. Солдат никуда не торопится, и он, вскинув на плечи ящик со своими лысыми щетками, может рвануть прямиком через развалины и подкараулить солдата в том проулке.

Они так и встретились однажды. Правда, он тогда еще не чистил сапог. Заприметив этого солдата, дождался, пока тот выйдет на середину проулка, разодрал на себе рубашку, намазал грязью лицо и двинулся навстречу солдату, протянув руку:

— Помогите бедному сироте! Не дайте помереть от голода!

Солдат остановился, похлопал белыми ресницами.

— Брот, брот! — тянул он руку.

Солдат вдруг оживился, подмигнул ему, хлопнул по плечу.

— Я дай тебе конфет!

Снял ранец, расстегнул его и, положив на камень, отвернулся. В проулке застрял большой валун с гладким, будто стесанным, отполированным верхом. Хрустнула обертка, солдат что-то сунул в рот, причмокнул, стоя к нему спиной и продолжая с чем-то возиться.

И наконец повернулся к нему лицом. Показал большую, в ярком фантике, длинненькую такую, красивую конфету. Он осторожно подставил ладонь, а солдат еще осторожнее опустил на его ладонь эту длинную красивую конфету и, причмокивая, посасывая что-то, проговорил:

— Фкусный! Шоколат!

Он не хотел шоколаду и никогда бы не стал просить, ему бы в голову не пришло попросить конфету. Но фантик был такой соблазнительный, и он подумал, что вечером, когда она отсчитает последний шаг и они очутятся в тайнике, он протянет ей руку, а в руке будет большая, вкусная шоколадка. И он ни за что не скажет, где взял, какое ей до этого дело? Ешь, да и ладно.

И он не специально, а как-то само собой, нечаянно, кивнул, благодаря солдата, прошел еще несколько шагов с вытянутой ладонью, а потом сложил пальцы, чтобы поскорее спрятать конфету в карман, и красивая хрустящая бумажка смялась, сплющилась. Он, все еще не веря, сжал ладонь и понял, что в кулаке пустая обертка и больше ничего.

— Ха-ха-ха! — гремело в развалинах. — Ха-ха-ха! Ходить сюда, я тебе еще что-то дай!

Солдат сидел на стесанном валуне и раскатисто хохотал, до того развеселился этот солдат, что хоть и сам, забыв обо всем на свете, держись за живот и смейся — будет вкусно и весело!

Он бросил бумажку и боком двинулся вдоль проулка, оглядываясь на солдата, который все еще сидел на камне, положив рядом с собой ранец, и смеялся, а потом достал сигареты, зажигалку и закурил. Он никуда не спешил, и ему, конечно, было еще лучше, чем старому горбуну.

Солдат не узнал его сегодня, когда подошел чистить заляпанные чем-то бурым сапоги на толстой подошве. Он же, сидя на тротуаре возле раздавленного ящика и разбросанных щеток, узнал солдата.

Сразу его узнал, хотя с тех пор они больше не сталкивались лоб в лоб.

Обычно, пока солдат неторопливо шагал в конец улицы, он пускался прямиком через развалины и первым приходил к валуну. Над плоским камнем нависала стена разбитого дома — на эту стену он и взбирался. Никто его здесь не мог увидеть, а он видел все — и узкий проулок, и приближавшегося, насвистывая, немца. Видел, как тот садится на камень и курит. Потом уходит. Он узнал бы этого солдата из тысячи.

Солдат уходил, а он еще долго сидел на стене.

Нет, он ничего такого не думал, просто играл. Когда немец отходил подальше, он начинал бросать мелкие камушки, метясь в гладкий валун внизу. Первое время никак не мог угодить в середину. Но вскоре стал попадать, все чаще и чаще. Было уже не интересно бросаться мелкими, он брал камни побольше и совсем большие и каждый раз попадал в самую середку плоской макушки валуна.

Наигравшись, спускался в проулок, убирал все камни и вытирал рукавом валун, чтобы на нем всегда было приятно сидеть.

И солдат сидел здесь. Каждый день приходил, садился и закуривал.

И сегодня пришел.

Когда старый горбун дочистил сапоги, немец одним пинком раскидал обломки ящичка, его ящичка, подобрал его лысые щетки, одну за другой расколол их о бровку тротуара и ушел.

Старик коротко гоготнул и поклонился солдату.

А ему пришлось поднажать. Солдат был уже далеко. Зато он несся налегке — без ящичка и облезлых щеток, так что все равно успел.

Солдат еще только сворачивал в проулок, а он уже карабкался на стену, нависавшую над плоской макушкой.

Солдат сидел на своем обычном месте. Ранец сбоку. Еще насвистывая, вынул сигарету. Закурил, клацнув зажигалкой. Дым подымался вверх по стене и щекотал ноздри, но не мог перебить другой запах — от ранца.

И, сидя на стене разрушенного дома, он ртом и носом вбирал в себя этот хлебный дух, и ныло под ложечкой, кружилась голова, и по всему телу расходилась сладкая истома, а ноздри трепетали, жмурились глаза, и дрожали руки.

И вдруг его так и передернуло: подумал, что из-за этой истомы не сумеет закончить всегдашнюю свою игру — бросить самый тяжелый камень на стесанную макушку валуна.

Как раз посередке торчала круглая голова в пилотке набекрень.

Он опустил руки на тяжеленный булыжник — не то приготовленный заранее, не то всегда лежавший здесь. Но руки немели, он боялся, что не доведет до конца игру. Тогда еще раз вдохнул полным ртом сладковатый запах, зажмурился, снова увидел грубые сапоги на толстой подошве, где запеклись то ли коричневые, то ли красные пятна, поднял камень и отпустил — как обычно.

И ничего.

Только каменный стук, грохот.

И вроде охнул кто-то.

А может, почудилось?

Снова кружилась голова, дрожали пальцы, но все же он заставил себя наклониться, посмотреть вниз.

Похоже, там кто-то лежал, а может, казалось? Нет, никого там не было, только ранец валялся под стеной, показывая рыжевато-серый меховой бок.

Он все еще не мог слезть и взять этот ранец.

Но вдруг подумал: что, если явится старый горбун и все подберет? Ого, старик все заграбастает, ему и крошки не достанется!

«Так это ты? Ты играл, да? Ну конечно: игра — твоя, а ранец — мой. Верно? Т-с-с!»

Тогда он ринулся вниз, увлекая за собой обломки кирпича, щебень. Он торопливо перебирал ногами, пока не соскочил наконец в узкий проулок и не очутился перед ранцем.

И снова ныло под ложечкой от незнакомого запаха, голова кружилась, и сладкая истома разливалась по телу.

Это все от запаха хлеба?

Или пахнет уже не хлебом?

Сумеет ли он солгать, когда она спросит, откуда такая уйма пахучего хлеба?

Но может, она не спросит?

А вдруг спросит?

Он еще не решил, подойти ли и взять рюкзак или нет…

Будь это старый горбун, он подкрался бы сзади, бац по башке — и был таков.

В сумке полторы буханки.

А тут гораздо больше.

Ему было известно немало всяких секретов, а теперь узнал и еще один.

Брать или не брать?

Понурясь, стоял он в узком проулке, а руки висели, как плети, точно в плечи забиты гвозди и руки-плети повисли на тех гвоздях.

### 6

— Тише! — шепнула она, и он замер.

Он неосторожно вылез из расщелины в стене, и из-под ноги с грохотом покатился обломок кирпича. Когда все смолкло, успокоилось, она сказала:

— Пошли…

Они взялись за руки, постояли минутку, прильнув к стене, и она проговорила первое, самое важное число:

— Двенадцать.

Но он уже не слушал, он просто радовался.

Он обрадовался сразу, как только выглянул из проема в стене и увидел, что она ждет. Он очень обрадовался, потому что на ней было другое платье — теплое, с длинным рукавом и закрытым воротом. Может быть, потому и уронил кирпич, забыв об осторожности, что увидел на ней что-то теплое. Даже самому теплее стало.

Хоть на дворе и лето, по вечерам в их тайнике свежо. Раскалившиеся за день стены поначалу еще немного греют, но вскоре остывают, и сверху, с черного неба, оседает тяжелая прохлада. Она давит, сковывает. А уличный фонарь даже если и светит, то не греет ни чуточки.

Ее прежнее платьице было тоненькое, как папиросная бумага, из которой клеят воздушных змеев. И к тому же без рукавов, с открытым воротом и еще сбоку рваное.

Конечно, они могли в любую минуту встать и уйти, дома бы уж как-нибудь согрелись, но им не хотелось уходить из своего тайника. Ведь если расстанутся, так до следующего вечера — столько ждать! Ну, нет.

Он обнимал ее обеими руками, и они прижимались друг к другу и дышали близко, почти соприкасаясь губами. И тогда им было совсем не страшно, сразу становилось тепло и весело: ни зима, ни снег — ничто не могло бы их заставить дрожать от холода.

Она успела сказать:

— Одиннадцать.

А теперь было:

— Десять.

Он хотел слушать, но не слышал, что она говорит. Он радовался, что по вечерам ей уже не будет холодно, радовался, что на ней теплое платье, и в то же время чего-то боялся. Страх витал вокруг и между ними, и он хотел отмахнуться, отогнать его, как настырного жука, но не мог взмахнуть рукой, и страх по-прежнему жужжал вокруг, не давая покоя.

Еще раньше она сказала:

— Девять.

А теперь:

— Восемь.

До тайника еще больше чем полпути, и ему очень хотелось прибавить шагу. Плохо, конечно, что он не мог ей ничего сказать, чтобы и она поспешила. Он настороженно озирался по сторонам, хотя все было спокойно, тихо, не видно часовых, а он сегодня не оцарапался, не ободрался, и часовые не могли учуять запах крови и светлых капелек, что выступают там, где содрана кожа.

А злой жук летал вокруг и между ними, жужжал, не давая покоя.

Но разве он мог сказать ей?

Платье было изукрашено белыми слониками, алыми змейками и синими птицами.

Он не впервые видел это платье, он видел его раньше. Может быть, даже не раз, а два или три.

Давно, когда они еще не знали друг друга, он наткнулся на эту щель в стене разрушенного дома. Он часто приходил сюда, забирался в нее с ногами и смотрел на ту сторону.

Там, на той стороне, он и видел игравшую неподалеку девочку. Она катала ржавый обруч и смеялась, когда обруч падал. А обруч был лопнувший и падал то и дело.

На девочке было теплое платье с длинным рукавом и глухим воротом, все в белых слониках, алых змейках и синих птицах.

Потом этой маленькой девочки не стало, и обруч тоже куда-то запропастился.

— Шесть, — тихо сказала она.

Видно, уже раньше было:

— Семь.

Просто он не слышал. Ошибиться она не может, она никогда не ошибается, отсчитывая эти двенадцать шагов. Спроси у нее, сколько будет трижды три, так она, чего доброго, ответит: восемь. А вот эти двенадцать шагов ни за что не спутает.

Значит, осталась половина.

Сейчас будет:

— Пять…

А там уж близко, рукой подать.

Он и не вспомнил бы про девочку, что играла с обручем, если б не это платье — в белых слониках, алых змейках и синих птицах. А тут она сразу всплыла в памяти, и он понял, что ее давно уже нет и никогда не будет.

Ее уже нет, а платье осталось.

Как же так?

Ведь грубые, кованые сапоги запихивают их, мертвых, в яму, а потом закапывают — сами или велят кому-нибудь, — потому что мертвые никому не нужны.

А вдруг она была еще живая, та девочка?

— Скорей, скорей, — проговорил он.

Ему казалось, что они двигаются медленнее, чем обычно.

— Скорее!

— Три, — сказала она. — Скорее нельзя.

А вдруг она была живая, та девочка, когда ее пихнули в яму?

Он понял, что ее уже нет и не будет никогда…

А платье осталось. Может, ей велели сперва раздеться, и тогда…

Остались неживые белые слоны.

Остались неживые алые змеи.

И неживые синие птицы тоже уцелели.

Почему ее убили — голую, раздетую?

Он не слышал, сколько еще шагов. Давно не слышал. Он только понял, что они уже в укрытии, и перевел дух, потому что гадкий жук, который все жужжал и жужжал, остался там, снаружи, здесь его не было.

Теперь ему было страшно дотронуться до пестрого, разрисованного платья, пусть оно теплое, с длинным рукавом и закрытым воротом. Но не мог же он своей девочке сказать, что в этом платье была другая девочка, которой больше нет, хоть ее одежда и осталась. Скажи он, так она, пожалуй, и смотреть не станет на это платье, скинет его и останется нагишом в холодном тайнике.

Он поспешно протянул руки и крепко обнял девочку. Прижал к груди и не отпускал.

Она удивленно посмотрела большими серыми глазами, не понимая, что случилось — ей ведь ничего не скажешь, — и спросила:

— Ну что ты? Мне не холодно. Мне нисколечко не холодно.

Он молчал, не разжимая объятий.

— Правда-правда, — уверяла она. — Сегодня тетя принесла мне платье. Пощупай, какое толстое. Мне действительно тепло. Очень теплое платье.

Он отпустил ее и потупился, потому что она продолжала:

— Ничего ты не понимаешь. Будь ты девочкой… Ты бы сразу увидел, какое красивое у меня платье.

— Я и так вижу, — ответил он, не поднимая глаз. — Теплое, с закрытым воротом и длинным рукавом. И разрисовано красиво: белые слоники, алые змейки, синие птицы. Я вижу… У тебя очень красивое платье.

— Правда?

— Правда. На, поешь.

Он достал из кармана вареную картофелину и дал ей.

— Принес?! — воскликнула она, словно не веря.

— Ага.

— А ты?

— Я сыт.

— Пока шел, небось опять проголодался. На, кусай.

— Не хочется.

— Все равно кусни.

— Ладно, — ответил он.

И откусил.

Тогда она стала есть. Она медленно жевала картошку и плакала. Плакала тихо, беззвучно, только слезы все катились, катились, бежали по щекам.

А когда заговорила, голос был такой, будто и не плакала совсем, просто говорила.

Она никогда не плакала. Первый раз такое.

— Мамы все нет и нет, — сказала она. — Почему мама так долго не идет из больницы?

Он ответил быстро, торопливо, словно пытаясь опередить кого-то:

— Придет! Поправится и придет. — И добавил: — Заболеть легко, а выздороветь трудно.

Она медленно жевала картошку и плакала, тихо, молча.

Нет, на самом деле она плакала уже не первый, а второй раз. Первый раз она плакала в тот день, когда они только встретились.

Девочки в разрисованном платьице, которая гоняла ржавый обруч, уже не было, а он все так же приходил, забирался в щель и смотрел. Хотел знать, что делается на свете.

В тот день он только выглянул из расщелины в стене — и увидел перед собой девочку. Странно, можно было подумать, что она его ждала. Сквозь тонкое платьице, как сквозь папиросную бумагу, из которой делают змеев, проступали худые плечи; они все вздрагивали, вздрагивали, а девочка сидела на корточках и плакала.

— Ты чего? — спросил он.

Девочка смотрела на него большими серыми глазами.

Она не отвечала. И не решалась вытереть слезы черными, испачканными землей руками, хоть лицо и без того было чумазое.

Он приподнялся на локтях, оттолкнулся и вылез из своей расщелины. Впервые. Тогда и щель была поменьше.

Девочка еще больше оробела, отодвинулась в сторону и спросила:

— Ты чужой? Откуда ты? Сюда нельзя чужим.

Он испуганно огляделся, но все-таки присел возле нее и осторожно погладил ее длинные волосы.

— Не плачь. Не надо плакать…

— Ты чужой? — переспросила она. — Часовые увидят.

Он снова пугливо огляделся, но ничего ей не сказал.

Тогда она встала и потянула его за руку.

— Идем… Скорей. Тут близко.

Так он впервые очутился в тайнике, где можно не бояться часовых, где совсем немного места, но по бокам высятся кирпичные стены и только фонарь да небо вверху.

— Мою маму забрали… — сказала она, вытерев глаза перепачканными землей руками. — В больницу… Когда мама вернется?

Не важно, что им не досталось хлеба. Было хорошо и так. Только страшно, что маму увезли в больницу. Когда люди пришли с работы, она побежала встречать маму и очень обрадовалась, что мама тоже пришла со всеми. Было хорошо и так, без хлеба, она вовсе не думала об этом. Мама наверняка дала бы ей что-нибудь, мама всегда ведь что-нибудь приносит, хоть крошку, а принесет. Она даже не говорила маме, что хочет есть. И вообще ничего не говорила, просто радовалась, что мама пришла с работы. Каждый раз она очень ждала маму и очень боялась, потому что знала: старые люди могут умереть. Нет, мама была не старая, молодая, только стала совсем как старенькая. Волосы побелели, зубы выпали, а руки — одни кости, и с боков — тоже кости. Она все время очень боялась и очень ждала маму.

Совсем не важно, что человек не дал хлеба. Им и так было хорошо, без хлеба. Они с мамой спали на одной кровати, им было всегда тепло, и они засыпали, даже если хотелось есть.

Она и вправду ничего бы не сказала, не покажись за оградой тот человек с буханкой хлеба. Она не сказала маме, что хочет есть. Только тронула маму за руку и сказала:

— Смотри…

Они подошли к ограде и смотрели на человека с буханкой хлеба под мышкой.

Трудно было понять, то ли он просто шел мимо, то ли нарочно выставил свою буханку, чтобы они с мамой заметили и позвали его, пока рядом нет часовых и никто не видит.

Им и звать не надо было, он сам подошел.

Он был такой хороший, улыбался, и, когда улыбался, смешно двигались его оттопыренные уши. Такой красивый, веснушчатый весь, как дети, и волосы такие красивые — рыжие-рыжие, как пламя. Он так широко улыбался, и так славно двигались его уши.

Показал на хлеб:

— Что дадите?

Нет, она совсем не просила у мамы ни есть, ни хлеба — ничего. Только как уставилась на эту буханку, так и не могла оторвать глаз. А у мамы ничего, совсем ничего не осталось, и было нечего дать взамен, потому что все уже было отдано раньше.

Мама тоже улыбалась, смотрела на человека, на хлеб — и ни слова.

Он понял, что у них ничего уже нет, и хотел было уйти, да задержался.

— Вот! — сказал он. — Это.

Они даже не сразу поняли, а потом догадались. Он увидел мамино кольцо, обручальное. Мама никак не могла расстаться с ним. Снять с руки не могла. Оно, должно быть, приросло к пальцу.

Нет, она в самом деле ничего у мамы не просила, и хлеба тоже. Только во все глаза таращилась на буханку и на человека, который улыбался.

А мама стаскивала кольцо. Сдирала его с пальца и улыбалась. И человек ждал, а мама очень спешила и хотела стянуть кольцо зубами, но передних не было, тогда мама прикусила его кореными — и кольцо снялось, хоть она действительно ничего у мамы не просила, не говорила ничего, только все смотрела и смотрела на хлеб. Только потом увидела, что мама сняла кольцо.

Наверно, это было трудно, потому что мамины руки тряслись. И трясущимися руками, двумя дрожащими пальцами, мама просунула за колючую проволоку кольцо, и человек взял. Она уже не видела буханку. Она видела только мамины руки.

Мама отняла их от проволоки, и на одном из пальцев набухли три маленькие алые капли. Очень маленькие и очень алые, похожие на красивые камешки.

Она не хотела, задрав голову, ждать, пока человек перебросит буханку через ограду. Она потупилась и ждала, когда хлеб упадет на землю. Но хлеб не падал.

Она увидела человека, который удалялся с хлебом под мышкой. Он еще, должно быть, улыбался, потому что сзади было видно, как смешно двигаются его оттопыренные уши. Она увидела уходившего человека и услышала мамин крик.

Она прижалась к маме, ощутив, как всегда, когда прижималась к маме, костлявый бок, и хотела сказать, что ей ничего не надо, она совсем не просила и не хотела этого хлеба, она даже не говорила, что хочет есть. Только все время боялась и ждала, чтобы мама скорей пришла с работы, потому что старые люди иногда умирают, а мама хоть и молодая, только стала совсем старушка.

Она изо всех сил прижалась к маме, но мама оттолкнула ее, схватилась руками за колючую проволоку и закричала снова.

А потом кинулась к воротам.

Мама бежала так быстро, что она уже не поспевала за ней, потом споткнулась о камень, упала и, еще не встав с земли, увидела, как мама прорвалась мимо часовых и за мамой гнались и кричали очень, и что-то гремело, как будто там, за воротами, стреляли, но она ничего уже не видела, только слышала.

А потом тетя нашла ее и сказала, что маму увезли в больницу.

Да, первый раз она плакала в тот день, когда они встретились впервые. Он тогда вылез из отверстия в стене и сказал ей:

— Не плачь.

Когда они очутились в тайнике, он снова погладил ее длинные волосы и сказал:

— Не надо плакать…

С тех пор она никогда не плакала. Только вот сегодня. Второй раз за все время.

— Мамы все нет и нет, — снова сказала она. — Почему мама так долго не идет?

— Придет, — ответил он. — Будешь ждать, ждать и дождешься свою маму.

Он смотрел на ее новое платье — теплое, с длинным рукавом, разрисованное белыми слониками, алыми змейками и синими птицами. И ему снова захотелось обнять ее крепко-крепко: подумалось, что это, может быть, и не она совсем, может быть, ей тоже велели раздеться и бросили голой в яму, может быть, здесь, рядом с ним, опять другая девочка. И опять осталась неживая одежда. Остались неживые белые слоны, остались неживые алые змеи, и неживые синие птицы тоже уцелели.

Ему очень хотелось ее обнять.

Но она сказала бы:

— Ну что ты? Мне не холодно. Мне нисколечко не холодно.

И он не обнял.

Ему хотелось теперь, чтобы скорее взошла луна.

Хотелось, прищурившись, глядеть на уличный фонарь и на луну, глядеть, пока не зарябит в глазах, и они зажмурятся, и перед закрытыми глазами будут кружить и сталкиваться невиданные пестрые миры.

Он лег рядом.

Она уже не плакала. Лежала с закрытыми глазами, как очень усталый человек, и он испуганно вглядывался: а она еще непохожа на старушку? Совсем-совсем непохожа?

Нет. Непохожа.

Она спала.

Но все равно он быстренько растолкал ее и со вздохом спросил:

— Вам совсем не дают еды?

— Дают, — ответила она.

— Очень мало, да?

— Нет, мне достаточно. Только, бывает, хлеба хочется.

Он молчал, по-прежнему глядя на нее.

— Ты не думай, не все время, — добавила она. — Иногда.

### 7

— Будем дети после войны, — сказала она.

— Ладно, — ответил он и стал читать:

«А сегодня он, как обычно, зря просидел весь день и теперь исподлобья косился на старика, который прятал в сумку свою добычу и гоготал, довольный. Он косился и думал, что горбун этот на самом деле очень стар, хоть и широко размахивается, бросая камень, и что можно подкрасться к нему сзади, когда будет идти домой, бац его щеткой по затылку, сумку хвать — и ходу!

В сумке у старика сегодня полторы буханки. Полторы буханки хлеба!

Пожалуй, даже больше, чем полторы.

Почти две.

Он дрожал, но все равно косился на горбуна и поглаживал самую увесистую из своих щеток.

В это время из лавки вышел последний покупатель. И двинулся к нему.

Он учуял в ранце солдата хлеб. Ранец был набит до отказа и оттягивал солдату плечи. Топорщился нашитый на ранец мех, серый, с рыжими подпалинами — наверное, волчий. Он втянул в легкие побольше воздуха, набрал полный нос и рот сладковатого хлебного запаха, и все тело наполнил этот вкусный дух. У него жмурились глаза, трепетали ноздри, дрожали пальцы.

Солдат поставил тяжелый сапог на шаткий ящик, придавив его к земле.

— Чист!

Он схватил щетки и высоко занес их.

Громадный сапог с толстой подошвой стоял на приплюснутом ящике.

Он поднял глаза, потер щеткой о щетку, и они снова застыли в воздухе.

Перед ним впервые стоял грязный сапог на толстой подошве, окованной железом. Он зажмурился.

— Чист!

Он, по-прежнему не глядя, еще раз потер щеткой о щетку.

И открыл глаза.

На его сломанном ящике, который все больше и больше оседал, продавливался, стоял подбитый железом тупорылый сапог на толстой подметке, забрызганный чем-то коричневым или красным, весь в бурых подсохших пятнах.

— Чист, зукин сын! Чист, шченок!

Он все еще держал щетки в руках, но руки, как на крючьях, повисли в воздухе, словно привязанные, — ни с места.

Он подумал, что надо стереть хоть одно бурое пятно — пусть будет хоть одним пятном меньше на этом грязном сапоге и на других сапогах, всегда и везде, во всем мире. Но сухой щеткой не возьмешь, тут нужна вакса. А ваксы у него нет. И все равно он должен стереть хоть одно бурое пятно.

Он принялся жевать свои губы, щеки, язык и жевал, жевал, пока не набралось немножко слюны, и тогда, все еще с поднятыми вверх руками, плюнул на этот громадный, кованый сапог, на котором то ли красная глина, то ли коричневая трава оставила свой след, или бурая уличная грязь засохла, а может, солдат измазал этот сапог не здесь, а там, где такими сапогами пихают в яму мертвых, потому что мертвые никому не нужны, а даже если еще и живы — все равно.

Он почувствовал удар по голове и услышал, как с треском ломаются дощечки и грохочут, разлетаясь по тротуару, щетки.

И старый горбун гоготал.

Он знал этого солдата. Узнал бы его из тысячи.

Они уже встречались. Правда, он тогда еще не чистил сапог. Заприметив этого солдата, дождался, пока тот выйдет на середину проулка, разодрал на себе рубашку, намазал грязью лицо и двинулся навстречу солдату, протянув руку:

— Помогите бедному сироте! Не дайте помереть от голода!

— Я дай тебе конфет!

Солдат снял ранец, расстегнул его и, положив на камень, отвернулся. В проулке застрял большой валун с гладким, будто стесанным, отполированным верхом. Хрустнула обертка, солдат что-то сунул в рот, причмокнул, стоя к нему спиной и продолжая с чем-то возиться.

И наконец повернулся к нему лицом. Показал большую, в ярком фантике, длинненькую такую, красивую конфету. Он осторожно подставил ладонь, а солдат еще осторожнее опустил на его ладонь эту длинную красивую конфету и, причмокивая, посасывая что-то, проговорил:

— Фкусный! Шоколат!

И он не специально, а как-то само собой, нечаянно, кивнул, благодаря солдата, прошел еще несколько шагов с вытянутой ладонью, а потом сложил пальцы, чтобы поскорее спрятать конфету в карман, и красивая хрустящая бумажка смялась, сплющилась. Он, все еще не веря, сжал ладонь и понял, что в кулаке пустая обертка и больше ничего.

— Ха-ха-ха! — гремело в развалинах. — Ха-ха-ха! Ходить сюда, я тебе еще что-то дай!

Солдат сидел на стесанном валуне и раскатисто хохотал, до того развеселился этот солдат, что хоть и сам, забыв обо всем на свете, держись за живот и смейся — будет вкусно и весело!

Каждый день, возвращаясь из лавки, этот солдат садился на плоский камень, рядом с собой клал туго набитый ранец и закуривал.

Над плоским камнем нависала стена разбитого дома. Каждый день он взбирался на стену и поджидал солдата.

А когда тот, выкурив свою сигарету, уходил, он принимался бросать мелкие камушки, метясь в гладкий валун внизу. Первое время никак не мог угодить в середину. Но вскоре стал попадать, все чаще и чаще. Было уже не интересно бросаться мелкими, он брал камни побольше и совсем большие и каждый раз попадал в самую середку плоской макушки валуна.

Он знал этого солдата.

Солдат еще только сворачивал в проулок, а он уже карабкался на стену, нависавшую над плоской макушкой.

Солдат сидел на своем обычном месте. Ранец сбоку. Еще насвистывая, вынул сигарету. Закурил, клацнув зажигалкой. Дым подымался вверх по стене и щекотал ноздри, но не мог перебить другой запах — от ранца.

И, сидя на стене разрушенного дома, он ртом и носом вбирал в себя этот хлебный дух, и ныло под ложечкой, кружилась голова, и по всему телу расходилась сладкая истома, а ноздри трепетали, жмурились глаза, и дрожали руки.

И вдруг его так и передернуло: подумал, что из-за этой истомы не сумеет закончить всегдашнюю свою игру — бросить самый тяжелый камень на стесанную макушку валуна.

Как раз посередке торчала круглая голова в пилотке набекрень.

Он опустил руки на тяжеленный булыжник — не то приготовленный заранее, не то всегда лежавший здесь. Но руки немели, он боялся, что не доведет до конца игру. Тогда еще раз вдохнул полным ртом сладковатый запах, зажмурился, снова увидел грубые сапоги на толстой подошве, где запеклись то ли коричневые, то ли красные пятна, поднял камень и отпустил — как обычно.

И ничего.

Только каменный стук, грохот.

И вроде охнул кто-то.

А может, почудилось?

Снова кружилась голова, дрожали пальцы, но все же он заставил себя наклониться, посмотреть вниз.

Похоже, там кто-то лежал, а может, казалось? Нет, никого там не было, только ранец валялся под стеной, показывая рыжевато-серый меховой бок.

Он ринулся вниз.

И снова ныло под ложечкой от незнакомого запаха, голова кружилась, и сладкая истома разливалась по телу.

Это все от запаха хлеба?

Или пахнет уже не хлебом?

А может, все-таки хлебом?

Брать или не брать?

Понурясь, стоял он в узком проулке, а руки висели, как плети, точно в плечи забиты гвозди и руки-плети повисли на тех гвоздях».

Она заплакала.

Она плакала долго и горько, а он не знал, как ее успокоить.

— Не хочу такую сказку… — Она вытерла слезы.

Он не знал, что ей ответить.

— Очень грустная сказка, — повторяла она.

Он молчал, опустив голову.

— Я просила… Я так просила тебя… Чтобы мы были дети после войны… после…

— Хорошо, — сказал он, чтобы успокоить ее. — Хорошо…

### 8

— Хорошо, — повторил он, взял другую книжку и начал читать.

«Неподалеку от колодца сохранились развалины древней каменной стены. На другой вечер, покончив с работой, я вернулся туда и еще издали увидел, что Маленький принц сидит на краю стены, свесив ноги. И услышал его голос.

— Разве ты не помнишь, — говорил он. — Это было совсем не здесь.

Наверное, кто-то ему отвечал, потому что он возразил:

— Ну да, это было ровно год назад, день в день, но только в другом месте…

Я зашагал быстрей. Но нигде у стены я больше никого не видел и не слышал. А между тем Маленький принц снова ответил кому-то:

— Ну конечно. Ты найдешь мои следы на песке. И тогда жди. Сегодня ночью я туда приду.

До стены оставалось двадцать метров, а я все еще ничего не видел.

После недолгого молчания Маленький принц спросил:

— А у тебя хороший яд? Ты не заставишь меня долго мучиться?

Я остановился, и сердце мое сжалось, но я все еще не понимал.

— Теперь уходи, — сказал Маленький принц. — Я хочу спрыгнуть вниз.

Тощая опустил глаза, да так и подскочил! У подножья стены, подняв голову к Маленькому принцу, свернулась желтая змейка, из тех, чей укус убивает в полминуты.

Нащупывая в кармане револьвер, я бегом бросился к ней, но при звуке шагов змейка тихо заструилась по песку, словно умирающий ручеек, и с еле слышным металлическим звоном неторопливо скрылась меж камней.

Я подбежал к стене как раз вовремя и подхватил моего Маленького принца. Он был белее снега.

— Что это тебе вздумалось, малыш! — воскликнул я. — Чего ради ты заводишь разговоры со змеями?

Я развязал его неизменный шарф. Смочил ему виски и заставил выпить воды. Но не смел больше ни о чем спрашивать. Он серьезно посмотрел на меня и обвил мою шею руками. Я услышал, как бьется его сердце, словно у подстреленной птицы. Он сказал:

— Я рад, что ты нашел, в чем там была беда с твоей машиной. Теперь ты можешь вернуться домой…

— Откуда ты знаешь?!

Я как раз собирался сказать ему, что, вопреки всем ожиданиям, мне удалось исправить самолет!

Он не ответил, он только сказал:

— И я тоже сегодня вернусь домой.

Потом прибавил печально:

— Это гораздо дальше… и гораздо труднее…

Все было как-то странно… Я крепко обнимал его, точно малого ребенка, и, однако, мне казалось, будто он ускользает, его затягивает бездна, и я не в силах его удержать…

Он задумчиво смотрел куда-то вдаль.

— У меня останется твой барашек. И ящик для барашка. И намордник…

И он печально улыбнулся.

Я долго ждал. Он словно бы приходил в себя.

— Ты напугался, малыш…

Ну еще бы не напугаться! Но он тихонько засмеялся:

— Сегодня вечером мне будет куда страшнее…

И опять меня оледенило предчувствие непоправимой беды. Неужели, неужели я никогда больше не услышу, как он смеется? Этот смех для меня — точно родник в пустыне.

— Малыш, я хочу еще послушать, как ты смеешься…

Но он сказал:

— Сегодня ночью исполнится год. Моя звезда станет как раз над тем местом, где я упал год назад…

— Послушай, малыш, ведь все это — и змея, и свидание со звездой — просто дурной сон, правда?

Но он не ответил.

— Самое главное — то, чего глазами не увидишь… — сказал он.

— Да, конечно…

— Это как с цветком. Если любишь цветок, что растет где-то на далекой звезде, хорошо ночью глядеть в небо. Все звезды расцветают.

— Да, конечно…

— Это как с водой. Когда ты дал мне напиться, та вода была как музыка, а все из-за ворота и веревки… Помнишь? Она была очень хорошая.

— Да, конечно…

— Ночью ты посмотришь на звезды. Моя звезда очень маленькая, я не могу ее тебе показать. Так лучше. Она будет для тебя просто одна из звезд. И ты полюбишь смотреть на звезды… Все они станут тебе друзьями. И потом, я тебе кое-что подарю…

И он засмеялся.

— Ах, малыш, малыш, как я люблю, когда ты смеешься!

— Вот это и есть мой подарок… это будет, как с водой…

— Как так?

— У каждого человека свои звезды. Одним — тем, кто странствует, — они указывают путь. Для других это просто маленькие огоньки. Для ученых они — как задача, которую надо решить. Для моего дельца они — золото. Но для всех этих людей звезды — немые. А у тебя будут совсем особенные звезды…

— Как так?

— Ты посмотришь ночью на небо, а ведь там будет такая звезда, где я живу, где я смеюсь, — и ты услышишь, что все звезды смеются. У тебя будут звезды, которые умеют смеяться.

И он сам засмеялся.

— И когда ты утешишься (в конце концов всегда утешаешься), ты будешь рад, что знал меня когда-то. Ты всегда будешь мне другом. Тебе захочется посмеяться со мною. Иной раз ты вот так распахнешь окно, и тебе будет приятно… И твои друзья станут удивляться, что ты смеешься, глядя на небо. А ты им скажешь: „Да, да, я всегда смеюсь, глядя на звезды!“ И они подумают, что ты сошел с ума. Вот какую злую шутку я с тобой сыграю…

И он опять засмеялся.

— Как будто вместо звезд я подарил тебе целую кучу смеющихся бубенцов…

И он опять засмеялся. Потом снова стал серьезен:

— Знаешь… сегодня ночью… лучше не приходи.

— Я тебя не оставлю.

— Тебе покажется, что мне больно… Покажется даже, что я умираю. Так уж оно бывает. Не приходи, не надо.

— Я тебя не оставлю.

Но он был чем-то озабочен.

— Видишь ли… это еще из-за змеи. Вдруг она тебя ужалит… Змеи ведь злые. Кого-нибудь ужалить для них удовольствие.

— Я тебя не оставлю.

Он вдруг успокоился:

— Правда, на двоих у нее не хватит яда…

В ту ночь я не заметил, как он ушел. Он ускользнул неслышно.

Когда я наконец нагнал его, он шел быстрым, решительным шагом.

— А, это ты… — сказал он только.

И взял меня за руку. Но его что-то тревожило.

— Напрасно ты идешь со мной. Тебе будет больно на меня смотреть. Тебе покажется, будто я умираю, но это неправда…

Я молчал.

— Видишь ли… это очень далеко. Мое тело слишком тяжелое. Мне его не унести.

Я молчал.

— Но это все равно что сбросить старую оболочку. Тут нет ничего печального…

Я молчал.

Он немного пал духом. Но все-таки сделал еще одно усилие:

— Знаешь, будет очень славно. Я тоже стану смотреть на звезды. И все звезды будут точно старые колодцы со скрипучим воротом. И каждая даст мне напиться…

Я молчал.

— Подумай, как забавно! У тебя будет пятьсот миллионов бубенцов, а у меня — пятьсот миллионов родников…

И тут он тоже замолчал, потому что заплакал.

— Вот мы и пришли. Дай мне сделать еще шаг одному.

И он се л на песок, потому что ему стало страшно.

Потом он сказал:

— Знаешь… моя роза… я за нее в ответе. А она такая слабая! И такая простодушная. У нее только и есть что четыре жалких шипа, больше ей нечем защищаться от мира.

Я тоже сел, потому что у меня подкосились ноги. Он сказал:

— Ну… вот и все…

Помедлил еще минуту и встал. И сделал один только шаг. А я не мог шевельнуться.

Точно желтая молния мелькнула у его ног. Мгновение он оставался недвижим. Не вскрикнул. Потом упал — медленно, как падает дерево. Медленно и неслышно, ведь песок приглушает все звуки».

### 9

— Побудем здесь, — просила она. — Подождем еще немножко.

Он подумал и сказал:

— Ладно. Можем и подождать, даже еще лучше, когда совсем темно. Луна все равно как светит, так и будет светить, а на дворе стемнеет. Ночью всегда темней.

— Жалко уходить отсюда, — сказала она. — Здесь так хорошо всегда, а мы никогда больше не вернемся.

Она прижалась к нему всем телом.

— Вернемся! — ответил он. — Война кончится, и мы обязательно вернемся. Тогда нам некого будет бояться. И сможем не лазить через дырку. Просто придем, и ляжем здесь, и будем смотреть в небо.

— Да, конечно, придем, — согласилась она. — Только если нам некого будет бояться, здесь будет уже не так хорошо, как сейчас.

Он хотел возразить, но понял, что она права, и ничего не сказал.

Вечно все правы, только не он.

Да, все правы, а он неправ, потому что у него множество секретов, которыми ни с кем нельзя делиться, даже с ней — его девочкой. Ну разве он может ей сказать, откуда были сливы? Разве может рассказать, чье это теплое платье с белыми слониками, алыми змейками и синими птицами? Или про солдата с туго набитым рюкзаком, обтянутым рыжевато-серой шкурой, и в тяжелых кованых сапогах с бурыми пятнами?

Или хотя бы про кусочки хлеба, что иногда приносит ей?

Да, все-все правы, даже его отец.

Отец всегда был для него отцом, и он никогда не присматривался, какие волосы у отца, руки, лицо, улыбка. А сегодня вдруг разглядел.

Отец всегда был отцом, но сегодня он увидел не только отца.

И опять все правы, только не он, потому что ему известно множество секретов, которые давят на голову, плечи, руки, ноги, а поделиться ни с кем нельзя. Даже с нею. Именно с ней-то и нельзя. В конце концов он мог бы рассказать об этом кому-нибудь другому, только зачем, если никому, кроме нее, все это не нужно и не интересно. Ей одной он должен сказать, но ей нельзя. Ни за что! Нет-нет!

Он хорошо знал, где ключ от шкафчика, в котором держат хлеб. Сегодня там осталась горбушка. Обычно, если не удавалось отщепить украдкой от своей порции и спрятать в карман, он потихоньку отпирал шкафчик, забирал остаток хлеба и относил ей.

До сих пор это ему сходило с рук.

Последнее время с хлебом стало еще хуже, и отец, должно быть, что-то заподозрил. Но он не мог не брать хлеб, потому что кто же, если не он, покормит девочку?

Он как чувствовал, что за ним следят, но все равно отпер шкафчик, схватил горбушку, скорей запер шкафчик, сунул ключ на место и юркнул за дверь.

Отец схватил его в коридоре.

Нарочно, что ли, прятался там, дожидаясь, когда он выйдет с краденым хлебом.

Тяжелая рука легла на его шею, и он почувствовал на лице горячее дыхание отца.

— Жри! Ты почему не жрешь? — жарко дышал отец.

Он ежился и молчал.

— Жри!!! — орал отец. — Почему не жрешь?!

Он молчал.

Отец дернул его за шиворот и бросил на пол.

— Кому хлеб таскаешь, говори?

Он молчал.

Отец медленно распустил ремень, широкий, солдатский, взялся посередке, так, чтобы болталась пряжка, и стал бить. Раз пять или десять пряжка со свистом рассекала воздух. И отец все крякал, точно дрова рубил:

— Гхех… гхех…

Он скорчился на полу и даже не пикнул. Отец запыхался, бросил ремень и сел.

— Хлеб воруешь, — сказал он. — Последний кусок из дому тащишь!

Но он молчал.

— Жри теперь. Жри-и-и!

Он посмотрел на сына, валявшегося на полу, и ласковым голосом сказал:

— Ну ешь, прошу тебя…

И улыбнулся.

И тут он увидел отца.

Отец всегда был отцом.

Он никогда не присматривался, как выглядит его отец, не знал, какие волосы у его отца, руки, лицо, улыбка.

Отец просил его есть хлеб и улыбался.

И когда отец улыбался, двигались оттопыренные уши.

Когда отец, сидя рядом с брошенным ремнем, улыбнулся, он увидел, что волосы у отца рыжие, как пламя.

Когда отец улыбался, он такой красивый был, веснушчатый весь, как маленький. Наверно, и улыбка и рот — все было красивое, рыжее.

Он увидел отца, в первый раз увидел его и понял, что надо искать кольцо, обручальное кольцо, которого раньше не было. Он поискал глазами — и нашел.

На левом мизинце отца поблескивало желтое колечко.

Он чуть не охнул, когда подымался с пола, но все же встал на ноги, не застонав. Только сперва подполз к валявшемуся ремню. Взял ремень, а тогда уже встал.

Взялся посередке, так, чтобы болталась пряжка, и взмахнул ремнем. И пряжка свистнула в воздухе.

Она не коснулась отца, да и не этого хотелось ему. Хотелось посмотреть: может быть, отец другого цвета, когда его лицо не улыбается.

Отец вскочил, попятился, вытаращив глаза, и улыбка сбежала с его лица. Но был он все такой же красивый со своими рыжими, как пламя, волосами, весь в веснушках, как маленький. Розовато просвечивали оттопыренные уши, и даже ресницы были желтыми.

И он понял, что слишком долго ждал. Надо было давно уже сделать то, что задумал, когда увидел на девочке теплое платье другой девочки, платье, которое сохранилось, хотя той, другой, больше не было.

Давно пора было делать, как задумал.

И чем скорее он это сделает, тем лучше. Он долго не мог найти свой карман, шарил, шарил, пока нашел. Потом все никак не мог нащупать в кармане горбушку хлеба, цеплял, цеплял ее негнущимися пальцами и все-таки подцепил. Потом было очень трудно вынуть руку из кармана, он вдруг забыл, как это делается — тянуть ли кверху или вниз давить, но кое-как вытащил наконец и, размахнувшись, бросил хлеб к ногам отца.

— Жри-и-и! — сказал он отцу.

Повернулся и ушел.

Отец не двинулся с места. Стоял, большой, красивый и красный, как огонь.

Очень хорошо, что отец не двигался. Ему не пришлось бежать. Он открыл и закрыл за собой одну, потом другую дверь и побрел со двора.

Он отправился в свой проулок. Там, в развалинах, был запрятан набитый хлебом ранец. Он не расстегивал ремешки и ничего не брал оттуда. Он вообще бы не дотронулся до ранца, если б не старик. Он тогда подумал про старика и понял, что горбун обязательно припрется на это место и хапнет ранец. А этого ему совсем не хотелось. Пусть уж лучше крысы жрут или бездомные собаки, лишь бы не старому горбуну досталось.

Он спрятал ранец в развалинах. И теперь пришел посмотреть, на месте ли.

Ему уже было все равно: он мог взять ранец, расстегнуть ремешки и забрать все, что там есть. Теперь он мог все. И очень хорошо, что мог.

В ранце была еда, которая еще как им пригодится. Они уйдут сегодня вечером или ночью, когда будет совсем темно. Проберутся через его лазейку, проникнут сюда, в развалины, он наденет ранец, может быть, они даже поедят перед дорогой, а затем покинут город и уйдут далеко-далеко по лесам, по деревням. Они будут братом и сестрой, и хорошо им будет. Если никто не примет их, тоже не страшно. Летом тепло, можно жить в лесу, в шалаше — так даже лучше! Не пропадут. А совсем уж худо придется, тогда он по миру пойдет:

— Пожалейте бедных сирот! Не дайте бедным сиротам с голоду помереть!

В общем, будь что будет, лишь бы она быстрее выбралась из лазейки и очутилась по эту сторону стены, по эту сторону колючей изгороди. Как только он увидел на ней теплое платье, украшенное белыми слониками, алыми змейками и синими птицами, так сразу понял, что надо увести ее отсюда и от всех людей далеко-далеко, да все не мог решиться, все ждал чего-то, сам не зная чего.

Сегодня, как и каждый день, они медленно отмерили двенадцать шагов, и он даже не ободрался, протискиваясь в узкий лаз. Он крепко сжимал ее маленькую руку, но пока ни о чем не говорил.

Только потом, когда они легли, подпирая боками друг друга и кирпичные стены, которые все еще мазались рыжеватой пылью, он сказал, и она сразу согласилась.

— Хорошо… — сказала она. — Я пойду с тобой. Только как же мама? Ведь она вернется из больницы.

— Конечно, вернется, — ответил он. — Я каждую неделю буду ходить смотреть, не вернулась ли твоя мама.

И она согласилась:

— Хорошо… Я пойду с тобой.

Она не подумала о том, что он не знает ее мамы, которой никогда не видел, а он тоже об этом не подумал. Они могли бы уже идти, но она просила:

— Побудем здесь. Подождем еще немножко.

— Ладно. Можем и подождать, даже еще лучше, когда совсем темно. Ночью всегда темнее. Хорошо, что мы уйдем отсюда, верно?

— Жалко, — ответила она. — Здесь так хорошо всегда, а мы никогда больше не вернемся. А если вернемся когда-нибудь и не надо будет ничего бояться, здесь уже не будет так хорошо, как теперь.

Он не возражал, потому что она была права.

Они лежали молча, тесно прижавшись друг к другу. Смотрели на уличный фонарь, который только что зажегся, и еще выше — в небо.

Наверное, прошла уже целая неделя, потому что луна была совершенно круглая и сияла вовсю. У нее были косо посаженные глаза, кривой нос и перекошенный рот.

Стоило лишь зажмуриться, как перед закрытыми глазами начинали кружиться сотни ярких ламп и тысячи лун. Хорошо было лежать с закрытыми глазами и думать о невиданных мирах, что пестры, как дятлы, или о птице, пестрой, как невиданный мир.

Так лежать бы и лежать без конца, то открывая, то закрывая глаза.

Он хотел напомнить, как недавно говорил ей, что молодой месяц будет всю неделю расти, расти, пока не вырастет в полную луну. Но, дотронувшись до ее руки, обычно голой, почувствовал теплый рукав разрисованного платья и вздрогнул.

— Хватит. Пошли, — сказал он.

— Хорошо, — откликнулась она и села. — Только погоди еще чуть-чуть… Я тебе еще не говорила. Я нашла сегодня ножницы. Держи.

Она протянула ему маленькие черные, должно быть, ржавые ножницы.

Он прекрасно понял, чего она хочет, но ответил:

— Не надо… Зачем это нам теперь…

— Нет, — настаивала она. — Мы уйдем, а все так и останутся без талисманов. Как они будут, скажи? — И дала ему черные ножницы и бумажку. — Здесь написано, чтобы все знали.

Он расправил бумажку и при тусклом свете фонаря увидел большие печатные буквы: «ТАЛЕСМАНЫ».

— Стриги! — сказала она.

Он провел рукой по длинным волосам, падавшим на ее острые плечи, и начал стричь. Сперва одну прядь, затем вторую, третью.

Он крепко сжимал отрезанные волосы, чтобы ни один волосок не потерялся, не пропал зря. Ему очень хотелось плакать, но он удержался. Он сказал:

— Довольно. Всем уже хватит.

— А нам? — спросила она.

Каждый осторожно-осторожно вытащил по волоску и зажал в кулаке.

Потом они выбрались из тайника, положили волосы у стены, накрыли их бумажкой «ТАЛЕСМАНЫ» и прижали камнем, чтобы не унес ветер.

А ветер и в самом деле выл, метался, что-то с грохотом перекатывал поблизости. И вдруг стих, точно его и не было. Они не испугались, только прижались к стене, а потом решили хотя бы раз, самый последний раз не считать от двенадцати до одного — пробежать бегом этот короткий промежуток до отверстия в стене, быстро выбраться на другую сторону и идти, идти, идти куда глаза глядят.

— Бежим, — сказал он, сжимая ее руку.

Они бросились бежать.

Но далеко не убежали.

Напоролись на что-то, он упал, и ногу как ножом полоснуло.

Он вскрикнул.

Негромко, сквозь стиснутые зубы, но все-таки не удержался и вскрикнул. Вокруг еще было тихо. Он успел встать и отшвырнуть здоровой ногой какую-то железку. Та звякнула и покатилась. Тогда он понял, что это обруч. Тот самый — ржавый, лопнувший обруч, за которым бегала когда-то маленькая девочка в разрисованном теплом платье.

Он потрогал ногу, и ладонь сразу стала мокрой.

Он понял, что это кровь, и испугался. Не потому, что кровь текла вовсю, нет. Он никогда не видел столько крови и подумал, как бы не учуяли часовые.

И тут послышалось:

— Вер ист да? Хальт! Хальт!

Он уже не чувствовал боли, думал только про кровь и про часовых, радуясь, что вокруг темно, и тащил ее за руку к лазейке.

Она выбралась первой, он — за ней.

Надо было пройти еще несколько шагов по узкому коридору в развалинах.

Взявшись за руки, они миновали этот коридор, вышли на улицу, и тут ударил неистовый свет. Будто полная луна упала на них и заблистала ярче солнца.

— Хальт! Хальт!

Они не останавливались.

Пробирались вдоль стены, не подымая глаз, и слепящий луч прожектора двигался вместе с ними.

— Хальт! Хальт!

Они побежали, пытаясь вырваться из безжалостного светлого круга.

И тут забили дятлы:

— Тра-та-та-та… Тра-та-та-та-та… Та-та-та-та!

Он бы заслонил ее, но не успел.

Они упали вместе, друг подле друга.

И заколдованный круг исчез.

Полная луна — круглая, с носом, ртом и глазами — вновь была высоко-высоко, наверно, в небе.

Он с трудом оперся на руку, поднял голову.

Потрогал острое плечо девочки, но та не шелохнулась, не откликнулась. Ее глаза были влажными и поблескивали, как серые стеклышки.

Он понял, что ее уже нет и не будет больше никогда. Понял, что и сам вот-вот забудется навек, и стал поспешно рвать рукой и зубами ее теплое платье, разрисованное белыми слониками, алыми змейками и синими птицами. Он спешил изорвать его, чтобы следующая девочка не надела этого платья.

Его силы таяли, и он уже не мог шевельнуть рукой. Он положил голову на грудь своей девочки, на разодранных белых слонов и синих птиц и думал, пока еще мог думать:

«Почему нас убили? Почему? Почему?

Потому что я убил того солдата?

Почему?

Потому что хлеба не хватает?

Почему?

Потому что сегодня полнолуние?

Почему?

Потому что легко пихать в яму мертвых, потому что неживые больше никому не нужны, а если еще и живы — все равно?

Почему?

Потому что люди убивают друг друга?

Так почему?

Почему?

Потому что она нашла ножницы, я остриг ее, и мы всем-всем людям оставили талисманы?

Почему?»

Он не знал почему, и все думал, думал, пока последние силы не иссякли и он уже не мог даже думать.

И глаза его, тоже влажные, блеснули, как два круглых стеклышка, отразив луну, и звезды, и все черное небо.

1. Поня — госпожа; понас — господин; понайтис — барчонок *(литовск.).* [↑](#footnote-ref-1)
2. Ксендз, который по старости уже не ведет костельную службу. [↑](#footnote-ref-2)